This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PZ63
R87
V.5253

А. П. Смирновъ

ПО РОДНОЙ ЗЕМЛѢ

ИЗДАНІЕ

Мледерле

О РОДНОЙ ЗЕМЛѢ.

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ

ДЛЯ

РУССКАГО ЮНОШЕСТВА.

А. П. Смирнова.

Съ 28 рисунками: барона М. П. Клодта, Л. Ф. Лагоріо, Е. И. Григорьева, И. І. Буковскаго и А. П. Кораблевича.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе М. М. Ледерле и К°
1893.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 11 апрѣля 1893 г.

Типографія Е. Евдокимова, Большая Итальянская, № 11.

Радужная.

Въ роскошно убранномъ кабинетѣ, у письменнаго стола, заваленнаго книгами и газетами, сидѣлъ господинъ лѣтъ 45-ти, съ длинными, пушистыми бакенбардами. Подлѣ него помѣщался на кончикѣ стула какой-то молодой человѣкъ, съ виду похожій на приказчика изъ магазина.

— Такъ сколько вамъ получить приходится?—спрашивалъ господинъ.

— Тридцать-четыре рубля, двадцать-восемь копѣекъ-съ...

Господинъ порылся въ бумажникѣ.

— Со ста рублей у васъ есть сдачи?

— Никакъ нѣтъ-съ...

— Такъ размѣнять надо.—Гаврила! крикнулъ онъ. Отвѣта не было. Господинъ отворилъ дверь и крикнулъ еще разъ.

— Сію минуту, Викторъ Михайловичъ!—послышался чей-то голосъ, затѣмъ торопливые шаги, и въ комнату вбѣжалъ долговязый малый, лѣтъ 18-ти, въ какомъ-то кургузомъ пиджачкѣ, сильно потертомъ, и даже заплатанномъ на локтяхъ. Рѣдкіе, коротко-остриженные волосы торчали, какъ щетка на его маленькой, точно сдавленной, головѣ; лицо блѣдное, худощавое, съ какимъ-то испуганнымъ выраже-

ніемъ, толстый, короткій носъ, отвислыя уши. Вообще, наружность малаго была крайне непривлекательна. Къ довершенію всего, на носу и на щекахъ у него были какія-то красныя пятна, точно отъ тертаго кирпича. Такого-же цвѣта была и тряпка, которую парень держалъ въ рукѣ.

— Что это, никакъ васъ не дозовешься!—сердито заворчалъ баринъ.

Маленькіе глазки парня, точно мышонки выглядывавшіе изъ-подъ бровей, какъ-то испуганно заморгали.

— Ножи чистилъ, Викторъ Михайловичъ,—забормоталъ онъ.

— То-то, ножи... На вотъ, сходи, размѣняй!—И онъ подалъ ему сторублевку.—Да поскорѣй только!...

На лицѣ парня выразилось сильное изумленіе. Онъ стоялъ, точно вкопанный, и только моргалъ.

— Да что ты, оглохъ, что-ли?—закричалъ баринъ.

— Размѣнять... Мнѣ-съ?...—бормоталъ парень и протянулъ грязную, запачканную тертымъ кирпичемъ, руку. Она сильно дрожала.

— Тьфу, ты, дуракъ!...—плюнулъ баринъ.

Гаврила скрылся.

— По старому счету еще приходится съ васъ получить восемь рублей-съ,—говорилъ приказчикъ.

— Хорошо, получите. Прошу подождать немного. Господинъ закурилъ сигару, взялъ какую-то книгу и углубился въ чтеніе...

Гаврила бѣжалъ, точно чѣмъ то испуганный по длинному корридору. Вотъ, добѣжалъ онъ до лѣстницы въ нижній этажъ. Ярко горѣвшая лампа съ рефлекторомъ освѣтила его лицо. Оно такъ и сіяло.

— Сто рублей!... Сто рублей размѣнять далъ!—съ какимъ-то восторгомъ, захлебываясь, бормоталъ онъ, и радостная улыбка растягивала чуть не до ушей его ротъ.

Но вотъ, Гаврила дошелъ до дверей кухни,—и лицо, и вся фигура его вдругъ совершенно преобразились. Улыбка исчезла, худощавый, слегка согнутый станъ выпрямился; маленькая головка гордо откинулась назадъ.

У ярко пылавшей плиты суетился поваръ, въ бѣлоснѣжномъ колпакѣ и передникѣ. Онъ то—поднималъ, одну за другой, крышки съ кастрюль, то — оставлялъ ихъ и принимался рубить котлеты. У окна, при свѣтѣ довольно тусклой керосиновой лампочки, судомойка перемывала посуду. Красивая, франтовски одѣтая, горничная сбивала сливки для крема... При входѣ Гаврилы, судомойка подняла голову.

— Ну, что? Зачѣмъ звалъ?—спросила она.

— Да такъ, — по дѣлу!—небрежно пробормоталъ Гаврила и, съ сознаніемъ собственнаго достоинства, взглянулъ на старуху.—Деньги далъ размѣнять, — сто рублей...

Но тутъ голосъ Гаврилы вдругъ дрогнулъ. Выраженія сознанія собственнаго достоинства, гордости—какъ не бывало,—и опять широкая улыбка растянула до ушей его ротъ...

— Пфф... Сто-о рублей!—насмѣшливо протянулъ поваръ.—Это тебѣ-то?—Цѣлковый, можетъ?...

— А вотъ, не угодно-ли, Флегонтъ Степанычъ, извольте взглянуть!—Гаврила высоко поднялъ руку со сторублевой бумажкой.—Это что будетъ,—цѣлковый, по-вашему?...

— Гм .. точно, радужная!... — процѣдилъ поваръ. — Странно!...

Горничная какъ-то злостно насмѣшливо улыбнулась, но промолчала.

— Чего тутъ страннаго!—заговорила вдругъ старая судомойка.—Ужь, будто, онъ воръ какой, плутъ отъявленный... Эка важность—разъ-то случилось!... Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ!...

— Такъ-то такъ, Маланья Ивановна,—согласился поваръ. Силёнъ онъ, лукавый-то, что̀ толковать... Да вѣдь, сами, поди, слыхали, какъ Викторъ Михайловичъ говорилъ: вы за Гаврюшкой присматривайте,—на руку онъ не чистъ.

Разъ стянулъ, такъ, пожалуй, и въ другой, и въ третій разъ стянетъ...

Гаврюшка не слыхалъ этого разговора. Онъ ужь давно былъ на улицѣ. Безъ шапки, въ одномъ пиджачкѣ, шелъ онъ, вѣрнѣе—летѣлъ, не слыша подъ собою ногъ, къ ближайшему фруктовому магазину. . Радужная кредитка была крѣпко зажата у него въ рукѣ... На улицѣ было свѣженько; дулъ вѣтеръ, шелъ мокрый снѣжокъ,—но Гаврюшка не замѣчалъ ничего этого. На сердцѣ у него было такъ хорошо, такъ легко...

Да и еще-бы!... Маленькимъ мальчуганомъ, лѣтъ 9-ти, взялъ его къ себѣ Викторъ Михайловичъ Песковъ и отдалъ на попеченіе судомойки, на кухню. Гаврюшка не даромъ хлѣбъ ѣлъ. По мѣрѣ силъ и возможности, онъ помогалъ повару и теткѣ Маланьѣ: подбрасывалъ дровъ въ плиту, чистилъ рѣпу, морковь, картофель; перетиралъ вымытыя тарелки,—и только всего разъ въ жизни разбилъ одну, да и то, старенькую,—изъ рукъ выскользнула... Но главнымъ занятіемъ мальчика была чистка ножей и вилокъ. Самъ Викторъ Михайловичъ былъ человѣкъ дѣловой и почти не выходилъ изъ своего кабинета; но за то, у жены его каждый день бывало пропасть гостей; за обѣдъ садилось человѣкъ 10—12, а иногда и 20, и болѣе. Не мудрено, что ножи и вилки носились изъ столовой дюжинами,—и у Гаврюшки была куча работы. Онъ такъ весь день и ходилъ съ перепачканными руками и съ красными пятнами на лицѣ.

По воскресеньямъ его навѣщала мать. Это была не старая еще женщина, но слабая и больная. Она жила гдѣ-то на Выборгской, кое-какъ перебиваясь грошевой стиркой бѣлья. Она приходила всегда часу въ шестомъ, въ седьмомъ вечера, какъ-разъ въ то время, когда «господа» обѣдали. Поваръ наливалъ ей тарелку щей, не жалѣя накла-

дывалъ такую-же тарелку гречневой каши,—и бѣдная женщина все это съ наслажденіемъ поѣдала... Питаясь въ теченіе всей недѣли чѣмъ Богъ пошлетъ,—нерѣдко одними ржаными сухариками, да жидкимъ чаемъ въ прикуску, она находила эти незатѣйливыя яства роскошными... Иной разъ, перепадало и съ барскаго стола кое-что: тарелка бульона съ пирожкомъ, крылышко куропатки... Тетка Маланья наливала ей чашку-другую крѣпкаго кофе со сливками, а на дорогу совала въ карманъ что-то, завернутое въ газету,— это бывало обыкновенно щепотка чаю, кусковъ пять-шесть сахару, булка. И бѣдная женщина уходила, съ полными слезъ глазами, молясь въ душѣ за своихъ добрыхъ кормильцевъ.

Съ Гаврюшкой она почти что и не разговаривала, — не о чемъ было. Спроситъ развѣ когда: не балуетъ-ли онъ, сохрани Богъ, и слушается-ли господъ и тетушку Маланью Ивановну,—и, получивъ удовлетворительный отвѣтъ, опять умолкала... У матери Гаврюша тоже почти совсѣмъ не бывалъ,—некогда было... Да и зачѣмъ ему было ходить?— Смотрѣть на эту горькую нищету, на эти сырыя, заплесневѣлыя стѣны, разбитыя и кое-какъ заклеенныя бумагою стекла? Смотрѣть, какъ мать, кашляя сухимъ, удушливымъ кашлемъ, и съ трудомъ переводя духъ, стираетъ, стираетъ, не отходя отъ корыта...

И такъ, прошло ровно шесть лѣтъ... Гаврюшкѣ жилось не дурно. Баринъ, Викторъ Михайловичъ, былъ добрый. Онъ дарилъ ему въ годовые праздники по рублю серебромъ, а иногда и по два,—и мальчикъ цѣликомъ отдавалъ ихъ матери... На кухнѣ съ Гаврюшкой тоже хорошо обращались; кормили, какъ слѣдуетъ, не слишкомъ обременяли работой... И онъ жилъ себѣ, поживалъ... Но вотъ, разъ какъ-то (ему шелъ тогда шестнадцатый годъ), вдругъ, случилось съ нимъ несчастіе... Давно это было, два года назадъ, но Гаврюшка до сихъ поръ забыть его не можетъ...

Онъ подметалъ парадную лѣстницу. Обязанность эту, обыкновенно, исполнялъ лакей Герасимъ,—господинъ очень

видный, съ длинными, расчесанными бакенбардами,—но въ то утро ему нездоровилось. Мететъ Гаврила, вдругъ, видитъ; въ сору что-то блеснуло. Наклонился—золотой ключикъ... — «Изъ гостей обронилъ кто-нибудь», — подумалъ Гаврила и спряталъ находку въ карманъ.—«Барину отдать надо»... Вечеромъ, послѣ обѣда, Гаврилу куда-то послали. Онъ проходилъ часа два. Поваръ порядкомъ-таки пожурилъ его.—«Шлялся, поди, гдѣ-нибудь; баловалъ съ ребятами!»—ворчалъ онъ и отвалилъ Гаврюшкѣ четыре съ половиною дюжины ножей и вилокъ, строго наказавъ вычистить ихъ, какъ можно скорѣе и лучше. Гаврюшка, сильно обиженный несправедливымъ выговоромъ, ревностно принялся за работу и совершенно забылъ про ключикъ. Не вспомнилъ онъ про него и утромъ... Часу во второмъ, послѣ завтрака, въ кухню спустилась барыня, Ольга Петровна. Гаврюшка почему-то сильно ея побаивался,—она казалась ему такой важной, сердитой...

— Викторъ Михайловичъ потерялъ часовой ключикъ, — говорила она, — золотой ключикъ. Не видалъ-ли кто?... Ты не видалъ-ли? — обратилась она вдругъ къ Гаврюшкѣ.

Тотъ смѣшался и покраснѣлъ. Вилка выпала у него изъ руки и задрожала, воткнувшись въ полъ. Онъ только теперь вспомнилъ про этотъ ключикъ.

— А что, если скажетъ: «зачѣмъ вчера не отдалъ, когда нашелъ?... Украсть хотѣлъ, видно?...» — И Гаврюшка бросился изъ огня, да въ полымя.

— Нѣтъ-съ,.. не видалъ-съ!...—пробормоталъ онъ и покраснѣлъ еще больше. Потъ крупными каплями выступилъ у него на лбу...

Ольга Петровна пристально посмотрѣла на мальчика.

— Такъ ты не видалъ? Не видалъ?—закричала она.—А зачѣмъ ты такъ покраснѣлъ вдругъ?... Флегонтъ, сейчасъ обыскать его!...

— Слушаю съ!

Поваръ засунулъ руку въ карманъ Гаврюшки и вытащилъ ключикъ.

— Вотъ онъ-съ!,..

Гаврюшка зарыдалъ и упалъ въ ноги барынѣ... Но напрасно божился онъ, клялся всѣми святыми, что ему и въ голову не приходило украсть ключикъ, что онъ, просто, забылъ про него, а теперь испугался; ему не повѣрили.

— Сегодня-же вонъ его!...—закричала Ольга Петровна.—Чтобъ и духу его здѣсь не было!...

— Такъ вотъ, братъ, ты чѣмъ занимаешься!... — говорилъ поваръ и покачалъ головой.—Отли-ично!... Не думалъ я, что за тобой такія исторіи водятся!...

— На насъ-бы еще могли подумать!...—визжала горничная Дуняша.—Мальчишка!... Щенокъ!... Вонъ его!... Ложки, теперь, на кухнѣ серебряныя, — того и гляди, украдетъ!...

Тетка Маланья молчала. Грустнымъ, печальнымъ взоромъ смотрѣла она на мальчика, и точно глазамъ и ушамъ не вѣрила... И этотъ грустный, печальный взоръ будто каленымъ желѣзомъ жегъ сердце Гаврюшки: ему въ тысячу разъ легче было-бы, еслибы его звали воромъ, мошенникомъ, избили до полусмерти,—но только-бы такъ не смотрѣли...

— Такъ, что-же это, Гаврюша? — заговорила вдругъ тетка Маланья.—Ты это и впрямь, украсть вздумалъ?

— Да отсохни у меня языкъ, тетушка. Да провалиться мнѣ вотъ сейчасъ сквозь землю, коли я вру!... — рыдалъ Гаврюшка. — Просто, забылъ я, совсѣмъ забылъ.. А да веча... Точно лукавый меня толкнулъ: «не видалъ, скажи»,— и сказалъ... Отроду я не былъ воромъ!...

Не повѣрила и мать Гаврюшки.

— Господи, Царь Небесный!...—голосила она.—Сорокъ-шесть лѣтъ на свѣтѣ живу, не доѣдаю, не допиваю, а хоть-бы ниткой когда чужою попользовалась!... Мужъ пьяница горькій былъ, безобразникъ,—но, сохрани Богъ,—не воръ!... Въ роду у насъ никогда воровъ не было!... Зарѣзалъ ты меня, безъ ножа зарѣзалъ, разбойникъ!...—И

она грозила костлявымъ кулакомъ рыдающему Гаврюшкѣ.—Вѣдь мнѣ глаза теперь показать стыдно!... Что ты надѣлалъ? Что ты надѣлалъ?...

— Батюшка баринъ!... Кормилецъ мой, благодѣтель!...—И она обнимала колѣни Пескова.—Да какъ хотите, вы его накажите, разбойника; — только не выгоняйте!... Ну, куда мнѣ теперь съ нимъ?...

И Викторъ Михайловичъ не то—вѣрилъ, не то—не вѣрилъ. Но его тронули эти мольбы бѣдной женщины, тронули горькія слезы, раскаяніе Гаврюшки,—и онъ оставилъ его.

— Только, смотри у меня, чтобъ это больше не повторялось!... И онъ погрозилъ пальцемъ.

Гаврюшка остался; но жизнь его стала совсѣмъ ужь не та, что прежде. Обращеніе прислуги съ нимъ измѣнилось. Поваръ сдѣлался какъ-то холоденъ, сухъ; пересталъ отпускать шуточки, на счетъ его толстаго и короткаго носа, который одъ называлъ «луковицей». Онъ даже почти совсѣмъ пересталъ разговаривать съ мальчикомъ.

«Подкинь-ка въ плиту полѣнце—другое»—сухо процѣдитъ онъ; или: «возьми-ка, вонъ, картошки,—почисти!»—и только.

Тетка Маланья, перемывъ столовыя и чайныя ложки, тщательно пересчитывала ихъ раза по два и тотчасъ-же отдавала горничной, которая ихъ уносила наверхъ... Разъ, какъ-то, Гаврюшка услышалъ, какъ баринъ разговаривалъ въ сѣняхъ съ поваромъ.

— Такъ ничего теперь?—говорилъ онъ.

— Ничего-съ... Работаетъ все, по прежнему.

— Гм... Исправится, можетъ быть, мальчуганъ... А вы, все-таки, приглядывайте за нимъ, ухо востро держите! Часто, вѣдь, такъ бываетъ; стянулъ разъ,—и въ другой стянетъ...

— Помилуйте, Викторъ Михайловичъ... Да мы теперь глазъ съ него не спущаемъ... Серебро это...

Точно ножомъ ударило вдругъ въ сердце Гаврюшки, и онъ горько заплакалъ.

— Господи! Да, что-же это такое? — думалъ онъ, а слезы такъ и текли у него по щекамъ и скатывались на отчищенные ножи и вилки. — За кого они меня принимаютъ? За вора, мошенника?..

Но особенно мучила и терзала Гаврюшку франтоватая горничная. Она придиралась къ нему разъ по пяти въ день...

— Куда это у меня наперстокъ серебряный запропастился? — говорила она и подозрительно взглядывала на мальчика.—Вотъ тутъ, на столѣ былъ...

— Да вонъ онъ, Авдотья Даниловна; на полу лежитъ...

— Гдѣ?

— У плиты-съ... — И Гаврюшка подавалъ ей наперстокъ...

— Ты ложки-то мнѣ всѣ отдала давеча? — обращалась горничная къ теткѣ Маланьѣ.

— Извѣстно, всѣ.

— А что-же мнѣ показалось, точно одной не хватаетъ, будто... Тридцать-шесть ихъ, а я посчитала — тридцать-пять только... Ты не засунула-ли куда? — И Дуняша опять подозрительно взглядывала на Гаврюшку. Тотъ съ трудомъ удерживался отъ слезъ...

Прошло два года,—и изъ бойкаго, расторопнаго мальчика, вышелъ робкій, боязливый парень, съ худошавымъ, некрасивымъ лицомъ, на которомъ такъ и застыло какое-то испуганное выраженіе... И не легко-же прошли для него эти два года!... Только одна темная ночь, да подушка, набитая сѣномъ, знали, какой дорогой цѣной искупалъ бѣдный малый свое «страшное преступленіе»... И вдругъ... вдругъ, Викторъ Михайловичъ призываетъ его и даетъ размѣнять радужную бумажку... Господи! *Сто* рублей!... Такъ, значитъ, ему опять стали вѣрить, опять стали считать человѣкомъ!... Что-жъ удивительнаго, что Гаврюшка ногъ подъ собой не слышалъ отъ радости! На сердцѣ у него было такъ хорошо, такъ отрадно!...

— Что покупаете-съ?—спрашивалъ прикащикъ въ фруктовой лавкѣ.

Гаврюшка, гордо закинувъ назадъ свою маленькую головку, подошелъ къ прилавку. Весь занесенный полурастаявшимъ снѣгомъ, онъ походилъ на какую-то мокрую курицу. Но это нисколько не мѣшало ему сохранять важный видъ.

— Сто рублей... размѣнять просили, — говорилъ онъ и небрежно подалъ бумажку прикащику.

«Не удивляйся!... — говорило его лицо, его маленькіе, зеленоватые глазки.—У насъ, братъ, еще и не такія суммы въ рукахъ бывали... Д-да!...»

Прикащикъ взялъ сторублевку и сталъ пристально разглядывать ее на свѣтъ.

— Да, вы не сумнѣвайтесь, Семенъ Еремѣичъ! — обидѣлся, вдругъ, Гаврюшка.—Бумажка какъ есть настоящая, не фальшивая-съ... Викторъ Михайловичъ дали-съ...

— Какой Викторъ Михайловичъ?

— Песковъ, нашъ баринъ... Да вы развѣ не знаете?

— Не слыхалъ что-то...

Гаврюшка поглядѣлъ на него съ изумленіемъ.

— На Караванной живетъ, — говорилъ онъ. — Цѣлый этажъ занимаетъ...

— Не знаю!—прикащикъ еще разъ прикинулъ на свѣтъ бумажку и возвратилъ обратно.

— Не размѣняете-съ?

— Нѣтъ... Всего сорокъ рублей съ чѣмъ-то въ выручкѣ...

— Такъ мнѣ куда-же-съ?

— А вотъ тутъ, черезъ домъ направо, Денкера винный погребъ... Можетъ, и размѣняютъ...

Черезъ минуту Гаврюша былъ въ винномъ погребѣ, съ такимъ же важнымъ видомъ протягивалъ бумажку прикащику и какъ-то небрежно, сквозь зубы, говорилъ:

— Не размѣняете-ли... сто рублей?...

Прикащикъ, весь углубленный въ чтеніе «Петербургской Газеты», съ неудовольствіемъ поднялъ голову.

Чего надо? — сердито проворчалъ онъ.

— Сторублевая съ... Размѣняйте...

— Нельзя! — И прикащикъ опять уткнулся въ газету.

Гаврюшка оторопѣлъ.

— Сдѣлайте милость!... — забормоталъ онъ. — Баринъ очень просилъ-съ...

— Говорятъ, что нельзя!... Чего лѣзешь? — И прикащикъ грозно взглянулъ на парня.

Такъ мнѣ куда-же-съ теперь?

— Ступай въ мѣняльную лавку,— тамъ размѣняютъ хоть десять тысячъ...

— Да за промѣнъ заплатить надо-съ, — мнѣ не приказано...

Прикащикъ молчалъ.

— Ахъ, Господи Боже мой! — думалъ Гаврюшка, опять шагая по тротуару.—Куда-жъ теперь обратиться?... А, вонъ, развѣ туда, въ аптеку! — пришло ему въ голову — Тамъ размѣняютъ, тамъ денегъ завсегда много... И онъ рысью пустился черезъ дорогу...

— Берегись, эй!...—раздался вдругъ сиплый голосъ...

Ударъ дышломъ въ плечо, — и Гаврюшка грянулся навзничь...

Перепуганный кучеръ хлестнулъ лошадей бичемъ и скрылся за поворотомъ.

Гаврюшка съ трудомъ поднялся. Плечо у него страшно ныло,—но онъ не обращалъ на боль никакого вниманія... Онъ стоялъ, точно какъ одурѣлый, съ раскрытымъ ртомъ, съ вытаращенными глазами. Крѣпко зажатая въ кулакъ, «радужная» вдругъ исчезла. Ошеломленный малый и не замѣтилъ, какъ, при паденіи, рука у него разжалась; порывъ вѣтра подхватилъ бумажку и далеко унесъ ее...

— Карраулъ... Рѣжутъ!... — не своимъ голосомъ завопилъ Гаврюшка...

Викторъ Михайловичъ въ нетерпѣніи расхаживалъ по кабинету и поминутно поглядывалъ на часы. Прикащикъ все еще сидѣлъ на кончикѣ стула... Вдругъ онъ поднялся...

— Простите, Викторъ Михайловичъ, мнѣ нѣкогда-съ,— говорилъ онъ.—Я, лучше, къ вамъ завтра зайду...

Да, да, зайдите, пожалуйста... Просто, не знаю, что и подумать!... Два часа прошло, а его все нѣтъ!...

Прикащикъ раскланялся и ушелъ.

— Герасимъ!—крикнулъ Викторъ Михайловичъ.

Важный лакей, съ длинными бакенбардами, вошелъ въ кабинетъ.

— Не приходилъ еще?

— Никакъ нѣтъ-съ...

— Что-жъ это значитъ?...

— Не могу знать-съ...

— Ну, вотъ вамъ, Маланья Ивановна, и вашъ хваленый Гаврила! — говорила судомойкѣ франтоватая горничная. — Все вы за него заступались, все заступались, — и что-жъ? Да убѣжалъ онъ, просто, съ деньгами-то... Вотъ и все... А вы еще заступались!... И злая улыбка исказила ея миловидное личико.

— Э, полно вамъ, Авдотья Даниловна! — говорилъ поваръ.—Куда ему убѣжать?—Рыскаетъ, просто, по лавкамъ... Сто рублей деньги не малыя—не вездѣ размѣняютъ...

— Не случилось-ли съ нимъ чего, сохрани Господи!... — вздохнула тетка Маланья. — Подъ лошадь не попалъ-ли, подъ конку?... Онъ, вѣдь, у насъ ротозѣй такой...

— Что толковать!—злобно усмѣхнулась Дуняша.—Ротозѣй, — какъ-же!... Нѣтъ, онъ малый не промахъ; пальца ему въ ротъ не клади,—какъ разъ откуситъ!... А по моему, просто, въ портерной сидитъ гдѣ-нибудь, или въ трактирѣ...

— Перекреститесь, Авдотья Даниловна! — протестовалъ поваръ.—Онъ въ ротъ ничего не беретъ...

— Знаемъ мы!... Вотъ, помяните вы мое слово: придетъ онъ ночью сегодня, а не то—завтра утромъ... Ну, извѣстно, въ ноги барину: такъ и такъ,—потерялъ деньги...

Тетка Маланья задумалась. Морщины на ея лбу стали, какъ-будто, еще глубже, еще замѣтнѣе... И вдругъ, она, ни съ того, ни съ сего, накинулась на Дуняшу.

— Ужь и языкъ-же у тебя, милушка!—кричала она.— Жало змѣиное — не языкъ. И что тебѣ сдѣладъ парень? Чего ты къ нему все придираешься, да придираешься?

Тускло горитъ жестяная лампочка, съ закопчёнымъ стекломъ, и освѣщаетъ бѣдную, неприглядную обстановку. Простой, деревянный, некрашеный столъ, скамья; кровать въ углу, съ наваленнымъ на ней какимъ-то тряпьемъ и жиденькой, плоской, какъ блинъ, подушкой... Въ комнаткѣ холодно, сыро, грязно... Пахнетъ сѣрымъ мыломъ, плѣсенью...

Тетка Марья только-что кончила стирку, сложила вымытое и выжатое бѣлье въ корзину и присѣла къ столу... Страшно болитъ и ноетъ спина; ноетъ грудь, ноютъ худыя, костлявыя руки... Устала старуха, страшно устала, — да и еще-бы!... Чуть не до свѣту поднялась она,—да такъ почти до десятаго часу вечера работала за корытомъ, не разгибая спины... Поужинать-бы теперь, чѣмъ Богъ послалъ, да и отдохнуть надо... И вотъ, налила она въ деревянную чашку кваску, капусты квашеной положила, лучку, корки ржанаго хлѣба (еще отъ обѣда осталось), перекрестилась и усѣлась за ужинъ...

На улицѣ вѣтеръ шумитъ; стонетъ онъ, завываетъ въ трубѣ... Тускло горитъ дымная лампочка... А тамъ за стѣной гдѣ-то, слышатся голоса...

За дверью раздался стукъ.

— Кто тамъ? — окликнула вдругъ она.

— Я.. Я... пусти... — послышался чей-то, какъ-будто знакомый, голосъ.

Марья въ испугѣ шагнула назадъ.

Дверь отворилась и въ комнату вошелъ Гаврюшка. Но въ какомъ видѣ!... Безъ шапки, въ одномъ пиджакѣ, весь, съ головы до ногъ, занесенный снѣгомъ, блѣдный, — онъ трясся, какъ въ лихорадкѣ. Глаза его какъ-то дико блуждали. Одна щека была ссажена; кровь запеклась у ранки...

— Господи, Царь небесный!... — крикнула Марья. — Гаврюшка! Да, что съ тобой? На тебѣ лица нѣтъ!...

Гаврюшка, пошатываясь, точно пьяный, добрелъ до скамьи, упалъ на нее и, вдругъ, зарыдалъ, какъ ребенокъ...

Тетка Марья испугалась.

— Что съ тобой, милый мой? Что съ тобой?—говорила она.—Что случилось?..

Деньги я... потерялъ... матушка... — еле-еле выговориль Гаврюшка.

— Деньги?... Какія деньги?...

— Баринъ далъ размѣнять... Сто рублей... — И онъ, всхлипывая и останавливаясь чуть не на каждомъ словѣ, разсказалъ матери, какъ потерялъ деньги. Та слушала его, точно окаменѣлая. Руки у нея опустились...

— Ну, какъ я туда глаза покажу? — говорилъ Гаврюшка. — Да они развѣ повѣрятъ? Укралъ, — скажутъ... Укралъ...—И опять слезы хлынули у него въ три ручья.— Да развѣ тогда я думалъ украсть, матушка... этотъ ключикъ?.. Да разрази меня Богъ!... Забылъ я просто, перепугался... Два года потомъ меня совѣсть мучила... Ночи не спалъ, въ глотку кусокъ не лѣзъ... А тамъ, поваръ, опять, Флегонтъ Степанычъ, горничная Авдотья... Смотрятъ во всѣ глаза... Ложки серебряныя записывать стали... Богъ имъ судья!... Баринъ не вѣрилъ,—смотрѣть, молъ, надо за нимъ, въ оба смотрѣть... Далъ сто рублей... Размѣняй!.. Въ минутку, думаю, сбѣгаю.. Да... И вотъ... — Гаврюшка умолкъ: его душили рыданія...

Марья сидѣла блѣдная, неподвижная. Она просто ушамъ

не вѣрила. — «Сто рублей!... Господи!... Сто рублей!...» — точно молотомъ било ей въ голову...

— Что-жъ мнѣ дѣлать теперь, родимая? Что мнѣ дѣлать?—говорилъ съ отчаяніемъ Гаврила.—Вѣдь, только, одно и осталось—голову въ петлю...

— Да ты съ ума сошелъ!...—въ ужасѣ завопила Марья.—Опомнись! Что говоришь!...

— Да что-жъ больше-то?... Вотъ, опять скажутъ: «укралъ»... Въ жизни они мнѣ не повѣрятъ...

— Матушка!... Ради Христа!...—Гаврюшка, вдругъ, бухнулся въ ноги матери.—Ради Христа, сходи ты туда, скажи имъ... Скажи, что я деньги отдамъ,—заработаю, выплачу... Такъ и такъ, молъ... Лошадь съ ногъ сшибла... упалъ... выпала сторублевая... вѣтромъ ее унесло... Вѣдь я битый часъ ползалъ тамъ по дорогѣ... Весь снѣгъ перерылъ руками, вездѣ смотрѣлъ, — сгинула сторублевая... Сходи, матушка... въ ноги, тамъ, барину поклонись, попроси его... Тебѣ-то они скорѣй повѣрятъ... а я и за порогъ къ нимъ не смѣю ступить... Вѣдь, они меня...—И опять рыданія заглушили голосъ Гаврюшки...

Долго не могла тетка Марья собраться съ духомъ, оправиться...—«Господи!... Сто рублей... сто рублей!...»—шептали ея блѣдныя губы...—И, вдругъ, она вздрогнула, точно ужаленная, и долгимъ, пытливымъ взглядомъ посмотрѣла на сына.

— Да, точно-ли ты потерялъ, Гаврюшка?— заговорила она.—Ужъ не глаза-ли отводишь?

— Матушка!... Такъ и ты... Ты не вѣришь?... И ты тоже думаешь, что я укралъ эти деньги... укралъ... спряталъ куда-нибудь... Ты, можетъ, и тогда не повѣрила?... Ключикъ-то этотъ... Да?...

Марья сидѣла молча, потупившись... И, вдругъ, легкая краска разлилась по ея блѣднымъ, осунувшимся щекамъ... Ей совѣстно стало... Да, точно, она и тогда не повѣрила... И теперь... и теперь тоже...— «Не притворяется-ли, просто,

парнишка? Не обмануть-ли хочетъ?...» —промелькнула у нея въ головѣ гадкая мысль.—И Марьѣ совѣстно, больно стало... Она опять взглянула на сына,—и сердце у нея мучительно сжалось... Да развѣ такъ притворяются?... Гаврюшка сидѣлъ блѣдный, какъ полотно, совсѣмъ убитый, и рыдалъ, неудержимо рыдалъ...

— Такъ и ты меня тоже воромъ считаешь, матушка?... Ты!...—рыдалъ Гаврюшка.

— Прости, родимый!... Прости, голубчикъ!...— Старуха обняла сына и поцѣловала его взъерошенную, мокрую отъ растаявшаго снѣга, голову... Слезинка выкатилась у нея изъ глаза и застряла въ жидкихъ, волосахъ... А вотъ и другая, третья, четвертая... Точно горохъ, закапали вдругъ онѣ...

— Прости, мой голубчикъ!... — шептала Марья... — Прости!...

Гаврюшка рыдалъ...

Вѣтеръ все такъ-же выл и стоналъ въ трубѣ. Голоса за стѣной умолкли... Гдѣ-то слышался храпъ... Тускло, дымясь, горѣла на стѣнѣ лампочка...

— Ахъ, горе ты, горе, напасть какая!... — вздыхала Марья.—Ну, что теперь станешь дѣлать? Схожу я, Гаврюша, къ барину, поклонюсь ему... Такъ и такъ, молъ... Онъ человѣкъ богатый,—проститъ, можетъ... Что ему сто рублей?...

— Да, я отдамъ ему ихъ, матушка, всѣ отдамъ... Такъ и скажи: выплачу, заработаю... Не нужно мнѣ его денегъ!... Да дѣло не въ деньгахъ,—продолжалъ онъ.—Что деньги?... Мѣсто найду гдѣ-нибудь, въ лакеи наймусь, что-ли... Жалованье до копѣечки буду откладывать,—и отдамъ... Дѣло не въ деньгахъ... Баринъ-то что подумаетъ, барыня?... Тетка Маланья... Вѣдь, не повѣрятъ, пожалуй... «Укралъ», — скажутъ...—Гаврюшка вдругъ поблѣднѣлъ и стиснулъ руками голову.

— Что съ тобой?...

— Да голова, что-то, вдругъ заболѣла...

— Простудился, должно быть, продрогъ... Морозъ на улицѣ-то, а ты въ одномъ сюртукѣ, безъ шапки... Ложись-ка, голубчикъ, усни. Къ утру, Богъ дастъ, пройдетъ... А тамъ, къ барину я схожу, попрошу его... Ты очень-то не тревожься, Гаврюша, не думай... Ну, что станешь дѣлать, съ кѣмъ грѣха не случается...

— Ишь, разгорѣлся-то какъ!—говорила она, прикладывая ко лбу сына худую, костлявую руку.—Точно, отъ печки пышетъ!... Ложись-ка, родной, усни... Худо тебѣ?

— Худо, матушка...

Гаврюшка чувствовалъ себя очень скверно. Онъ, то—краснѣлъ, то—блѣднѣлъ; его въ жаръ кидало, въ ознобъ; голова страшно болѣла, кружилась...

— Я тутъ вотъ, у печки, лягу, — говорила тетушка Марья,—а ты на кровать ложись...

Гаврюшка съ трудомъ добрелъ до кровати и рухнулся на нее, точно пластъ... Марья постлала въ углу пальтишко какое-то и улеглась... Но долго она заснуть не могла: мысли, одна другой мрачнѣе, печальнѣе, лѣзли ей въ голову...

— Сто рублей!... Господи!... Сто рублей!... — шептала она. — Ну, что теперь станешь дѣлать?... А что, какъ да онъ, вдругъ...—И ей представлялось, какъ она пришла къ барину, все разсказала ему. Выслушалъ тотъ и, вдругъ... ногами затопалъ... «Подъ судъ! Подъ судъ его, вора!—заоралъ онъ. Въ тюрьму!...» И вотъ, Гаврюшка въ тюрьмѣ, съ арестантами...

Въ потъ даже бросило тетушку Марью... Она зашептала молитву, перекрестилась дрожащею рукой...

Въ подвалѣ было темно, хоть глазъ выколи; холодно, сыро... За печкой трещалъ сверчокъ; съ вымытаго, но плохо выжатаго, бѣлья стекали капли воды и какъ-то глухо падали на полъ. Гаврюшка метался въ жару, бредилъ...

— А вдругъ, да онъ расхворается? — приходитъ опять въ голову Марьѣ. Сохрани, Господи, и помилуй!... Ну, что станешь съ нимъ дѣлать? Въ больницу свезти... А если...—

И опять потъ крупными каплями выступаетъ на лбу старухи; сердце ея болѣзненно сжимается, замираетъ; и опять она шепчетъ молитву и крестится дрожащею рукой... Но вотъ, усталость взяла свое,—Марья забылась...

— Баринъ... голубчикъ!... Викторъ Михайловичъ!...—раздался вдругъ жалобный, надрывающій душу, голосъ.—Ради Христа!...

Старуха вскочила, точно ужаленная, отыскала ощупью спички, лампу зажгла... Гаврюшка сидѣлъ на кровати и бредилъ. Лицо его такъ и пылало; глаза сверкали какимъ-то дикимъ, лихорадочнымъ блескомъ...

— Гаврюшенька! Что съ тобой?—бросилась къ нему мать.

Но Гаврюшка не узналъ ее.

— Не надо... не надо!...—жалобно кричалъ онъ.—Зачѣмъ вязать? Я и такъ пойду... Викторъ Михайловичъ... Ради Христа!... Отдамъ я вамъ, всѣ отдамъ, до копѣечки... Образъ сниму... Зачѣмъ же вязать-то меня; въ тюрьму зачѣмъ?... Развѣ укралъ я... Что-о?... Ложку, ты говоришь, ложку серебряную? Тетушка, да погляди тамъ въ столѣ, въ ящикѣ,—вѣдь ты ихъ давеча всѣ туда положила... И наперстокъ, вонъ онъ!...

— Кастрюлька опять... кастрюлька...—бормоталъ онъ.—Да побойся ты Бога, Флегонтъ Степанычъ!... Что-о?... Воръ, говоришь? Я-то воръ?... О, Господи Боже мой!... Воръ... воръ... воръ...—И Гаврюшка вдругъ зарыдалъ.

— Голубчикъ ты мой, родимый!...—тронула его за плечо мать.—Гаврюша... Очнись!..

— Прочь!.. — взмахнулъ вдругъ кулаками Гаврюшка и глаза его опять засверкали.—Воровъ, да мошенниковъ вяжутъ... Я не позволю вязать... Въ тюрьму, говоришь?—Такъ что-жъ, и въ тюрьму пойду... Богъ свидѣтель...

— Викторъ Михайловичъ!..—опять жалобно застоналъ онъ.—Голубчикъ!.. Да разрази меня Богъ!.. Десятый я годъ живу,—и хошь бы нитку какую-нибудь, хлѣба корку безъ

спроса взялъ... Зачѣмъ же въ тюрьму-то меня?... «Воромъ» зачѣмъ?..

Блѣдная, вся дрожащая, стояла Марья у постели больного; слезы ручьемъ текли по ея исхудалымъ щекамъ.

— Господи, Царь Небесный!...—шептала она.—Ну, что мнѣ съ нимъ дѣлать, что дѣлать?..

— И ты тоже, матушка!.. — Гаврюшка, вдругъ, повернулся и устремилъ на мать сверкающіе глаза. — Такъ я и ключикъ, по твоему?.. Я?..

— Гаврюша, Господь съ тобой!.. Да неужели же я...

Но Гаврюшка, вдругъ, засмѣялся. Слезы, жгучая обида, слышались въ этомъ тихомъ, короткомъ смѣхѣ.

— Наперстокъ, Авдотья Даниловна?— говорилъ онъ.— Да вонъ онъ, наперстокъ-то вашъ, у печки валяется, — берите его...

На кухнѣ были всѣ въ сборѣ. Поваръ Флегонтъ Степанычъ хлопоталъ у плиты; тетка Маланья перемывала тарелки. Дуняша рѣзала хлѣбъ тонкими, какъ листъ, ломтиками и аккуратно складывала ихъ въ лотокъ. На лавкѣ сидѣлъ, вытянувъ свои длинныя, худыя ноги, лакей Герасимъ. Онъ важно, съ сознаніемъ собственнаго достоинства поглаживалъ бакенбарды и попыхивалъ дымкомъ сигары... Слегка прищуривъ глаза и сложивъ губы сердечкомъ, онъ пускалъ тоненькія, синеватыя струйки, повидимому, вполнѣ довольный сознаніемъ, что куритъ сигару... Дверь отворилась и въ кухню вошла тетка Марья.

— А, та-та-та!...—заговорилъ поваръ.—Марья Ивановна! Сколько лѣтъ, сколько зимъ!.. Откуда Господь Богъ несетъ?...

Дуняша повернула голову и окинула вошедшую какимъ-то полу-удивленнымъ, полу-насмѣшливымъ взглядомъ. Герасимъ еще больше прищурилъ глаза и на низкій поклонъ старухи чуть-чуть кивнулъ головой. Тетка Маланья...

у той руки вдругъ, почему-то, дрогнули, и только-что вымытая и вытертая тарелка едва не упала на полъ...

Марья сильно осунулась, похудѣла; на ея блѣдныхъ, впалыхъ щекахъ прибавилось еще больше морщинъ.

— Барина бы мнѣ повидать, — говорила она. — Дома онъ?

— Баринъ-то? Да, кажись, дома. Дома, Герасимъ Ильичъ?

Герасимъ пустилъ тонкую струйку дыма, сплюнулъ, погладилъ свои пушистыя бакенбарды и какъ-то нехотя процѣдилъ сквозь зубы:

— Уѣхалъ къ его сіятельству Князю Валеріану Викентьевичу Курагину. Черезъ часъ вернется...

— А что-же сынокъ вашъ, Марья Ивановна? — язвительно заговорила Дуняша.—Вѣдь онъ обокралъ барина... убѣжалъ... Вчера въ полицію заявили...

— Да прикуси ты языкъ!... — закричала вдругъ тетка Маланья и загремѣла тарелками. — Ну, чего ты язвишь?

Дуняша вся вспыхнула и до крови закусила губы.

— Не обокралъ онъ, милушка, барина-то,—заговорила Марья, и голосъ ея задрожалъ. — Отъ роду онъ воромъ не былъ... Онъ потерялъ деньги...

— Ну, что я вамъ говорила? Что говорила? — Тетка Маланья вдругъ оживилась; улыбка озарила ея старое, морщинистое лицо. Ей точно легче, веселѣй стало. — Вѣдь такъ и думала, что либо подъ конку попалъ, въ больницѣ лежитъ гдѣ-нибудь, либо потерялъ радужную и глазъ теперь показать не смѣетъ... Знала я, знала...

— Такъ что-же, Марьюшка? — обратилась она къ старухѣ. — Онъ у тебя теперь?

— У меня, матушка...—Боленъ лежитъ... при смерти...— И тетка Марья шмыгнула по глазамъ рукавомъ изношеннаго пальтишки.

— Боленъ?... Да что съ нимъ?...

— Да Богъ знаетъ... Горячка, должно быть... Теперь-то полегче, какъ-будто, а вотъ вчера всю ночь метался въ

жару, бредилъ... И все ему представлялось, что его въ тюрьму хотятъ посадить... Плакалъ все, барина звалъ... — И старуха сама заплакала. — Не знаю, что съ нимъ и дѣлать!...

Тяжелый вздохъ вырвался изъ груди тетки Маланьи.

— Да что дѣлать, милая,—говорила она.—Въ больницу его надо везти. Да барину, вотъ, сказать... Онъ добрый у насъ, дай ему Богъ здоровья... — Сходи-ка, Герасимъ Ильичъ, узнай, не вернулся-ли баринъ-то,—обратилась она къ лакею.

Тотъ, все по-прежнему, сидѣлъ, вытянувъ ноги и попыхивая дымкомъ сигары. Молча смотрѣлъ онъ на эту сцену, но даже и на его гладко-выбритомъ, спокойномъ лицѣ, опушенномъ длинными бакенбардами, виднѣлось что-то, похожее на участіе.

Герасимъ вынулъ изъ кармана серебряныя часы, взглянулъ на нихъ.

— Безъ десяти пять,—процѣдилъ онъ.—Долженъ вернуться...

Гдѣ-то вверху раздался громкій звонокъ.

Герасимъ ушелъ и минутъ черезъ пять снова вернулся.

— Пройди туда; баринъ спрашиваетъ,—обратился онъ къ теткѣ Марьѣ.

Та поплелась за нимъ.

Викторъ Михайловичъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и разбиралъ бумаги. Дверь отворилась, и Марья робко шагнула въ комнату.

Викторъ Михайловичъ обернулся.

— Ну, проходи, проходи, голубушка!—говорилъ онъ.— Что скажешь?...

Старуха еще шагнула и, вдругъ, зарыдавъ, бухнулась въ ноги барину.

— Что ты, Господь съ тобой!. —смутился Викторъ Михайловичъ. — Встань, разскажи въ чемъ дѣло.

Но тетка Марья не подымалась.

— Да встань-же, тебѣ говорятъ, — встань! Ты мать Гаврилы?

— Мать... ваше превосходительство...

— Такъ въ чемъ же дѣло, голубушка? Разскажи. Что Гаврила?..

— Да вотъ оно какъ, ваше превосходительство... — И тетка Марья все ему разсказала. Викторъ Михайловичъ молча слушалъ ее; лицо его было хмуро.

— Такъ вотъ оно въ чемъ дѣло-то!— вскричалъ онъ.— Бѣдняга, бѣдняга!.. Зачѣмъ же онъ прямо ко мнѣ не пришелъ, не сказалъ?...

— Не смѣлъ онъ, ваше превосходительство... Все думалъ, что вы его воромъ считаете.

Викторъ Михайловичъ закусилъ губы.

— Э, пустяки! пустяки!... Точно, тогда, ключикъ этотъ... Было сомнѣніе... Ну, а теперь... Такъ боленъ, говоришь? Очень?

— Боленъ, ваше превосходительство...

— Эхъ, бѣдный, бѣдный!... Ну, ладно, не безпокойся, голубушка,— мы все поправимъ... Я доктора къ вамъ сегодня пошлю, а завтра и самъ зайду утромъ.

Въ эту минуту въ кабинетъ вошла Ольга Петровна. Замѣтивъ тетушку Марью, Ольга Петровна съ удивленіемъ оглянула ее.

— Кто эта женщина?— обратилась она по-французски къ мужу.

— Это мать Гаврилы...

— Гаврилы?...— вспыхнула Ольга Петровна.— Этого вора, мошенника?...

— Э, полно, милая!— перебилъ ее Викторъ Михайловичъ.—Гаврила—добрый и честный мальчикъ. Мы въ немъ ошиблись. Послушай-ка...—И онъ разсказалъ женѣ въ чемъ было дѣло.

— Гм... Положимъ и такъ,— говорила та.— Но что же ты намѣренъ дѣлать?

— Какъ что?— удивился Викторъ Михайловичъ.—Конечно, сперва надо послать доктора...

— А потомъ?...

Викторъ Михайловичъ немного сконфузился.

— А потомъ, голубушка,—обратился онъ къ теткѣ Марьѣ, и ласково потрепалъ ее по плечу.— Не думай, Бога ради, не безпокойся... Не сынъ твой тутъ виноватъ, а *я*... Да, *я*... Ну, ладно, ступай... Я самъ зайду къ вамъ,—потолкуемъ... А теперь — на, вотъ, возьми покамѣстъ...—И онъ далъ ей красную ассигнацію...

— Ваше превосходительство!...

— Ну, ладно, ладно, возьми!...—Викторъ Михайловичъ насильно всунулъ ей въ руку деньги и осторожно выпроводилъ за дверь.

Тетка Марья ногъ подъ собой не слышала...

Не дешево обошлась Гаврюшкѣ эта потеря «радужной». Онъ пролежалъ три недѣли въ сильнѣйшей горячкѣ, и главный больничный докторъ, старый знакомый Пескова, почти потерялъ надежду на его выздоровленіе. Пузырь съ колотымъ льдомъ почти не снимался съ головы больного... Гаврюшка, то — забывался короткимъ, тяжелымъ сномъ, который, того и гляди, могъ перейти въ сонъ вѣчный, то— его мучили бредъ и страшныя видѣнія.

То—ему кажется, что въ кухню, гдѣ онъ чиститъ ножи и вилки, входитъ полиція: околодочный, городовые... Околодочный,— такой высокій, толстый, сердитый, съ щетинистыми усами... Гаврюшка помнитъ, какъ этотъ толстякъ кричалъ, разъ какъ-то, на ихъ дворника Ермолая, грозилъ ему кулакомъ, топалъ ногами, и какъ Ермолай, блѣдный, испуганный, только топтался на одномъ мѣстѣ, да бормоталъ: «простите, вашбродіе... виноватъ-съ!...»—«Вотъ онъ!»— кричитъ околодочный.—«Воръ!... Берите, вяжите его!...»—и указываетъ городовымъ на Гаврюшку. Ножи и вилки, толь-

ко-что натертые кирпичемъ съ деревяннымъ масломъ, упали на полъ. Гаврюшка блѣднѣетъ, какъ полотно; холодный потъ выступаетъ у него на тѣлѣ. «Вяжите его!...—кричитъ околодочный.—Онъ укралъ золотой ключикъ! Укралъ сторублей!... Вяжите!...» И вотъ, трое усатыхъ городовыхъ подходятъ къ нему съ веревками.—«Пустите!... Я не укралъ, а потерялъ деньги!...»—не своимъ голосомъ кричитъ Гаврюшка и мечется въ страшномъ жару.

Два здоровенныхъ сторожа съ трудомъ удерживаютъ его за руки.

— Викторъ Михайловичъ... Голубчикъ!... Тетушка!... Да разрази меня Богъ!... Я никогда не былъ воромъ!...

— Ишь, вѣдь, какой сильный, каналья? — бормочетъ больничный сторожъ.—А самъ худой-прехудой — взглянуть не на что... Скрутить ему руки-то, а то, неравно, расшибется...

— Пустите!...—вопитъ Гаврюшка и порывается встать.—Я не хочу въ тюрьму, не хочу!...

И вотъ, представляется ему тюремная камера. Сторожъ провелъ его длиннымъ, полутемнымъ и сырымъ корридоромъ, отворилъ огромную, запертую тяжелымъ замкомъ, дверь и втолкнулъ въ какую-то комнату. Дверь снова захлопнулась и ключъ зазвенѣлъ въ замкѣ. И вотъ, его окружила толпа мужчинъ, въ сѣрыхъ халатахъ, грязныхъ, небритыхъ. Гаврюшка поднялъ глаза... Лица — блѣдныя, исхудалыя, робкія... И всѣ они смотрятъ въ упоръ на него и на всѣхъ написано: «и ты воръ!... и ты воръ!... и ты воръ! ..» И Гаврюшкѣ гадко, мучительно тяжело...

То—видитъ онъ кухню... Ярко пылаетъ плита; поваръ хлопочетъ надъ только-что ошпареннымъ поросенкомъ, а тетка Маланья... Она оставила свои невымытыя тарелки и смотритъ на него, на Гаврюшку... Пряди сѣдыхъ волосъ выбились изъ-подъ платка и свѣсились на этотъ низкій и загорѣлый лобъ, на которомъ вѣчная трудовая жизнь, горе, и забота наложили такъ много глубокихъ морщинъ... Лицо

такое славное, доброе... Глаза... Но эти глаза теперь смотрятъ на него какъ-то грустно, съ какимъ-то укоромъ...— «Такъ вотъ оно какъ, Гаврюша!—говоритъ тетка Маланья и глубоко, глубоко вздыхаетъ. — Такъ ты за худыя дѣла принялся!... Ахъ, милый ты, милый мой!... Не думала я, не гадала...» — «Тетушка!... Да Господь — свидѣтель!...» — И онъ разсказываетъ ей что-то, долго разсказываетъ, съ такимъ жаромъ... Слезы катятся у него по щекамъ... Тетка Маланья слушаетъ,— и вотъ, лицо ея оживляется, въ глазахъ исчезаетъ этотъ укоръ, грусть,— они, какъ и всегда, смотрятъ такъ хорошо, такъ ласково...— «Вѣрю, вѣрю, голубчикъ!»—говоритъ она.«—Смотри-же, милый... Боже тебя сохрани! Чужое взять,—нѣтъ, лучше подохнуть съ голоду...»—«Мужъ у меня пьяница былъ, безобразникъ»,—слышится голосъ тетушки Марьи,—«но, сохрани Богъ,— не воръ... Въ роду у насъ никогда воровъ не было!...»— «А радужная-то бумажка?...»—вдругъ говоритъ поваръ и какъ-то плутовски улыбается и подмигиваетъ.—«Въ жизнь, не повѣрю я! Въ жизнь, не повѣрю!...»—И тетка Маланья сурово глядитъ на Флегонта.— «Чѣмъ на другихъ-то клепать, за собой лучше бы примѣчалъ, Флегонтъ Степанычъ!... Небойсь, не мало господскихъ крохъ перепадаетъ на твою долю... За говядину-то ты заплатишь полтинникъ, а поставишь въ восемь гривенъ...» Поваръ, вдругъ, умолкаетъ и отворачивается...—«А наперстокъ-то мой серебряный?...— слышится чей-то голосъ.—Ложка?...» Давеча ихъ тридцать-шесть было, а посчитала я — тридцать-пять... Куда же одна дѣвалась?...»—И изъ-за плеча тетки Маланьи выглядываетъ злое личико горничной. Гаврюшка отступаетъ отъ нея съ ужасомъ... И вотъ, ему чудится, что это не горничная, а змѣя; не языкъ у нея, а ядовитое жало... Съ сверкающими глазами, съ шипѣньемъ, она свивается клубомъ, ползетъ къ нему... все ближе, ближе... — «Змѣя!...» — кричитъ Гаврюшка.—«Змѣя!... Спасите!...»

Какой-то холодъ охватываетъ, вдругъ, его голову... Это, положили новый пузырь со льдомъ... Гаврюшка мечется, рвется въ постели... Сторожа съ трудомъ удерживаютъ его...

Викторъ Михайловичъ заходилъ раза два къ больному.

— Ну, что, не лучше?—спрашивалъ онъ главнаго доктора.

— Пока все такъ-же... Посмотримъ, что будетъ далѣе...

— Ужъ вы, пожалуйста, Федоръ Ивановичъ!...—И Песковъ крѣпко жалъ руку доктору. На сердцѣ у него было скверно. Онъ чувствовалъ себя виноватымъ...

«Да будь они прокляты, эти сто рублей!... Я-бы теперь тысячу отдалъ, лишь-бы...»—И онъ грустно смотрѣлъ на больного...

— Помилуйте, я—что могу... Будьте спокойны!...—говорилъ докторъ и тоже сочувственно жалъ руку Пескову.

Тетка Марья навѣщала сына каждый пріемный день. Грустная, съ заплаканными глазами, сидѣла она у его изголовья. Но Гаврюшка ни разу не пришелъ въ память, не узналъ ее... Заходила и тетка Маланья...

Но вотъ, наступилъ переломъ болѣзни.

— Выдержитъ!—процѣдилъ сквозь зубы молодой ординаторъ.—Не ладно скроенъ, но крѣпко сшитъ... Бывали примѣры,—знаемъ!...

И точно, онъ оказался правъ. «Скрипучее дерево дольше стоитъ»,—говоритъ пословица.

И Гаврюшка поправился...

Въ небольшой, довольно мрачной комнатѣ, въ два окна, заваленной какими-то книгами въ кожанныхъ переплетахъ и грудой бумагъ, сидѣлъ за конторкой молодой человѣкъ и что-то писалъ...

Былъ зимній, морозный вечеръ. Смеркалось; на улицахъ и въ магазинахъ вспыхивалъ газъ... Въ комнатѣ становилось темно... Все ниже и ниже склонялъ молодой человѣкъ

голову надъ бумагой, тщательно выводя крупныя, красивыя буквы... Но вотъ, наконецъ, и совсѣмъ стемнѣло... Молодой человѣкъ потянулся, зѣвнулъ, потомъ зажегъ лампу и опять заскрипѣлъ перомъ...

— Гаврила! — послышался вдругъ чей-то голосъ.

— Чего-съ? — Молодой человѣкъ поднялъ голову.

— Ты, что тамъ засѣлъ въ конторѣ? Чего обѣдать не идешь?...

— Да вотъ, дописать надо-съ, Петръ Афанасьевичъ? Только одну страничку-съ... Сію минуту, сейчасъ...

— Да мнѣ-то какое дѣло... Ты хоть ночуй тамъ!... Я къ тому, собственно, — думаю, проголодался... Четыре давно уже пробило?...

— Пробило, Петръ Афанасьевичъ...

— А я еще не обѣдалъ... Ваську все поджидалъ... Да и ѣсть-то что-то не хочется... Пропустилъ рюмку, да и прилегъ, — ко сну клонитъ... Вотъ, и теперь опять!...—послышалось за стѣной. — Ступай, Гаврила!...

— Сейчасъ, Петръ Афанасьевичъ...

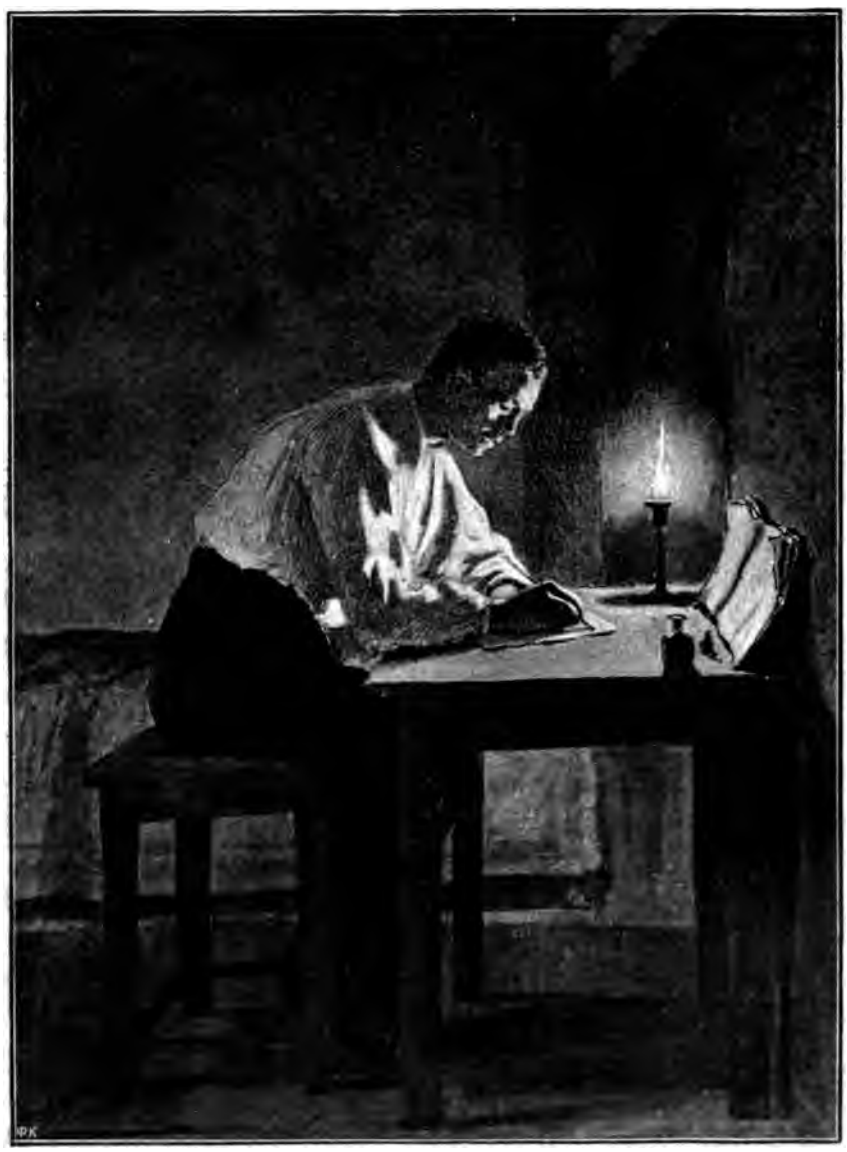
Гаврила!... Да, это онъ, Гаврюшка. Его не трудно узнать. Прошло два года, какъ онъ выписался изъ больницы,— и эти два года почти нисколько не измѣнили его. Онъ только, какъ-будто, еще подросъ и сдѣлался еще худощавѣе. А такъ, вообще, все тотъ-же... Все тѣ-же коротко-остриженные волосы, торчащіе, какъ у ежа; то-же лицо, блѣдное, худощавое, но только теперь нѣтъ на немъ красныхъ пятенъ отъ тертаго кирпича; нѣтъ и этого робкаго, запуганнаго выраженія... Теперь Гаврюшка смотритъ довольно бойко, хотя и нельзя сказать, чтобъ ужъ очень самоувѣренно... Тѣ-же руки, съ длинными, худощавыми пальцами, но только онѣ теперь запачканы не кирпичемъ, а чернилами. Одѣтъ Гаврюшка довольно прилично, но мѣшковато. Старенькій, тщательно вычищенный, сюртучокъ сидитъ на немъ, какъ на вѣшалкѣ; изъ-за глухой, двухбортной

жилетки выглядываетъ накрахмаленный воротничокъ; сапоги вычищены...

Прошло два года, — и много воды утекло. Теперь Гаврюшка ужъ не лакей, не кухонный мальчикъ. Онъ оставилъ ножи и вилки и занимается веденіемъ книгъ и счетовъ въ конторѣ купца Волкова «съ сыномъ»... Онъ помнитъ еще и теперь, да врядъ-ли и забудетъ когда, эти долгія, безсонныя ночи... Тускло горитъ на столѣ лампочка и освѣщаетъ невзрачную, сухопарую фигуру Гаврюшки, склоненную надъ работой; освѣщаетъ его поблѣднѣвшее отъ труда лицо, всклокоченные, торчащіе, какъ у ежа, волосы. — И пишетъ, пишетъ Гаврюшка, старательно выводитъ перомъ заглавныя и прописныя буквы, съ тетрадки прописей Гербача, купленной имъ у букиниста за 4 коп. Гдѣ-то, на каланчѣ, бьетъ 11, а Гаврюшка все пишетъ... Двѣнадцать пробило — пишетъ онъ... Въ два часа онъ написалъ только одну страничку. За то, не дурно написано. Да!... Гаврюшка подноситъ свою работу поближе къ лампѣ и долго, долго глядитъ на нее... И вотъ, улыбка появляется у него на губахъ. Гаврюшка доволенъ...

Тетрадка прописей откладывается въ сторону и на мѣсто ея выступаютъ: «Учебникъ Ариѳметики» Евтушевскаго и «Сборникъ задачъ» — его-же. И эти книжки купилъ Гаврюшка у букиниста, въ Александровскомъ рынкѣ, за 35 коп. Сходно онѣ ему достались, не дорого: книжки довольно еще новенькія, въ корешкахъ... Гаврюшка былъ очень доволенъ, что пріобрѣлъ ихъ такъ дешево. Онъ даже забылъ, что два дня тогда сидѣлъ на одной рѣдькѣ и огурцахъ, и даже не понюхалъ чаю. А чай онъ очень любилъ. И вотъ, выступаютъ на сцену «Учебникъ Ариѳметики» и «Сборникъ задачъ»... Берется грифельная доска (и доску онъ пріобрѣлъ тоже, по случаю, за 6 коп.), и Гаврюшка весь погружается въ рѣшеніе какой-то задачи... Теперь онъ въ десять минутъ можетъ рѣшить двѣ такихъ-же; но тогда, два года назадъ, онъ надъ одной просиживалъ часъ, а

иногда и больше... И опять бьютъ часы... На улицѣ, того и гляди, свѣтать начнетъ скоро, а Гаврюшка все сидитъ,



склонившись надъ аспидною доской, и рѣшаетъ задачу... Онъ, то—напишетъ цифру и, вдругъ, сотретъ ее и снова

напишетъ, то—отложитъ въ сторону грифель и думаетъ, долго думаетъ... Часы опять бьютъ и Гаврюшка чувствуетъ усталость страшную; голова у него тяжела, точно свинцомъ налита; въ глазахъ стоятъ какіе-то радужные круги... Гаврюшку клонитъ ко сну; мысли въ головѣ путаться начинаютъ... Но задачу, вѣдь, все-таки, надо рѣшить, и поскорѣе; лампа горитъ все тусклѣй и тусклѣй,—она скоро погаснетъ, а керосину въ домѣ ни капли нѣтъ... И вотъ, Гаврюшка опять скрипитъ грифелемъ по доскѣ, то—напишетъ, то—сотретъ цифру и думаетъ, думаетъ... А завтра, съ семи часовъ, онъ уже сидитъ въ конторѣ за счетами и перепиской бумагъ, а Петръ Афанасьевичъ заглядываетъ на его работу черезъ плечо и говоритъ, что «получше-бы надо: буквы не больно красивы выходятъ, да и цифры тоже...» И Гаврюшка краснѣетъ, точно въ чемъ провинился; потъ выступаетъ у него на лбу... Старается онъ, изъ кожи вонъ лѣзетъ, чтобъ угодить хозяину... А дома опять переписка и «Учебникъ Ариѳметики»... Да, трудно доставались ему эти 25 рублей въ мѣсяцъ!... Много труда и силъ онъ потратилъ, чтобъ заслужить ихъ!... Много провелъ онъ тяжелыхъ дней и часовъ!... Но Гаврюшка не унывалъ и работалъ, работалъ... Но выпадали и у него счастливыя минутки... Пересчитывая накопленныя деньги, онъ радовался при мысли, что еще, вотъ, немного, и... будетъ сто рублей...

Гдѣ-то, за стѣной, часы пробили пять. Гаврюшка аккуратно сложилъ бумаги, загасилъ лампу, снялъ со стѣны старенькое пальто на ватѣ, съ облѣзлымъ мѣховымъ воротникомъ, и вышелъ на улицу...

Морозикъ трещалъ препорядочный. Прохожіе торопливо шагали по тротуарамъ, оберегая носы и щеки; проѣзжіе господа и барыни кутались поплотнѣй въ шубы и мѣховыя пальто... Гаврюшка прошелъ двѣ-три улицы и остановился у какого-то дома. Здѣсь помѣщался трактиръ. Онъ отворилъ дверь и вошелъ. У столиковъ, накрытыхъ грязными,

засаленными салфетками, сидѣло нѣсколько бородачей въ полушубкахъ и армякахъ, и пили чай. Гаврюшка прошелъ въ заднюю комнату и присѣлъ къ столу.

— Что прикажете? — обратился къ нему мальчикъ, въ грязной рубашкѣ и такомъ-же, не менѣе грязномъ, передникѣ.

Гаврюшка немного задумался. — «Чего-бы, въ самомъ дѣлѣ, спросить?» — Проголодался онъ, — да, и еще какъ! — Онъ всталъ въ шесть часовъ, выпилъ четыре стакана чаю, съ однимъ копѣечнымъ крендельком, и больше у него весь день крошечки во рту не было...

«Селянку если спросить, — это будетъ стоить 30 коп. Бифштексъ съ картофелемъ — тоже 30... Щей порцію... Гм...» Въ кошелькѣ у Гаврюшки было три пятіалтынныхъ и гривенникъ, а до жалованья еще три дня, кромѣ сегодняшняго... Какъ ни разсчитывай, а больше пятіалтыннаго не издержишь... А тамъ, еще сахару купить надо-бы, хоть съ полфунта, — весь вышелъ...

— Гм... Растегай вели сдѣлать, голубчикъ, — обратился онъ къ мальчику. — Только подливки, смотри, побольше...

— Слушаю-съ!...

Било шесть, когда Гаврюшка выходилъ изъ трактира. Онъ былъ почти совсѣмъ голоденъ. Этотъ кислый-прекислый пирогъ, съ какой-то дрянью, вмѣсто говядины, раздразнилъ только его аппетитъ... Гаврюшка еще съѣлъ-бы такой растегай, даже два растегая, но средства не позволяли ему этого, — и онъ покорился...

— Гаврилѣ Гавриловичу, наше вамъ-съ! — говорилъ небритый мужчина съ опухшимъ лицомъ и съ сильнымъ запахомъ перегорѣлой водки. — Пожалуйте-съ, проходите, да только поосторожнѣе... Вотъ тутъ, рогожка, — такъ на рогожку-съ... Супруга полъ мыла... — Онъ отстранился немного и пропустилъ Гаврюшку. — Съ наступающимъ праздникомъ?

— Это съ какимъ-же? — удивился тотъ.

— А какъ-же-съ: вѣдь каждый день праздникъ... какому-нибудь святому... И онъ усмѣхнулся.

Гаврюшка прошелъ въ свой уголокъ и зажегъ лампу.

Это, дѣйствительно, былъ «уголокъ», — *уголъ*, какъ говорятъ въ Петербургѣ, что-то, напоминающее собой лошадиное стойло, отдающееся отъ жильцовъ, съ платою отъ полутора до двухъ рублей въ мѣсяцъ. — Досчатая перегородка отдѣляла его отъ другой комнаты. Окна не было, и свѣтъ проникалъ только сквозь скважину у потолка. Коротенькая кровать, на которой Гаврюшка могъ спать не иначе, какъ свернувшись «калачикомъ»; маленькій столикъ, стулъ, сундучокъ въ углу,—вотъ и вся обстановка.

— Самоварчикъ вскипѣлъ, Гаврила Гавриловичъ! — просунулъ въ дверь голову небритый мужчина. — Чайку не заварите-ли?...

— Гм... Пожалуй...

Гаврюшка досталъ откуда-то, изъ угла, старенькій, весь почернѣвшій, чайникъ, заглянулъ въ баночку съ чаемъ, — тамъ было еще двѣ-три щепотки... — Вотъ, только сахару маловато. Ну, да ничего, на разъ хватитъ...

Стакана два-три горячаго чаю, въ прикуску, согрѣли Гаврюшку... Въ углу было сыро и холодно; паръ такъ и валилъ изо-рта. Но что-жъ было дѣлать? Хозяинъ, Иванъ Лукичъ, былъ человѣкъ бѣдный. Онъ нанималъ за 15 руб. въ мѣсяцъ квартиру безъ дровъ, состоящую изъ двухъ небольшихъ комнатокъ съ кухней и ухитрился раздѣлить ихъ на пять «угловъ». Четыре изъ нихъ онъ сдавалъ жильцамъ, а въ пятомъ (въ кухнѣ) самъ помѣщался, съ женой и четырьмя ребятишками. Дровъ не всегда хватало, и жильцы жаловались на холодъ. Въ одномъ углу жила блѣдная, чахоточная швея, съ утра и до ночи оглашавшая квартиру сухимъ, удушливымъ кашлемъ. Въ другомъ помѣщался выгнанный за пьянство актеръ. Это былъ не старый еще, но почти совсѣмъ сѣдой господинъ, очень веселый. Онъ порядкомъ таки надоѣдалъ всѣмъ жильцамъ. И утромъ,

и днемъ, и вечеромъ изъ его помѣщенія неслись звуки гитары.

Гаврюшка допилъ послѣдній стаканъ, взялъ ключъ, висѣвшій у него на шнуркѣ, вмѣстѣ съ крестомъ, и открылъ сундучокъ. Тамъ лежало его старенькое, по большей части заплатанное, бѣлье; клубокъ нитокъ, съ воткнутою въ него иголкой, пуговицы и прочая мелочь. Но вотъ, Гаврюшка засунулъ руку на самое дно и вытащилъ оттуда коробочку...

За стѣной слабо попискивалъ грудной ребенокъ. Жена Лукича убаюкивала его... Изъ угла, занимаемаго швеей доносился хриплый, удушливый кашель... А тамъ, въ помѣщеніи актера, слышались звуки гитары и сиплый голосъ выводилъ не безъ чувства:

«Мѣсяцъ плыветъ по ночнымъ небесамъ.
Другъ твой проводитъ рукой по струнамъ!...»

Гаврюшка открылъ коробочку и вынулъ оттуда пачку аккуратно сложенныхъ кредитокъ. Тутъ были и красныя, и синія, и зеленыя... Онъ медленно пересчиталъ ихъ, еще разъ... еще... И на лицѣ его, некрасивомъ, худомъ лицѣ, съ толстымъ, короткимъ носомъ и маленькими зеленоватыми глазками, разлилась радостная улыбка...

— Семьдесятъ-пять рублей... — говорилъ онъ. — Еще двадцать-пять... И Гаврюшка о чемъ-то задумался...

А тамъ, за стѣной, дребезжали струны гитары: актеръ наигрывалъ что-то веселое...

Викторъ Михайловичъ только-что отобѣдалъ. Онъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, въ креслѣ, съ сигарой въ одной рукѣ, съ газетой въ другой. Дверь отворилась и на порогѣ показалась тетка Маланья.

— Чего тебѣ!--обернулся Викторъ Михайловичъ.

— Гаврила васъ хочетъ видѣть...

— Гаврила! Какой Гаврила?

— Да нешто забыли, баринъ? Гаврила, что жилъ еще у насъ, въ мальчикахъ.—И тетка Маланья, вдругъ, улыбнулась.—Очень-бы, говоритъ, надо повидать барина,—очень, очень... Въ кухнѣ теперь сидитъ, дожидается...

— А-а!... — обрадовался Викторъ Михайловичъ. — Такъ онъ, значитъ, живъ, въ Петербургѣ?... А я-то искалъ, я-то искалъ его... Пусть войдетъ!...

Но тетка Маланья не двигалась. Молча, скрестивъ на груди руки, стояла она на порогѣ и какъ будто съ укоромъ глядѣла на барина. Тотъ удивился немного...

— Ты что-то хочешь сказать?

— Да что сказать, Викторъ Михайловичъ!... Только одно и скажу вамъ, что вы напрасно тогда, совсѣмъ напрасно...

— Чего напрасно?

— Да на Гаврилу-то думали... Ключикъ, теперь, золотой... ложки эти... Онъ парень честный, хорошій...

— Да я это и самъ знаю... Что-жъ дѣлать—ошибся!...

— Вотъ, то-то и есть: ошибся!... Признаться, я и сама согрѣшила, грѣшная... Тоже брало сумлѣнье...

— Ну, ладно, послѣ поговоримъ... Зови Гаврилу!...

Тетка Маланья вышла. Слѣдомъ за ней въ комнату вошелъ Гаврила.

— А, здравствуй, здравствуй, голубчикъ! — ласково обратился къ нему Викторъ Михайловичъ. — А я думалъ, что ужъ тебя и въ живыхъ давно нѣтъ. Два года не видались... Ну, очень радъ, очень радъ... Что, какъ ты теперь? Гдѣ живешь?

— Служу-съ, Викторъ Михайловичъ, въ конторѣ Петра Афанасьевича Волкова...

— А, знаю, знаю... Да ты что-жъ у порога-то тамъ стоишь? Присядь, потолкуемъ.

Гаврюшка сконфузился.

— Помилуйте, Викторъ Михайловичъ; я постою-съ...

— Чего «постою-съ»... Садись.

Гаврюшка робко присѣлъ.

— Такъ служишь?—говорилъ Викторъ Михайловичъ.— Въ конторѣ Волкова? А давно?

— Два года-съ.

— Ну, а жалованье?

— Двадцать пять, Викторъ Михайловичъ. Съ ноября мѣсяца. Сперва я получалъ пять рублей; потомъ еще пять прибавили-съ... Ну, а теперь 25 получаю... И Гаврюшка, бойко и смѣло взглянувъ на барина, даже слегка пріосанился.

— Ну, а мать у тебя какъ? Жива?

— Умерла-съ, Викторъ Михайловичъ, еще въ прошломъ году... Царство небесное, бѣдной!... Горячка случилась, — и умерла-съ...—Я къ вамъ за дѣломъ, собственно, Викторъ Михайловичъ,—продолжалъ онъ.—Давно сбирался-съ...

— Ну, что тамъ?

— Да вотъ-съ... Гаврюшка досталъ изъ боковаго кармана что-то, завернутое въ бумагу, и подалъ барину. — Извольте пересчитать-съ. Всѣ тутъ...

— Да что такое? Не понимаю!

— Деньги, Викторъ Михайловичъ... Сто рублей-съ...

— Какіе тамъ сто рублей?

— Да эти, что я потерялъ тогда-съ... Два года сбирался отдать, Викторъ Михайловичъ, да все не могъ-съ... Дѣла-то такія... Къ Волкову поступилъ—ни платьишка, ни бѣлья не было,—а тамъ контора, публика, — нельзя тоже какъ-нибудь... Пальто, сюртучную пару завелъ, сапоги-съ... Публика,—что станешь дѣлать!... Да и Петръ Афанасьевичъ такой человѣкъ,—очень, ужъ, чистоту любитъ-съ... Два года копилъ, Викторъ Михайловичъ, откладывалъ все копѣйка къ копѣйкѣ... Скопилъ, наконецъ... Извольте, пересчитайте!—И онъ, съ улыбкою, подалъ Пескову пачку кредитокъ. Тотъ смотрѣлъ на него вытаращивъ глаза.

— Да ты, никакъ, съ ума сошелъ, братецъ!...—заговорилъ онъ.—Ты знаешь, что я простилъ тебѣ эти деньги... Вѣдь ты не укралъ, а потерялъ ихъ... Мать твоя...

— Матушка васъ все вспоминала-съ, Викторъ Михайловичъ; все Бога за васъ молила... Спасибо вамъ, дай Богъ здоровья!...—Гаврюшка всталъ и отвѣсилъ низкій поклонъ.—Много вы тогда для насъ добраго сдѣлали-съ... Вотъ, хотьбы и въ больницѣ... Отъ смерти на волосокъ былъ... Заботились вы обо мнѣ, навѣщали... Матушкѣ тоже, то—красненькую, то—зелененькую... Благодарю васъ, Викторъ Михайловичъ!...—И Гаврюшка опять поклонился.

— Ну, да... ну, да...—бормоталъ растроганный Викторъ Михайловичъ.—Ну, что-жъ такое... Больница... Мать... Конечно, я долженъ былъ... да... обязанъ... Ты понимаешь: не ты, а *я* былъ передъ тобой виноватъ... Да, точно, что̀-жъ дѣлать... Подозрѣвалъ... Прости!... Но только денегъ твоихъ мнѣ не надо... Что хочешь ты съ ними дѣлай: хоть жги ихъ, хоть на улицу выбрось, а я не возьму... Ни за что не возьму!...

— Какъ вамъ угодно-съ, Викторъ Михайловичъ... Но только... Два года копилъ-съ... Все думалъ: вотъ Богъ дастъ... Чужого мнѣ, сохрани Богъ, не надо... Я десять лѣтъ прожилъ у васъ... Господь Свидѣтель, хоть-бы когда крошку какую... Ну, ключикъ... И тотъ не хотѣлъ украсть,—съ мѣста не встать мнѣ...

— Да Богъ съ нимъ!... Забудь ты про этотъ ключикъ...

— Забылъ-съ, Викторъ Михайловичъ, забылъ-съ... Такъ вотъ, извольте принять. Сто рублей, шесть красныхъ и восемь синенькихъ-съ... А затѣмъ, будьте здоровы-съ!... Дай Богъ вамъ всего хорошаго!...—И Гаврюшка, отвѣсивъ низкій поклонъ, попятился къ двери...

— Постой, однако, постой! Куда ты?...

— Викторъ! — раздался за стѣной голосъ. — Можно войти?

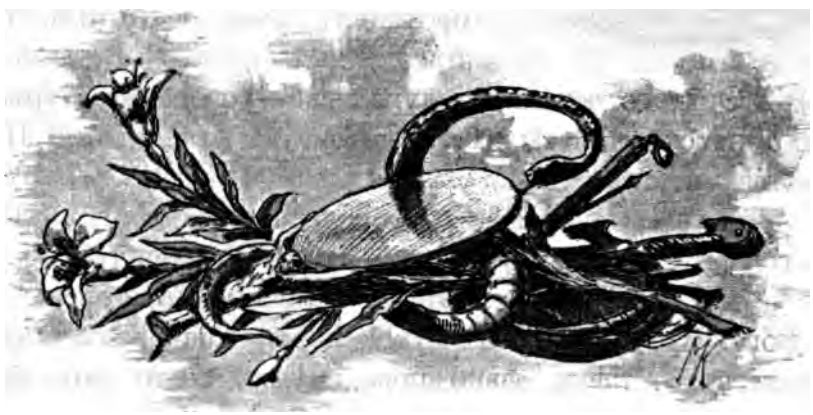
— Можно...

Дверь отворилась и въ кабинетъ вошла Ольга Петровна. Она съ изумленіемъ остановилась и вытаращила глаза. И было чему дивиться!

Викторъ Михайловичъ Песковъ стоялъ лицомъ къ лицу со своимъ бывшимъ слугою, Гаврюшкой, и крѣпко пожималъ ему руку... Гаврюшка, весь красный, сконфуженный, топтался на одномъ мѣстѣ, не смѣя поднять глазъ. Онъ чувствовалъ себя очень неловко...

— Ужъ ты-бы обнялъ его, поцѣловалъ!... — крикнула, улыбаясь, Ольга Петровна.

— Да, ты права, милая!... — И Викторъ Михайловичъ крѣпко обнялъ Гаврюшку...



Ночь.

I. На морѣ.

Капитанъ, за ваше здоровье!

И рослый, широкоплечій штурманъ залпомъ осушилъ стаканъ.

Капитанъ слегка вздрогнулъ и поднялъ голову. Въ его большихъ умныхъ глазахъ свѣтилась какая-то грусть. Лѣниво, нехотя, онъ протянулъ руку и отпилъ глотокъ.

— Опять о чемъ-то задумались!—говорилъ штурманъ и потянулся къ бутылкѣ. — О томъ-же?... Глупости! Перемелется—мука будетъ!..

— Да, перемелется... — пробормоталъ капитанъ. — Такъ вы говорите; всего пять узловъ Петръ Егоровичъ?

— Да, пять, много пять съ половиной. И то еще слава Богу! Что станешь дѣлать! «Чайка»—пароходъ старый, ему-бы въ отставку давно пора... И прежде-то онъ былъ тяжелъ на подъемъ, ну а теперь зыбь эта проклятая, вѣтеръ, сильно назадъ относитъ... Машина опять — винтъ плохо дѣйствуетъ; бурей его вчера поломало, видно...

Капитанъ снова задумался и покрутилъ усъ.

— Да вы не думайте много-то, не безпокойтесь! Ну, что-жъ, позапоздали немного, буря насъ задержала эта... Шутка сказать: трое сутокъ на одномъ мѣстѣ вертѣлись, какъ рыба на сковородкѣ!... Машина попортилась, прахъ ее

побери!.. Да ничего, ладно,—поспѣемъ вѣ-время. Всѣхъ тамъ застанемъ живыми-здоровыми...

— Капитанъ, всталъ и прошелся по залу каютъ-компаніи.

Это была довольно большая и просторная комната, оклеенная розовыми обоями; мѣстами, отъ сырости на нихъ выступали пятна и какіе-то фантастическіе узоры, напоминавшіе географическія карты. Тамъ и сямъ висѣли картины, въ позолоченныхъ рамкахъ,—копіи съ морскихъ видовъ Айвазовскаго; пять—шесть фотографическихъ снимковъ съ русскихъ военныхъ судовъ; мягкій, покойный диванъ, и столъ передъ нимъ, уставленный дюжиной пустыхъ и непочатыхъ еще бутылокъ; за столомъ, на диванѣ и на привинченныхъ къ полу креслахъ, раскинулись, въ самыхъ непринужденныхъ позахъ, нѣсколько человѣкъ офицеровъ. Изъ нихъ особенно выдавалась фигура врача,—тучнаго, краснолицаго господина съ крошечными, заплывшими жиромъ глазками, точно мышонки выглядывавшими изъ-подъ щетинистыхъ сѣдыхъ бровей. Съ потолка ярко и весело свѣтитъ большая лампа, на мѣдныхъ цѣпочкахъ, подъ бѣлымъ матовымъ колпакомъ. А тамъ, за стѣной, за этими кругленькими окошечками, съ плотно запертыми ставнями, слышится глухой шумъ и стонъ моря, плескъ набѣгавшихъ валовъ, рѣзкій и непріятный скрипъ и трескъ мачтъ и снастей...

Капитанъ молча ходилъ изъ угла въ уголъ. Его шаговъ совсѣмъ не было слышно, — они заглушались ковромъ. Вотъ онъ прошелъ мимо зеркала и какъ-то мелькомъ разсѣянно заглянулъ въ него. Оно отразило высокую и стройную фигуру, со смуглымъ, слегка загорѣлымъ лицомъ и длинными, опущенными книзу усами. Но теперь это лицо было нѣсколько блѣдно, осунулось; въ глазахъ, еще недавно столь живыхъ, полныхъ огня и энергіи, свѣтилась грусть, безпокойство... Капитанъ просто не узнавалъ себя. Да и еще бы! Никогда путь не казался ему та-

кимъ безконечно длиннымъ и труднымъ. Онъ такъ много пережилъ, передумалъ въ эту недѣлю?..

— Э, полноте, Александръ Ѳомичъ! — говорилъ штурманъ. — Чего безпокоиться? А?.. Все равно, днемъ раньше, днемъ позже; не опоздаемъ, не умрутъ съ голоду!

— Не умрутъ съ голоду! — глухо повторилъ капитанъ и вдругъ обернулся и посмотрѣлъ на штурмана. — Да вы не знаете, что говорите, Петръ Егорычъ! Вѣдь тутъ не день, часъ каждый, минута каждая дорога!.. Вы не читали развѣ его письма?

— Нѣтъ, не читалъ.

— Припасовъ, пишетъ онъ, почти совсѣмъ не осталось... Хлѣба, трески—на донышкѣ... Бутылка рому, чаю немного... Дай Богъ, чтобъ на недѣлю хватило... Вы понимаете: на *недѣлю!* А вѣдь съ той поры, какъ этотъ поморъ привезъ мнѣ письмо, прошло *двадцать* дней!.. Вѣдь можетъ, они теперь...

Капитанъ вздрогнулъ и провелъ рукой по лбу.

— Никто, какъ Богъ!—прошепталъ старый, сѣдой лейтенантъ.

— Да, продолжалъ капитанъ:—«команда, пишетъ онъ, у меня просто совсѣмъ изъ силъ выбилась,—блѣдные всѣ, исхудали... Павелъ свалился; боюсь, не цынга-ли... Сохрани Богъ! А парень онъ славный такой, честный, старательный... Ради Христа, привозите скорѣе провизіи! Да и лѣкарствъ не забудьте... Лимоновъ, лимоновъ — главное!.. Старые-то у насъ всѣ до одного перепортились,—вчера пришлось цѣлый ящикъ вонъ выкинуть»...

— Да онъ раньше-то о чемъ думалъ?—заговорилъ вдругъ горячо молоденькій мичманъ.—Чего-же раньше-то не писалъ? А?.. Вѣдь это безпечность какая-то, непростительная безпечность!.. Людей на голодную смерть обрекать... И съ какой стати у него вся провизія такъ скоро вышла? Ужъ онъ не того-ли... не продалъ-ли ее кому?...

Но тутъ юноша вдругъ смѣшался и покраснѣлъ. Ему

стало ужасно неловко. Капитанъ смотрѣлъ на него съ какимъ-то грустнымъ укоромъ.

— Это Антоновъ-то продалъ?—заговорилъ онъ.—Да вы знаете-ли, молодой человѣкъ, что̀ это за личность Антоновъ... Да онъ во всю свою жизнь ни одной крошки чужой не взялъ, ни одной нитки!... Себя, семью свою онъ скорѣй съ голоду уморитъ, чѣмъ возьметъ чужое... Вѣдь я его пятнадцать лѣтъ знаю...

— Да провизія-то на годъ привозится, — оправдывался сконфуженный мичманъ. — Ее еще на мѣсяцъ должно бы хватить...

— А вы почемъ знаете, куда онъ дѣвалъ провизію? Быть можетъ, онъ ее какому-нибудь проходящему кораблю отдалъ. Бываетъ это... Да вотъ, въ прошломъ году, онъ разсказывалъ... Шкуна какая-то проходила мимо,—датская, кажется. Бурей ее порядочно потрепало; течь... Припасы помокли всѣ, — пришлось за̀ бортъ выкинуть... Ну, что-жъ, не умирать же экипажу съ голоду! Онъ имъ и далъ сухарей, съ полпуда никакъ, да солонины боченокъ... Деньги ему предлагали — не взялъ... Что-жъ это, по вашему, предосудительно?..

Мичманъ молчалъ. Весь красный, какъ ракъ, онъ нервно пощипывалъ пушокъ на верхней губѣ.

— Чудакъ онъ большой руки! — продолжалъ капитанъ.— Его вѣдь всегда всѣ чудакомъ называли въ Архангельскѣ. Знаю,—пятнадцать лѣтъ съ нимъ знакомъ... Въ порту онъ служилъ, письмоводителемъ... Жена, ребятишекъ шестеро, а жалованье-то маленькое, да и то у него какъ-то все зря расходилось. Совсѣмъ онъ деньгамъ цѣны не зналъ, да и въ долгахъ порядочно пропадало. Лѣнивый у него только не бралъ, и, разумѣется, безъ отдачи... А отказать—совѣстно!.. Жена бранится, ворчитъ... — «Андрюша, говоритъ,— вѣдь ты семью пустишь по-міру!»—«Э, ничего, Машенька, какъ-нибудь!»... Такъ вотъ и жили, перебиваясь все изъ кулька въ рогожку... А тамъ старшій сынишка подросъ,—

въ гимназію его отдавать надо... И вдругъ, наслѣдство это!.. Слыхали исторію-то съ наслѣдствомъ?

— Нѣтъ, Александръ Ѳомичъ, не слыхалъ...

— А-а!.. Дядя у него въ Петербургѣ жилъ, отставной чиновникъ, старый вдовецъ, скряга. И былъ сынъ у него. Не знаю ужъ, въ чемъ этотъ сынъ передъ нимъ провинился, но только старикъ взялъ да и лишилъ его наслѣдства, и отказалъ все племяннику. А наслѣдства-то оказалось тысячъ десять—двѣнадцать...

— Такъ, значитъ, онъ человѣкъ со средствами!—перебилъ штурманъ. — А я вѣдь его все бѣднякомъ считалъ. Когда-же онъ получилъ?

— Вотъ то-то и есть, что не получилъ, Петръ Егорычъ! Онъ отказался...

— Какъ? Отказался?..

— Да, отказался — и все тутъ... Да вы развѣ не слыхали этой исторіи?

— Нѣтъ.

— Странно!... О ней вѣдь чуть не два года трубили въ Архангельскѣ... Впрочемъ, виноватъ: васъ еще тогда у насъ не было... Отказался, — продолжалъ капитанъ. — Онъ, говоритъ, человѣкъ молодой (сынъ-то), студентъ; ему деньги для образованія нужны. Да и наслѣдникъ-то онъ прямой, законный. Не могу, говоритъ, взять!.. Жена накинулась: «Бога ты не боишься»! — Нельзя, да и все тутъ!.. Самъ отъ своего счастья отказался! Такъ съ той поры всѣ его чудакомъ и звали...

Полу-грустная, полу-насмѣшливая улыбка пробѣжала по губамъ капитана. Онъ покрутилъ усы и продолжалъ:

— А жить-то все тяжелѣй да тяжелѣй становилось — семьи прибавилось... Случалось, порой, хоть въ петлю... Ну, и вышло это ему мѣсто смотрителя на маякѣ. Жалованья шестьсотъ рублей, на всемъ на готовомъ. — Ѣду! рѣшилъ.—«Куда ты?—жена говоритъ.—Да вѣдь это даль страшная! Холодъ, морозы, тоска. Еще заболѣешь тамъ,

сохрани Богъ, умрешь,—куда я съ семьей дѣнусь?» — Ѣду! говоритъ. И уѣхалъ...

— А онъ давно тамъ?—спросилъ мичманъ.

— Два года скоро... Уѣхалъ... Жалованье все, до копѣйки, семьѣ высылаетъ. Курить даже — и то бросилъ, — лишній расходъ... Былъ я въ прошломъ году у него, провизію отвозили. Похудѣлъ сильно, осунулся. «Что, говорю, съ вами? Здоровы ли?»—Здоровъ. Живу себѣ ничего, слава Богу. Вотъ только скучаю маленько, — жену, ребятишекъ жаль... Какъ-то они тамъ поживаютъ? — «Живы, говорю, здоровы, кланяются». — Ночевалъ у него. Всю ночь съ нимъ мы протолковали. Все о семьѣ разспрашивалъ: какъ и что? какъ Сеня учится? (Это старшій его сынишка, любимецъ)... Говоритъ, говоритъ—да и замолчитъ вдругъ,— задумается. – «Что съ вами, Андрей Ивановичъ?»—Да такъ, на душѣ что-то скверно стало. Мало, говоритъ, я о семьѣ заботился, мало любилъ ее, — такъ, вотъ, теперь совѣсть и мучаетъ... — «Да что вы, Господь съ вами!» — Нѣтъ, Александръ Ѳомичъ, мало, мало!... А отчего все? Да оттого, что деньгамъ я цѣны никогда не зналъ; не умѣлъ держать ихъ...

Капитанъ вдругъ замолчалъ и вздрогнулъ. Вверху, на палубѣ, послышался какой-то трескъ; пароходъ сильно качнуло.

— Что тамъ такое?—пробормоталъ лейтенантъ и шагнулъ было къ двери, но въ ту-же минуту въ ней показалось блѣдное, взволнованное лицо молоденькаго офицера.

— Что случилось?—бросился къ нему капитанъ.

— Рею сорвало, — заговорилъ тотъ дрожащимъ голосомъ.—Рулевого смыло...

— Ну-у?

— И машина совсѣмъ не дѣйствуетъ... Винтъ...

Но капитанъ не дослушалъ: онъ уже былъ на палубѣ.

Страшный порывъ вѣтра едва не сбилъ его съ ногъ и обдалъ цѣлымъ облакомъ брызгъ и пѣны. Буря станови-

лась все сильнѣй и сильнѣй. Вѣтеръ выл и гудѣлъ въ снастяхъ; какъ горы, вздымались волны, съ бѣлѣющей на ихъ гребняхъ пѣной, и съ шумомъ и плескомъ перекатывались черезъ бортъ... Темень была кругомъ — хоть глазъ выколи; все небо заволокло густыми, черными тучами; кой-гдѣ проглядывали сквозь нихъ золотыя звѣздочки да дрожали и колыхались на мачтахъ огоньки фонарей... Пароходъ страшно качало и било. Онъ—то съ какимъ-то жалобнымъ стономъ и трескомъ накренивался на одинъ бокъ, то зарывался въ волнахъ то кормою, то носомъ... Еще минута— и капитанъ былъ на своемъ посту, на мостикѣ.

— Огни загасить въ машинѣ! — послышался вдругъ сквозь бурю его сильный голосъ.—Поднять паруса!..

Матросы бросились къ реямъ. Много трудовъ стоило имъ развернуть паруса,—вѣтеръ такъ и рвалъ снасти изъ ихъ рукъ. Но вотъ всѣ снасти распущены, и пароходъ довольно быстро понесся впередъ—то, какъ стрѣла, взлетая на самый гребень волнъ, то зарываясь носомъ, кормой въ ихъ темной, мрачной пучинѣ...

А вѣтеръ дико выл и стоналъ; гнулись, трещали мачты... Весь мокрый и неподвижный, какъ статуя, стоялъ рулевой, опираясь на колесо штурвала. Онъ точно приросъ къ нему. Свѣтъ фонаря падалъ на румбъ компаса, и рулевой то и дѣло поглядывалъ на его стрѣлку... А волны съ шумомъ и плескомъ хлестали на палубу и обдавали его съ головы до ногъ. Еще полчаса назадъ, эти волны смыли и унесли въ море его товарища... Теперь чей чередъ?... И онъ судорожно сжималъ колесо руками...

На верху, на мостикѣ, виднѣлась высокая, прямая фигура капитана. Въ рукахъ у него былъ тяжелый морской бинокль, и онъ пристально глядѣлъ въ даль. Но тамъ ничего не было видно. Только валы вздымались да пѣна бѣлѣла на нихъ. Но вотъ, изъ-за темныхъ тучъ показалась луна. Она освѣтила это кипящее, какъ котелъ, море, освѣтила «Чайку»... Картина, съ одной стороны, была

грандіозная, съ другой — печальная, жалкая... Съ мачтъ, тамъ и сямъ, висѣли оборванныя снасти и обломки рей; вѣтеръ свирѣпо трепалъ ихъ; одинъ парусъ разорвало въ клочки. Вся палуба покрылась тонкою ледяною корой, и эта кора все больше и больше наростала... Измученный, обезсиленный экипажъ начиналъ коченѣть отъ стужи. Ночь была страшно морозная; рѣзкій, пронзительный вѣтеръ, точно иголками, кололъ все тѣло...

— Однако и ночка-же выдалась, — говорилъ пожилой лейтенантъ. Онъ стоялъ подлѣ капитана, на мостикѣ, и тоже пристально глядѣлъ въ даль. У бѣдняги зубъ на зубъ не попадалъ; сѣдые усы превратились въ какія-то ледяныя сосульки. Напрасно онъ кутался въ шубу, — не помогало: вѣтеръ пронизывалъ его до мозга костей.

— Да, ночка! — повторилъ онъ. — Давно я не запомню такой!.. Качка эта килевая, — нѣтъ ея хуже! . Морозъ... Да, было разъ, въ 49-мъ году... я былъ еще тогда мичманомъ... Вы что-то замѣтили, Александръ Ѳомичъ? Ужь не берегъ ли?

— Нѣтъ!..

Капитанъ опустилъ бинокль и тяжело вздохнулъ. На его покраснѣвшемъ отъ стужи лицѣ выражалось сильное нетерпѣніе.

— Нѣтъ, — продолжалъ капитанъ, — до берега еще далеко. Идемъ мы страшно медленно... Восемь — девять узловъ... Скверно, ужасно скверно... Вѣдь этакъ, пожалуй, и къ завтрему не поспѣемъ... А намъ каждый часъ дорогъ, минута каждая дорога!.. Люди тамъ умираютъ съ голоду...

Лейтенантъ молчалъ.

— Да вы-то что здѣсь стоите, Константинъ Яковлевичъ! — обратился вдругъ къ нему капитанъ. — Что вамъ здѣсь дѣлать? Вы перемерзли совсѣмъ... Ступайте въ каюту!

— Пожалуй, оно того... не мѣшаетъ, Александръ Ѳомичъ... Да и ко сну что-то клонитъ... Пойду, прилягу маленько, а въ случаѣ, если понадоблюсь, разбудите!.. Плохъ

что-то я нынче сталъ... Плохъ!.. Кровь вовсе не грѣетъ, да и самъ плохъ... Это не то, что прежде... Помню я случай одинъ,—въ 53 году...

Но тутъ порывъ вѣтра заглушилъ его голосъ. Лейтенантъ замолчалъ и, слегка охая и кряхтя, сталъ спускаться на палубу.

Капитанъ остался одинъ. Облокотясь о перила мостика, онъ пристально глядѣлъ въ даль и все ждалъ,—ждалъ съ такимъ нетерпѣніемъ, не покажется ли тамъ, на горизонтѣ, свѣтлая полоса разсвѣта. Но ночь была все такъ-же темна и мрачна; все такъ-же тучи заволакивали сплошною пеленою небо; даже луна скрылась, и только кой-гдѣ мерцали звѣздочки... А вѣтеръ вылъ и стоналъ. Теперь онъ, кажется, сдѣлался еще сильнѣе. Мачты гнулись, трещали; валы, съ страшнымъ плескомъ, хлестали на палубу, и ледяная кора на ней становилась все толще и толще... Матросы скользили, падали... Порою, ни съ того, ни съ сего, вѣтеръ вдругъ стихалъ. Онъ точно уставалъ, переводилъ духъ... Но это продолжалось не долго. Опять съ новою силою налеталъ онъ, гнулъ мачты и дико завывалъ въ снастяхъ, въ такелажѣ...

Капитанъ все стоялъ, облокотясь о перила, и глядѣлъ въ даль. Но онъ ничего тамъ не видѣлъ... Онъ даже не чувствовалъ этого леденящаго холода, этого пронизывающаго насквозь вѣтра. Онъ о чемъ-то задумался... Быть можетъ, онъ вспомнилъ свою семью, оставленную тамъ, въ Архангельскѣ; вспомнилъ жену, дѣтей... Представилась ему, можетъ, теплая, уютная комнатка: лампа горитъ на столѣ; самоваръ кипитъ, пуская цѣлые облака пара; а тамъ, сквозь паръ этотъ, выглядываютъ румяныя дѣтскія личики, сверкаютъ дѣтскіе глазки.. О, нѣтъ! Капитанъ никогда не былъ женатъ, никогда не зналъ семейнаго счастія... Онъ даже не помнилъ ни отца, ни матери. Всю жизнь прожилъ онъ одинъ-одинёхонекъ... Прошло много лѣтъ... И вотъ, теперь, пожилой холостякъ, морякъ, немного уже утомлен-

ный службой и мечтавшій порой о тепломъ халатѣ и туфляхъ,—онъ всей душою, всѣмъ сердцемъ привязался къ одной семьѣ и полюбилъ ее, какъ родную... Эта Марья Петровна... Да, капитанъ зналъ ее еще дѣвушкой. Она была свѣженькая такая, розовая, веселая. Потомъ она вышла замужъ за бѣднаго письмоводителя... Сперва они ничего-себѣ жили... А тамъ,—а тамъ пошли дѣти... Пятнадцать лѣтъ... Много воды утекло!.. Теперь она совсѣмъ стала не та, что прежде... Эта нужда, горе, заботы, это вѣчное перебиванье изъ копѣйки въ копѣйку, дума о завтрашнемъ днѣ позачерствили-таки ея сердце... Она сдѣлалась нервной и раздражительной... Порой, она вовсе не понимала мужа и изрѣдко ворчала на него. Но она всетаки любила его, любила дѣтей... Любила дѣтей... Да!..—Морщины разгладились на лбу капитана; улыбка пробѣжала у него по лицу. Онъ вспомнилъ этихъ дѣтей, — свѣженькихъ, розовыхъ, чисто одѣтыхъ... Теперь имъ хорошо тамъ живется, въ Архангельскѣ... Отецъ высылаетъ семьѣ все свое жалованье, до копѣйки. Онъ даже курить бросилъ... А какъ онъ прежде любилъ курить: только что не спалъ съ трубкой!.. Вспомнилъ капитанъ Сеню, любимца отца... Съ какой торжественной, гордой улыбкой разсказывалъ ему мальчикъ о своихъ успѣхахъ въ ученьи! — «Возьмите, вотъ, Александръ Ѳомичъ,—говорилъ онъ и совалъ, ему въ руку листочекъ какой-то, — отдайте папѣ, пускай посмотритъ»... — Да что такое?—спрашивалъ капитанъ.—«А это отмѣтки».—И Сеня вдругъ почему-то сконфузился, покраснѣлъ. — «Вы поглядите-ка, Александръ Ѳомичъ: отмѣтки хорошія»... И точно:—пятерки, пятерки, пятерки! И изъ закона Божія, и изъ русскаго языка, и изъ ариѳметики...

Да, этотъ листикъ вотъ тутъ, на груди, въ бумажникѣ... Капитанъ улыбнулся. Ему представилось, какъ будетъ радъ, какъ будетъ счастливъ одинокій бѣднякъ, смотритель маяка. Сколько счастливыхъ минутъ доставитъ ему эта

четвертушка сѣрой бумаги, съ красиво выведенными на ней цифрами!..

Но вдругъ улыбка исчезла на лицѣ капитана. Брови его нахмурились... «Ради Христа, привезите скорѣе провизіи!»—припомнились ему слова изъ письма смотрителя. — «Да и лѣкарствъ не забудьте!» Страшное, видно, что нибудь пришло въ голову капитана. Онъ вздрогнулъ и поблѣднѣлъ; сердце у него болѣзненно сжалось...

А ночь все такъ-же темна и мрачна; все такъ-же стонетъ и воетъ вѣтеръ; бѣгутъ и плещутъ волны... Пароходъ сильно качаетъ... О, Господи! Да когда же, наконецъ, будетъ разсвѣтъ? Когда кончится буря?.. Капитанъ взглянулъ на часы: было только четверть второго...

— *Всѣ* паруса поднять!..—крикнулъ онъ въ рупоръ.

И опять началась эта мучительная работа надъ парусами. Руки матросовъ совсѣмъ посинѣли, окоченѣли отъ стужи и отказывались служить... Наконецъ, паруса всѣ распущены; но пароходъ не пошелъ быстрѣе: вѣтеръ былъ силенъ, но не ровенъ: «Чайку» то кидало впередъ, то опять отбрасывало назадъ, въ сторону...

Капитанъ взялъ въ руки бинокль. На горизонтѣ какъ будто что-то слегка засвѣтилось... Да, это онъ, желанный разсвѣтъ!.. Еще десятка три верстъ—и они будутъ у цѣли, у берега... Тридцать верстъ!.. Но сколько нужно часовъ, чтобъ ихъ проѣхать! Вѣдь «Чайка» не летитъ, не бѣжитъ,— она просто чуть-чуть движется, какъ черепаха... А *тамъ?!* Господи, что *тамъ* творится!..

Раздался трескъ; пароходъ вздрогнулъ всѣмъ корпусомъ... Толчекъ былъ до того силенъ, что капитанъ едва не полетѣлъ внизъ головой съ мостика. Онъ едва-едва удержался...

— Течь!..—послышался вдругъ чей-то голосъ.—Въ носовой части дно прорѣзало!..

— Къ помпамъ! — скомандовалъ капитанъ и бросился съ мостика.

Закипѣла дѣятельная работа. Откуда и силы взялись у измученнаго, обезсиленнаго экипажа!... Но все напрасно,— вода прибывала и прибывала...

— Пять дюймовъ... пять съ половиной... шесть! — раздавалось гдѣ-то внизу.— Семь... восемь...

Матросы, съ зажженными фонарями, по колѣно въ водѣ, бродили по трюму, отыскивая пробоину. Но ее нигдѣ не было видно... А вода все прибывала и прибывала...

— Десять дюймовъ... одиннадцать! — выкрикивалъ дрожащій голосъ.

А, наконецъ, нашли, слава Богу!.. Обломокъ доски какой-то, смоленая пенька — и плотникъ въ десять минутъ заколотилъ отверстіе. Точно гора у всѣхъ съ плечь свалилась!..

— Да, хорошо, что хватились во время!—говорилъ старикъ лейтенантъ.— Максимовъ случился въ трюмѣ — замѣтилъ. А то бы того... пожалуй... Да, Александръ Ѳомичъ, помню я одинъ случай. Это было въ 48-мъ, — нѣтъ, въ 49-мъ году... Я былъ тогда еще мичманомъ...

Но капитанъ не дослушалъ. Онъ уже стоялъ на мостикѣ и снова пристально глядѣлъ въ даль...

Время тянулось ужасно медленно. Эта свѣтлая полоска на горизонтѣ исчезла — и опять темная, безлунная ночь... Очень длинны и скучны ночи на дальнемъ сѣверѣ, но эта казалась особенно медленной капитану. Онъ, то и дѣло, поглядывалъ на часы. Ихъ стрѣлки точно остановились; даже секундная, — и та, казалось, не бѣгала, а медленно ползла по циферблату... Съ тяжелымъ вздохомъ онъ опускалъ въ карманъ свой хронометръ и брался за бинокль. Но вдали ничего не было видно: только небо одно,—мрачное, темное, да валы, съ бѣлѣющей на нихъ пѣной, и — нигдѣ ни малѣйшихъ признаковъ берега... Но вотъ тамъ блеснула какая-то свѣтлая точка и — скрылась. Все ближе и ближе... Это огонь маяка. Да!.. Вотъ онъ опять вспыхнулъ и загорѣлся яркой звѣздой... Капитанъ взглянулъ на

часы. Было двадцать двѣ минуты четвертаго... Еще полтора, два часа...

Послышался легкій кашель. Капитанъ обернулся. На мостикъ взбирался старикъ лейтенантъ.

— Вздремнулъ я было, Александръ Ѳомичъ,—говорилъ онъ, — да вѣдь какъ славно вздремнулъ-то!.. Во снѣ даже что-то пригрезилось... И вдругъ—бацъ!—головой о койку!.. Тьфу!—и онъ почесалъ затылокъ.—Даже теперь больно... Когда-же этому конецъ будетъ?!...—Александръ Ѳомичъ!—вдругъ закричалъ онъ. — Что тамъ такое? Никакъ огонь? Вѣдь это Моржовецъ?..

— Да, онъ...

— Ну, слава Богу—и лейтенантъ перекрестился,—кончились наши мытарства! Пріѣхали!...

— Гм!.. да... пріѣхали... — пробормоталъ капитанъ... — Вѣтеръ, вотъ, этотъ... На мель того и гляди, наскочишь...

— Сохрани Богъ!.. Куда вы это?

— Къ штурвалу...

— А-а!..

Капитанъ спустился на палубу и подошелъ къ рулевому. Тотъ, молча, уступилъ ему свое мѣсто и отошелъ въ сторону.

А огонекъ все приближался и приближался. Вотъ зоркій глазъ капитана ужъ безъ бинокля могъ различить очертанія башни маяка. Но капитанъ не вздохнулъ легче, свободнѣе. Нѣтъ, ему тяжело было. На сердцѣ у него точно камень лежалъ какой-то...

— Вода опять! Течь!..—раздался вдругъ чей-то голосъ.

— Гдѣ? Что такое?

Напоръ волны выбилъ заклепку пробоины, и вода опять хлынула въ трюмъ. Теперь она была еще сильнѣе, и въ какихъ нибудь двадцать минутъ поднялась на тринадцать дюймовъ; потомъ на четырнадцать,—на пятнадцать... Помпы оказывались безсильными!..

— Гротъ-мачту за бортъ!—скомандовалъ капитанъ.

Экипажъ схватился за топоры. Раздался оглушительный стукъ—и гротъ-мачта съ трескомъ повалилась въ море.

А вода прибывала!

— Фокъ-мачту долой!..

Дрогнула и фокъ-мачта...

— Уголь, дрова долой!..

Выбросили и дрова и уголь. Затѣмъ побросали все, что только было тяжелаго. Остались бочки съ солониной, треской, сухарями. Это была годовая провизія для маяка.

— И ихъ надо выкинуть, Александръ Ѳомичъ!—говорилъ лейтенантъ.—Вѣдь «Чайка» все опускается и опускается... Еще часъ—и мы пойдемъ ко дну...

Капитанъ поблѣднѣлъ. Потъ крупными каплями выступилъ у него на лбу.

— Все за бортъ! все!—поддерживалъ лейтенанта штурманъ.

Капитанъ колебался.

— Но, господа...—какъ-то робко забормоталъ онъ...

— Шлюбку...

— Сорвало!..—глухо проговорилъ лейтенантъ.—Мы не замѣтили: какъ, когда...

— Помпы!..

— Не дѣйствуютъ! Поршни у двухъ сломались...

Капитанъ низко понурилъ голову. Но, вотъ, онъ опять поднялъ ее. Лицо его было блѣдно, какъ полотно, но совершенно спокойно.

— Бочки съ солониною за бортъ!—крикнулъ онъ звучнымъ и твердымъ голосомъ.

Бросили.

— Бочки съ треской, съ сухарями!.. Ящикъ съ лимонами!..

Но тутъ голосъ его дрогнулъ и оборвался. На длинный, съ сильной просѣдью усъ вдругъ что-то капнуло: не то слеза, не то капля пота...

Все, все выбросили за бортъ... Остались только: боченокъ съ масломъ да два мѣшка сухарей..

А вода прибывала и прибывала... Еще полчаса—и «Чайка» пойдетъ, какъ ключъ ко дну...

— Парусъ!..—раздался вдругъ голосъ съ вахты.

Всѣ вздрогнули. Капитанъ схватился за сердце: оно у него такъ и билось, какъ птица въ клѣткѣ...

— Гдѣ парусъ? Гдѣ?..

— Вонъ... тамъ...

И точно, какъ разъ за кормой, верстахъ въ двухъ отъ погибающаго парохода, бѣлѣлся парусъ. Какое-то судно быстро шло прямо навстрѣчу «Чайкѣ».

II. На маякѣ.

Въ небольшой круглой комнатѣ, съ бѣлыми оштукатуренными стѣнами, тускло горѣла на столѣ лампа. Въ печкѣ слабо потрескивали угольки, вспыхивая то краснымъ, то синеватымъ пламенемъ. Два кожаныхъ стула, диванъ, шкафикъ съ посудой въ углу; столъ, кровать, накрытая сѣрымъ байковымъ одѣяломъ,—вотъ вся меблировка. На одной стѣнѣ карта Бѣлаго моря, и рядомъ съ ней планъ Архангельска. Надъ кроватью—двѣ фотографіи, въ простенькихъ деревянныхъ рамахъ. На первой—еще молодая, но очень худощавая женщина, съ гладко причесанными волосами; на другой—полненькій, круглолицый мальчикъ, лѣтъ 10—11, въ гимназической формѣ.

За столомъ сидѣлъ мужчина невысокаго роста, но коренастый, широкоплечій, и что-то писалъ. Ему было лѣтъ 45—46, но на видъ онъ казался гораздо старше.

Въ густыхъ волосахъ, въ бородѣ, окаймляющей его красивое еще, но страшно блѣдное, худое лицо, замѣтно проглядывала сѣдина. На низкомъ широкомъ лбу, между бровями, легла глубокая борозда... Онъ казался страшно уста-

лымъ и утомленнымъ; руки у него сильно дрожали. Потъ крупными каплями выступалъ на лбу, и онъ то и дѣло отиралъ его старенькимъ бумажнымъ платкомъ. Изрѣдка онъ останавливался, перечитывалъ исписанную страницу и—опять брался за перо...

Слабо потрескивали угольки въ печкѣ, за стѣной мѣрно и монотонно стучалъ маятникъ. А на дворѣ бушевалъ вѣтеръ. Порою порывы его были такъ сильны, что рамы въ окнахъ звенѣли и дребезжали. Внизу гдѣ-то слышался глухой шумъ и плескъ и точно ревъ, стонъ какой-то... Не то проливной дождь, не то градъ барабанилъ по стекламъ... Но вотъ часы за стѣной захрипѣли, закашляли, стали бить. Двѣнадцать!.. Смотритель маяка глубоко вздохнулъ. На его блѣдномъ и исхудаломъ лицѣ выражалась сильная мука, страданіе. Онъ перечиталъ исписанную страницу и опять обмакнулъ перо въ пузырекъ съ чернилами...

...«Да, сегодня ровно четвертый день, какъ мы ничего не ѣдимъ...—выводило это перо слабымъ, дрожащимъ почеркомъ.— Къ 12 числу у насъ оставалось: пять фунтовъ ржаныхъ сухарей (изъ нихъ половина отсырѣла), не болѣе четверти фунта масла (я тщательно выскоблилъ ножомъ весь боченокъ) и двѣ селедки... И это на одиннадцать человѣкъ!.. Я заперъ въ сундукъ всю эту провизію, и ключъ постоянно носилъ съ собой... О, Боже, какъ тяжело, какъ мучительно было мнѣ исполнять свою обязанность: выдавать утромъ и вечеромъ голоднымъ и истомленнымъ людямъ по горсти гнилыхъ сухарей и по крошечному кусочку масла!.. Какъ тяжело было видѣть, съ какою жадностью они поѣдали все это!.. Мучительно долго тянулся день!.. Мы съ часу на часъ ожидали судна, но его не было. Что же такъ долго могло задержать его? Неужели мое письмо не получено, и намъ придется ждать провизію еще цѣлый мѣсяцъ!.. Но нѣтъ, этого быть не можетъ!.. Богъ не допуститъ... Дрожь пробѣгаетъ у меня по тѣлу при та-

кой мысли!.. Или можетъ быть буря, задержала «Чайку?» О, сохрани, Господи, и помилуй!..

...«Да, день тянется безконечно долго, и за нимъ наступаетъ такая же безконечная и мучительная ночь... Люди истомлены, обезсилены... Но они не ропщутъ и покорно переносятъ свою судьбу... Павлу все хуже и хуже... Мнѣ кажется, у него цынга. А лѣкарствъ никакихъ нѣтъ... Боже, что будетъ, если умретъ онъ? Вѣдь у него старуха-мать на рукахъ, жена, четверо ребятишекъ... И Степанъ тоже начинаетъ хворать. Онъ то походитъ, то полежитъ... Жаръ у него, ознобъ, слабость какая-то... Я самъ... Но что мнѣ о *себѣ* говорить!.. Вѣдь *я* во всемъ виноватъ, *я*!.. Что говорить о томъ, что я чувствую себя очень дурно:— голова страшно болитъ и кружится; слабость порой до того доходитъ, что перо вываливается у меня изъ рукъ, и я подолгу сижу, точно оцѣпенѣлый...

...«Третьяго дня я забылся часа на полтора — на два и съ той поры глазъ сомкнуть не могу... Сердце у меня страшно ноетъ, болитъ, обливается кровью совѣсть мучитъ, минутки покою мнѣ не даетъ... Порой, я совсѣмъ теряю голову и дѣлаюсь, какъ съумасшедшій. И что же мудренаго: вѣдь если еще будетъ такъ—я окончательно помѣшаюсь!..»

Смотритель остановился и отеръ обильно струившійся потъ. Глаза его какъ-то дико блестѣли.

...«Вопросъ за вопросомъ лѣзутъ мнѣ въ голову», —выводило опять перо,— «и я не могу рѣшить ихъ... Во-первыхъ, могъ ли я, *имѣлъ-ли право* отдать провизію бѣднымъ французамъ? Вѣдь тамъ ея было столько, что мы могли-бы прожить цѣлый мѣсяцъ!.. Имѣлъ-ли я право отдать *чужимъ, постороннимъ* людямъ то, что принадлежало *моимъ?*.. Но вѣдь тѣ совсѣмъ умирали съ голоду,—и я *не могъ* отказать... И вѣдь я не самъ, не по одному собственному желанію отдалъ провизію: я спрашивалъ объ этомъ своихъ людей; никто изъ нихъ не сказалъ: нѣтъ! (Господь да благословитъ ихъ

за это!) «Отдайте, Андрей Ивановичъ!» говорили они.—«У насъ вѣдь еще тамъ довольно осталось—хватитъ!..» Итакъ, я отдалъ съ *ихъ* разрѣшенія; значитъ, правъ... Но дѣйствительно ли правъ?.. Я не могу рѣшить этотъ вопросъ, моя голова совсѣмъ отказывается работать...»

Перо выпало изъ обезсиленной руки смотрителя. Голова его опрокинулась на спинку стула, холодный потъ крупными каплями выступилъ на лицѣ.

Печка давно истопилась, огонь погасъ; изрѣдка только въ золѣ вспыхивали красныя искорки... Лампа свѣтила все тусклѣй и тусклѣй: керосинъ догаралъ въ ней... А вѣтеръ вылъ и стоналъ, море ревѣло. Валы, съ страшной силою, набѣгали на стѣны маяка и потрясали ихъ до основанія...

Но вотъ смотритель оправился, опять взялъ перо, и оно забѣгало по бумагѣ.

«Правъ, или не правъ я», — писалъ онъ, — «пусть судитъ меня Господь Богъ и тѣ, кто поставилъ меня на этомъ посту. Дѣло не въ томъ, что *было*, а въ томъ, что *теперь есть* и что *будетъ*... Въ будущее я не могу, не хочу и не смѣю заглядывать, а въ настоящее... У насъ не осталось ни крошки провизіи... Да, перерой я всю башню маяка, я не нашелъ-бы въ ней ни одной пылинки съѣстного!.. Единственное, что теперь у насъ есть,—это бутылка рому. Но я берегу ее пуще глаза и оставляю до послѣдняго случая: до тѣхъ поръ, пока силы не измѣнятъ намъ окончательно... Не дай Богъ дожить до этого!..»

Опять раздался страшный порывъ вѣтра. Лампа потухла и въ комнатѣ вдругъ стало темно, точно въ могилѣ... Да, точно *въ могилѣ!*.. Эта мысль пришла ему въ голову... Онъ поблѣднѣлъ еще больше; съ трудомъ держась на ослабѣвшихъ ногахъ, пошатываясь, какъ пьяный, добрелъ онъ до шкафика, пошарилъ въ немъ, досталъ сальную свѣчку въ мѣдномъ подсвѣчникѣ и зажегъ ее. Комната опять слабо освѣтилась. Мрачно какъ-то, уныло смотрѣли ея стѣны и низенькій потолокъ... А тамъ, сквозь запотѣвшія стекла

окна, глядѣла темная ночь... То какъ разъяренный звѣрь, ревѣлъ вѣтеръ, то какъ-то жалобно, грустно завывалъ онъ...

Смотритель опять взялся было за перо, но не могъ писать: мысли у него мѣшались и путались. Онъ опустилъ на столъ отяжелѣвшую голову, закрылъ глаза—и многое вдругъ ему вспомнилось... Да, это было два года, всего два года тому назадъ; но какъ безконечно долго тянулись они... Вотъ, какъ сейчасъ, видитъ онъ передъ собой эту комнатку. Окна ея выходили въ небольшой, полузапущенный садикъ. Лѣтомъ здѣсь было весело, хорошо... Вонъ у забора густо такъ разросся шиповникъ. Боже мой, сколько на немъ цвѣтовъ! Чуть-ли не больше, чѣмъ листьевъ! Вонъ клумбочка; астры цвѣтутъ на ней, желтые ноготки, анютины глазки... Изъ-за густой, развѣсистой ивы выглядываетъ крыша бесѣдки... Сидитъ онъ, Андрей Ивановичъ, у окна; передъ нимъ—кипа бумагъ, книги какія-то, счеты; въ рукѣ перо. Онъ долго и прилежно писалъ, но вотъ вдругъ до него долетѣли изъ садика дѣтскіе голоса, звонкій, веселый смѣхъ... Онъ поднимаетъ голову, смотритъ... Изъ-за куста черной смородины выходятъ два мальчика и дѣвочка. Вотъ и Сеня... Какъ выросъ онъ въ этотъ годъ, загорѣлъ, какимъ славнымъ смотритъ, здоровенькимъ... И Андрей Ивановичъ улыбается. А Оленька все такъ-же худа. Ручки у нея такія тоненькія—претоненькія, почти прозрачныя. Докторъ ей прописалъ молоко, лекарство какое-то... Да, лекарство!.. Глубокій вздохъ вдругъ вырывается изъ его груди... А въ комнатѣ безпорядокъ. Она довольно большая, просторная, въ три окна, но въ ней помѣщается семь человѣкъ, и въ ихъ числѣ пятеро ребятишекъ. Кругомъ все разбросано и раскидано. Младшіе члены семьи шалятъ, ссорятся. Вонъ раздается ревъ. Это Володя вцѣпился въ Колю: тотъ отнялъ у него какой-то кубарь... Марья Петровна мечется взадъ и впередъ: «Да замолчите вы, или нѣтъ!»—кричитъ она на дѣтей. Но не всегда-же шалятъ и надоѣдаютъ ребятки... Андрей Ивановичъ кончилъ и отло-

жилъ перо.—А, ну-ка, поди, бутузикъ, поди сюда!—киваетъ онъ пальцемъ. И вотъ «бутузикъ», самый младшій изъ членовъ семьи, ковыляетъ къ отцу, переваливаясь, точно утка, на толстыхъ, короткихъ ножкахъ. Андрей Иванычъ беретъ его къ себѣ на колѣни и долго съ нимъ нянчится, долго цѣлуетъ его пухлыя розовыя щечки съ ямочками, грудочку, шейку, ручонки... «Бутузикъ» хохочетъ, закидываетъ назадъ круглую, курчавую головенку... Но вотъ онъ занялся бородою отца. Онъ треплетъ ее, разбираетъ ручонками и—вдругъ замѣчаетъ въ ней маленькое такое завившееся колечко, внимательно разсматриваетъ его и потомъ, съ самымъ сосредоточеннымъ видомъ, просовываетъ въ него пальчикъ. Андрей Ивановичъ уже смѣется. Онъ чувствуетъ себя совершенно довольнымъ, счастливымъ. Но вдругъ какая-то тѣнь пробѣгаетъ у него по лицу. Рубашечка на «бутузикѣ» очень стара. Заплатка на плечикѣ, и еще, и еще... А вонъ прорѣшка... «Вѣдь въ маѣ еще тебѣ говорила,—вспоминаются ему слова жены,—полотна купить надо... Рубашки у ребятъ совсѣмъ съ плечъ сползли,—скоро надѣть будетъ нечего. Вотъ, чѣмъ-бы давать этой... какъ ее?..»—Да она очень просила, Машенька,—оправдывается Андрей Иванычъ.—Такъ просила, вѣдь, такъ просила... Справимся какъ нибудь... Награду вотъ ужо получу къ новому году...—И смущенный Андрей Иванычъ гладитъ по головкѣ «бутузика». Онъ чувствуетъ себя передъ нимъ виноватымъ. Но «бутузикъ», должно быть, другого мнѣнія, и все такъ-же весело, звонко хохочетъ и треплетъ отцовскую бороду...

Вотъ, видитъ гавань Андрей Иванычъ... Цѣлый лѣсъ мачтъ... Вотъ пароходъ «Чайка». Онъ чуть-чуть покачивается на волнахъ... Жена, ребятишки, — всѣ собрались провожать его...

— Господь съ тобой!.. Не скучай!..—говоритъ Марья Петровна. Она еще больше похудѣла, осунулась; глаза у нея заплаканы.—«Благослови дѣтей!..»—И крѣпко-крѣпко жметъ Андрей Ивановичъ ребятишекъ и креститъ ихъ. Но

крѣпче другихъ онъ обнимаетъ Сеню и маленькаго «бутузика». «Бутузикъ» кричитъ благимъ матомъ и все проситъ «папоцку не уѣззать въ моле». И утѣшаетъ его, какъ можетъ, отецъ и гладитъ его бѣлокурую курчавую головку, а слезы такъ и бѣгутъ на нее въ три ручья, такъ и бѣгутъ.—«Э, полноте, Андрей Иванычъ!—слышится голосъ:—это капитанъ «Чайки», его старый другъ и пріятель.—Будьте мужчиной, не унывайте!.. Удивитесь!..»—«Вамъ я ихъ, вамъ поручаю, голубчикъ!—шепчетъ Андрей Ивановичъ и отираетъ слезы.—Ради Христа...»

Море... Попутный вѣтеръ надулъ паруса «Чайки», и она быстро несется впередъ; куда,—Богъ знаетъ,—туда, далеко куда-то... Андрей Иванычъ стоитъ на кормѣ и смотритъ... Но только одно море предъ нимъ,—Архангельскъ давно скрылся изъ виду, море да небо,—ясное, голубое, съ кой-гдѣ бѣлѣющими на немъ барашками.

. . . . . .

Тускло горитъ свѣчка въ мѣдномъ подсвѣчникѣ, огромный нагаръ нагорѣлъ на ней. Андрей Иванычъ сидѣлъ все въ той-же позѣ: опустивъ на столъ голову и закрывъ глаза. Онъ точно теперь въ забытьи какомъ-то, въ оцѣпененіи... Но вотъ опять страшный порывъ вѣтра; окна зазвенѣли, задребезжали. Онъ вздрогнулъ, открылъ глаза.

— Господи, что за буря!..—вырвался изъ его груди не то вздохъ, не то стонъ какой-то.—Что, если «Чайка»...

И мысли, одна мрачнѣе другой, начинаютъ приходить ему въ голову. Вотъ представляется ему: пароходъ гибнетъ. Какъ щепку, кидаетъ его по волнамъ; мачты обрублены, руля нѣтъ... Весь экипажъ столпился на бакѣ и, молча, безъ криковъ и жалобъ, ждетъ смерти... Напрасно старается онъ отогнать эти мысли,—фантазія все работаетъ и работаетъ... Онъ видитъ какіе-то безформенные обломки,—ихъ выкинуло волнами на берегъ,—и это все, что осталось отъ парохода... Онъ видитъ трупы, распухшіе, посинѣлые,

обезображенные, и между ними одинъ, такъ хорошо знакомый ему...

Андрей Ивановичъ широко открываетъ глаза, проводитъ рукою по лбу. Голова тяжела, точно свинцомъ налита, истома какая-то...

— Нѣтъ, я совсѣмъ боленъ,—говоритъ онъ.—У меня лихорадка, бредъ!.. И что за дикія мысли мнѣ лѣзутъ! Ну, буря... Буря, положимъ... Такъ что же? «Чайка»—пароходъ старый, но крѣпкій еще—выдержитъ... И Александръ Ѳомичъ не первый разъ въ морѣ...

Часы за стѣной опять закашляли, захрипѣли. Бьетъ два часа!.. Андрей Иванычъ всталъ и, пошатываясь, побрелъ изъ комнаты. Вотъ онъ дошелъ до узенькой, крутой лѣстницы. Темень—зги не видать! Съ трудомъ поднимается онъ по ступенькамъ, останавливаясь чуть не на каждомъ шагу и переводя духъ. Вотъ скобка какая то; онъ дернулъ ее, подъемная дверь отворилась, и сильный свѣтъ ударилъ ему прямо въ глаза. Андрей Иванычъ стоялъ въ фонарѣ маяка.

Это была крошечная комнатка, шага три въ длину и столько же въ ширину. По всѣмъ четыремъ стѣнамъ ея, отъ пола до потолка, были окна съ толстыми зеркальными стеклами. Десятка полтора лампъ, съ рефлекторами, ярко освѣщали ее. Въ углу стояла длинная зрительная труба. Андрей Ивановичъ взялъ ее, пріотворилъ окно. Струя рѣзкаго, холоднаго вѣтра ворвалась въ комнату и чуть не задула лампы. Боже, что за ужасная ночь!.. Темень кругомъ—зги не видно!.. Тамъ, на верху,— небо, мрачное, черное, какъ пеленой, все окутано тучами. Изрѣдка звѣздочка кой-гдѣ блеснетъ на немъ и—опять скроется. А внизу маяка, съ ревомъ и плескомъ, бѣгутъ валы, съ бѣлѣющей на нихъ пѣной, и разбиваются о стѣны маяка. Вся башня дрожитъ и стонетъ.

Долго глядѣлъ въ даль Андрей Иванычъ, но ничего не видѣлъ;—нигдѣ ни малѣйшаго слѣда паруса... Сердце у него сильно билось. Рѣзкій, холодный вѣтеръ пробирался

за разстегнутый воротъ рубашки и охватывалъ тѣло; но онъ не чувствовалъ этого; ему даже жарко было...

Да, *ничего* не видѣлъ!.. Вчера цѣлый день, съ утра до ночи, онъ почти не сходилъ съ вышки. Ноги едва держали его: онъ такъ ослабѣлъ отъ голода, отъ истощенія силъ... Но онъ все глядѣлъ, не выпуская изъ рукъ трубы, все поджидалъ этотъ парусъ. Вѣдь отъ него *все* зависѣло,—ихъ спасеніе, жизнь... Порой, глаза его заволакивало какимъ то туманомъ; въ ушахъ начинало звѣнѣть; голова страшно кружилась. Труба выпадала изъ его обезсилѣвшихъ рукъ, и онъ долго не могъ очнуться. Но онъ собиралъ послѣднія силы и опять глядѣлъ и глядѣлъ... Нѣтъ, ничего! И третьяго, и четвертаго дня то-же самое!.. Всю недѣлю море страшно шумѣло и волновалось, и всю недѣлю онъ не могъ нигдѣ разглядѣть и слѣда паруса. Господи, да что же это такое!..

Труба задрожала въ рукахъ Андрея Ивановича. Еще немного—и она упала бы въ море... Сердце забилось, какъ птичка въ клѣткѣ... Вотъ тамъ, вдали гдѣ-то, блеснулъ огонекъ... Да полно, огонекъ ли? Не обманываютъ ли его глаза?... Но нѣтъ,—онъ тщательно протеръ стекла трубы, опять взглянулъ... Да, огонекъ... Онъ приближается, приближается. Это, навѣрно, «Чайка»... А если нѣтъ? Все равно, кто бы ни былъ. Вѣдь тамъ найдется для нихъ что нибудь, хоть по куску хлѣба. Они дадутъ знать, они спустятъ шлюбку.

Вздохъ облегченія вырвался изъ груди Андрея Ивановича. И вдругъ ему пришла въ голову мысль: а что, если и *тамъ* тоже нуждаются въ помощи, въ *ихъ* помощи? Чѣмъ они могутъ помочь, что могутъ сдѣлать? Шлюбки спасательныя у нихъ есть; есть всѣ снаряды, приборы,—но люди, люди!.. Они измучены, обезсилены; они не способны, пожалуй, сѣсть въ весла...

А огонекъ все такъ-же мерцалъ въ дали. Но только теперь онъ точно остановился на одномъ мѣстѣ... Андрей Ивановичъ глазъ не спускалъ съ него. И вдругъ онъ вздрог-

нулъ: огонекъ скрылся, исчезъ... Прошло пять, десять, пятнадцать минутъ... Глухой стонъ вырвался изъ его груди. Онъ поблѣднѣлъ, зашатался; труба выпала у него изъ рукъ и звякнула о плиты пола...

— Андрей Ивановичъ!— послышался чей-то голосъ.

Но онъ ничего не слыхалъ и стоялъ, точно окаменѣлый.

— Андрей Ивановичъ?..

— Кто тамъ?

Онъ съ трудомъ повернулъ голову. Передъ нимъ стоялъ молодой парень, лѣтъ двадцати, въ матросской рубашкѣ.

— А, это ты, Вавила!.. Чего тебѣ?..

— Да Павелъ никакъ совсѣмъ помираетъ.

— Какой Павелъ?..

— Нашъ Павелъ, Андрей Ивановичъ. Будто не знаете?

И Вавила съ изумленіемъ взглянулъ на смотрителя, На томъ лица не было.

— А... да... Павелъ... знаю...

Андрей Ивановичъ провелъ рукой по лбу. Онъ точно старался припомнить что-то.

— Такъ что-же онъ?.. Хуже ему, говоришь?..

— Хуже, Андрей Ивановичъ. Дышетъ такъ тяжело... Васъ видѣть хочетъ.

— А-а... Ну, идемъ, идемъ...

Андрей Ивановичъ шагнулъ къ двери и—пошатнулся. Не удержи его Вавила за руку, онъ полетѣлъ бы внизъ.

— Голубчикъ вы мой родной!—говорилъ Вавила, и въ голосѣ его зазвучали слезы.—Да вы сами совсѣмъ разнедужились! Вы на ногахъ не стоите... Легли-бы, Андрей Ивановичъ, право, легли-бы.

— Да, хорошо... лягу, лягу... А ты не бойся, Вавила... Я ничего, я такъ... Вотъ, только голова немного кружится, слабость... Пройдетъ...

Въ довольно большой и просторной комнатѣ, съ русской печкой, горѣла на потолкѣ лампа. Тусклый ея огонекъ освѣщалъ стѣны съ развѣшенными на нихъ, тамъ и сямъ,

связками бичевы, спасательными поясами, буйками, какими то крючьями. Въ печкѣ ярко пылалъ огонь. На нарахъ сидѣли и лежали человѣкъ восемь матросовъ. Тутъ были и старые, и молодые. Все блѣдныя, истомленныя лица. Вонъ, съ краю, сидитъ, поджавъ подъ себя длинныя, худыя ноги, молодой парень и какъ-то тупо, безсмысленно смотритъ въ огонь... Старикъ, съ рѣденькой сѣдой бородкой, подвинулся поближе къ печкѣ. Въ рукахъ у него книга въ ветхомъ кожанномъ переплетѣ, и онъ вслухъ, по складамъ, читаетъ ее... Матросикъ, лѣтъ тридцати, подперъ руками лохматую голову и смотритъ на старика. Но онъ врядъ-ли слышитъ его,—мысли его теперь гдѣ-то далеко... Въ углу, у печки, кто-то лежитъ подъ старымъ, рваным тулупомъ и тяжело, порывисто дышетъ. Блѣдное, худое лицо съ заострившимся носомъ и потрескавшимися губами; лихорадочно сверкающіе глаза... Больного то въ знобъ кинетъ, то въ жаръ. Онъ безпокойно ворочается подъ тулупомъ...

Тишина въ комнатѣ нарушается потрескиваніемъ дровъ въ печкѣ да монотоннымъ чтеніемъ старика...

— Благословенъ Господь, твердыня моя, — раздается старческій голосъ,—научающій руки мои битвѣ и перста мои брани. Милость моя и огражденіе мое и Избавитель мой, щитъ мой, и я на Него уповаю; Онъ подчинитъ мнѣ народъ мой...

Старикъ замолчалъ и тяжело вздохнулъ. Дверь отворилась и на порогѣ ея показался Андрей Ивановичъ. Всѣ встали съ наръ. Даже больной—и тотъ приподнялся на локтѣ. Слабая улыбка пробѣжала у него по губамъ...

Андрей Иванычъ ни на кого не глядѣлъ. Онъ точно избѣгалъ взглядовъ. Ему тяжело, больно было смотрѣть на этихъ людей, на ихъ блѣдныя, истомленныя лица. Онъ ждалъ отъ нихъ жалобъ, упрековъ... Точно преступникъ, приговоренный къ казни, стоялъ онъ, прислонясь къ двери, блѣдный, съ опущенными глазами.

— Баринъ, а баринъ...—послышался тихій шопотъ.

Онъ поднялъ глаза. Нѣтъ, ни на одномъ лицѣ не видно и тѣни упрека! Всѣ смотрятъ на него съ такимъ участіемъ, сожалѣніемъ,—понимаютъ, что и ему тяжело то-же, еще, пожалуй, тяжелѣе, чѣмъ имъ.

И Андрею Ивановичу какъ-будто полегче стало. Онъ подошелъ къ больному и тихо опустился передъ нимъ на колѣни. Ноги совсѣмъ не держали его.

— Спасибо, баринъ...—чуть слышно шепталъ Павелъ.—Пришли, вотъ... Видѣть я васъ хотѣлъ...—Онъ тяжело вздохнулъ, застоналъ.—Больно мнѣ тяжело... Смерть подходитъ...

— Полно, голубчикъ! Никто, какъ Богъ.—Андрей Ивановичъ запнулся и замолчалъ.—Поправишься еще,—выговорилъ онъ черезъ силу.

— Нѣтъ, баринъ, гдѣ ужъ поправиться?.. Моченьки моей нѣтъ... Такъ и палитъ все нутро-то,—точно огнемъ, палитъ... О-охъ!.. Испить-бы мнѣ... Дай-ка, Андреюшка!..

Молодой, худощавый парень зачерпнулъ изъ ведра воды и подалъ больному. Тотъ приподнялся и жадно припалъ къ ковшу. Андрей Ивановичъ глазъ не сводилъ съ него. Онъ видѣлъ, какъ тяжело вздымалась эта впалая грудь, какъ крупныя капли пота выступали на исхудаломъ лицѣ и падали въ ковшъ. И ему опять тяжело, очень тяжело стало.

— Видѣть я васъ хотѣлъ,—говорилъ Павелъ.—Просьба къ вамъ есть большая...

Андрей Иванычъ вздрогнулъ, очнулся.

— Какая, голубчикъ? Въ чемъ дѣло?..

— Да вотъ, какъ помру я...

— Опять ты свое!.. Поправишься, говорю...

— Нѣтъ ужъ!.. Чего тутъ!.. Такъ вотъ, баринъ... женка есть у меня тамъ, въ Онегѣ, четверо ребятишекъ... Мать тоже, старуха слѣпая... Жалко мнѣ ихъ, баринъ,—о-охъ, какъ жалко!.. По міру вѣдь теперь пойдутъ, по подоконьямъ...

— Полно, Павелъ! Никто какъ Богъ...

Но Павелъ не слушалъ.

— Ночи я это не спалъ,—говорилъ онъ.—Все думалъ: Господи Боже мой!.. Что теперь съ ними будетъ?.. Матка... Ну, матка-то, старенькая она,—восьмой десятокъ, никакъ, пошелъ... Матка-то и при мнѣ побиралась... Жили бѣдно мы, бѣдненько, баринъ... На лѣсопильномъ я пять рублей всего получалъ,—не хватало... Женка теперь... Ну, та на кирпичномъ работаетъ,—все-же хоть пятіалтынный или двугривенный въ день. А ребятенки... Вотъ ребятенокъ-то больно жаль, баринъ... Махонькіе они... Младшенькому-то о прошлой веснѣ только три года исполнилось...

Онъ замолчалъ и съ трудомъ перевелъ духъ. Грудь его тяжело вздымалась...

— Ласковый онъ такой,—Сенюшка-то,—продолжалъ Павелъ и вдругъ улыбка пробѣжала по его засохшимъ губамъ.—Все лѣзетъ, бывало, ко мнѣ... на руки просится: татка! татка!

Больной опять замолчалъ и о чемъ-то задумался. Потъ крупными каплями выступалъ у него на лицѣ.

— Бѣленькій такой, черноглазый...—точно какъ въ забытьи, шепталъ онъ.—На мамку похожъ...

Сердце у Андрея Ивановича больно сжалось, заныло. И *онъ*... онъ, «бутузикъ»,—тоже бѣленькій такой, черноглазый, и тоже на мать похожъ... И опять такъ живо, такъ ясно мелькнуло передъ нимъ это прошлое. Комнатка, она, садъ... «А ну-ка, бутузикъ, поди сюда!» И «бутузикъ» садится къ нему на колѣни...

И опять все забылъ бѣдный смотритель маяка! Забылъ онъ больного Павла; забылъ этихъ голодныхъ людей, съ блѣдными, истомленными лицами,—все забылъ—и унесся туда, въ Архангельскъ, въ маленькій деревянный домикъ, съ окнами въ садъ...

Страшный порывъ вѣтра заставилъ его очнуться. Онъ вздрогнулъ, провелъ рукой по лицу,—оно было мокро отъ слезъ... Передъ нимъ та-же комната, тускло освѣщенная

дымною лампой; стѣны, съ развѣшанными на нихъ спасательными снарядами; матросы на нарахъ, Павелъ... Онъ говоритъ что-то ему, суетъ въ руки какой-то узелокъ...

— Ты что говоришь, голубчикъ?—очнулся Андрей Ивановичъ.

— Да вотъ, передайте имъ, баринъ... Они тамъ найдутъ ее, отдадутъ...

— Кому отдадутъ?.. Кто?..

— Да женкѣ моей, Агафьѣ... Четыре рубля у меня тутъ въ тряпицѣ зашито... Пускай хоть на первое время... А тамъ... Да крестикъ вотъ переслать... Сенюшкѣ...

И Павелъ дрожащей рукой сталъ снимать съ себя мѣдный крестъ.

— Да къ кому переслать-то? Куда?..

— Да, вишь, въ Онегу переслать, къ женкѣ его—заговорилъ вдругъ старый, сѣдой матросъ.—Дескать пріѣдетъ Александръ Ѳомичъ-то съ провизіей, такъ на обратномъ пути завезетъ ей...

Провизія... Александръ Ѳомичъ!.. Теперь онъ все понялъ. Онъ поднялъ глаза на матроса.—«А если да не *пріѣдутъ, не привезутъ?*—говорили эти глаза.—Если они *погибли?*» Старикъ точно прочелъ его мысль и опустилъ голову.

— Никто, какъ Богъ, баринъ!—прошепталъ онъ.—Подождемъ, потерпимъ...

— Ну, а если *не привезутъ?*—ужъ громко, дрожащимъ голосомъ заговорилъ вдругъ Андрей Ивановичъ.—Да, братцы, что̀ если провизію-то не привезутъ намъ? Что-жь дѣлать?..

И онъ обвелъ глазами матросовъ. Онъ ждалъ. Сердце, какъ птица въ клѣткѣ, стучало у него въ груди...

Съ минуту длилось молчаніе.

— Что-жь дѣлать, братцы?—опять повторилъ онъ.

— Да что-жь, баринъ... Ужъ если и впрямь того... если Господь попуститъ «Чайкѣ»-то... Что станешь дѣлать... Ждать будемъ, пока силъ хватитъ... Судно, авось, тамъ, какое-нибудь,..

— Жди вотъ его, судна-то!—желчно заговорилъ какой-то черноволосый матросъ.—Еще дѣнъ пять, поди, вѣтеръ-то простоитъ... Не разъ успѣемъ подохнуть съ голоду!..

— Типунъ-бы тебѣ на языкъ!..—плюнулъ кто-то.

— Самъ съѣшь!.. Типунъ!.. Тебѣ, видно, брюхо-то еще не совсѣмъ подвело?.. А у меня того, братъ...—Онъ замолчалъ и сталъ набивать трубку. — Хоть покурить, что-ли, съ горя-то, коли есть нечего!..

— А ты не ропщи! — сурово замѣтилъ старикъ. — Не гнѣви Господа!.. Ему, Батюшкѣ, лучше знать, что съ нами дѣлать... Коль не хочетъ, такъ не помремъ съ голоду... — Помощь пошлетъ...

— Да, жди ее, помощь! — глухо ворчалъ матросъ, — съ неба она, что-ли, свалится?..

— Ми-хе-ей!..

— Чего ужъ — Михей!.. Тебѣ хорошо говорить-то... Седьмой десятокъ живешь, — оно и помирать не въ диковинку... Ну, а я... Женка у меня есть молодая, ребятъ двое...

— А у меня, думаешь, никого нѣту? А? Никого? — горячо говорилъ старикъ, и голосъ его задрожалъ отъ волненія. — Тоже старуха осталась, внуки... Развѣ мнѣ не жаль ихъ?..

Михей молчалъ и сердито сосалъ чубукъ, пуская цѣлые клубы дыма. Прочіе тоже молчали.

— И дернуло насъ тогда провизію имъ отдавать! — заговорилъ онъ вдругъ и злобно взглянулъ на Андрея Ивановича. — Много тутъ разныхъ кораблей ходитъ... Всѣхъ не накормишь...

— Михейка! Да ты ошалѣлъ никакъ! — крикнулъ старикъ и стукнулъ костлявымъ кулакомъ по нарамъ. — Да развѣ не ты тогда говорилъ: отдайте, Андрей Ивановичъ, намъ хватитъ... Не ты?.. Совсѣмъ ошалѣлъ, парень!..

— Да, ошалѣешь, какъ брюхо-то подведетъ...

— А у другихъ-то не подвело развѣ? Меньше чѣмъ у тебя? А вѣдь молчатъ, не ропщутъ, не гнѣвятъ Господа.

— Плюньте вы на него, Андрей Ивановичъ!.. Самъ онъ не знаетъ, что говоритъ...

Но Андрея Ивановича уже не было въ комнатѣ. Блѣдный, едва живой, добрался онъ до своей каморки, упалъ на стулъ и подперъ руками голову... Вѣтеръ вылъ и стоналъ; не то дождь, не то градъ стучалъ въ стекла окна; огромный нагаръ былъ на свѣчкѣ и разбрасывалъ вокругъ себя искры... Но ничего не слышалъ, ничего не видѣлъ Андрей Ивановичъ. Сердце мучительно билось у него въ груди; во всемъ тѣлѣ была слабость какая-то; въ головѣ туманъ; мысли мѣшались и путались... «Съ голоду уморилъ ты ихъ! Съ голоду уморилъ!» — шепталъ ему на ухо чей-то голосъ, и точно ножомъ кололъ въ сердце. — Ты не смотри, что они не жалуются, не ропщутъ... Только одинъ Михей, тотъ не выдержалъ, прорвало!.. Но ты не думай: и у другихъ, вѣдь, на душѣ тоже, что и у него,— только молчатъ они... Да... И старикъ Сидоръ, и всѣ... Вѣдь и у Сидора жена тамъ осталась, внуки... И Павелъ... Павелъ умретъ, не сегодня, завтра... Жена («на кирпичномъ работаетъ, пятіалтынный въ день») по міру пойдетъ, по подоконьямъ... И ребятишки съ ней... Да, и Сенюшка... («бѣленькій онъ такой, черноглазый»...). — Андрей Иванычъ вздрогнулъ и съ трудомъ поднялъ голову. Въ глазахъ у него все вертѣлось, кружилось...

— Господи, что это? Что со мной?.. — прошепталъ онъ, и голова его упала на грудь.

«Умретъ Павелъ, умретъ! — все продолжалъ тотъ-же голосъ. — Не отъ горячки, какъ думаешь, — нѣтъ! Горячка, вѣдь, не при чемъ тутъ... Отъ истощенія силъ, отъ голоду... Онъ и прежде былъ слабый такой, болѣзненный... Да...»

— Силъ... упадокъ силъ... — точно въ бреду какомъ-то бормочетъ Андрей Ивановичъ и долго третъ себѣ лобъ ладонью: онъ старается что-то вспомнить...

— А, да, да, вспомнилъ: — ромъ! У насъ вѣдь еще бутылка рому осталась...

Онъ всталъ и, шатаясь, подошелъ къ двери, дернулъ ручку звонка. Прошло минутъ пять, — никто не являлся. Андрей Иванычъ едва стоялъ на ногахъ. Но вотъ дверь отворилась и въ комнату вошелъ Вавила.

— Вы меня звали, баринъ?

— Да, звалъ... Видишь, хотѣлъ я... Возьми вотъ (онъ снялъ съ шеи ключъ)... Тамъ, у меня въ сундукѣ... подъ кроватью... Открой... Бутылка рому есть. Отдай ее нашимъ... Пускай пьютъ...

— Да зачѣмъ, баринъ?

— Силы... ты понимаешь,—силы имъ подкрѣпить надо. Ѣсть-то вѣдь имъ нечего,—голодны. Ну, такъ, пускай выпьютъ. А я...

Онъ пошатнулся и едва не упалъ. Вавила схватилъ его за руку.

— Лягте вы, ради Христа, Андрей Ивановичъ! Вѣдь вы на ногахъ совсѣмъ не стоите, на васъ лица нѣтъ!

— Хорошо, лягу, лягу... Такъ ты достань бутылку, отдай... Скажи имъ: смотритель прислалъ, вмѣсто хлѣба... Нѣтъ, впрочемъ, лучше молчи... Да ты чего такъ на меня смотришь? А?.. Тебѣ говорятъ: достань... И мнѣ рюмочку налей, пожалуй.

Вавила во всѣ глаза смотрѣлъ на Андрея Ивановича и понималъ, что съ нимъ что-то не ладно... Но вотъ онъ глубоко вздохнулъ, вытащилъ изъ-подъ кровати маленькій сундучекъ, открылъ его и вынулъ бутылку рому.

— Рюмки-то у васъ гдѣ? — спросилъ онъ.

— Рюмки-то?.. Тамъ гдѣ-то... въ шкафу... Нашелъ?.. Ну, вотъ... Налей... Будетъ, будетъ, — не полную!.. А остальное снеси...

— Да вы ложитесь, Андрей Ивановичъ; выпейте и ложитесь.

— Лягу, лягу... Ступай!..

А море все бушевало... Все такъ-же бѣжали валы, съ бѣлѣющей на нихъ пѣной, нагоняя, перегоняя другъ друга; все такъ-же вылъ и стоналъ вѣтеръ, но только теперь порывы его стали какъ-будто слабѣе...

Ярко горятъ лампы съ рефлекторами и далеко бросаютъ отъ себя свѣтъ... Саженяхъ въ двухстахъ отъ маяка; качается на двухъ якоряхъ шкуна съ поломанными реями, съ порванными снастями. По палубѣ бѣгаютъ, суетятся люди, о чемъ-то хлопочутъ, кричатъ...

— Съ Богомъ, братцы, — спущай!... — слышится чей-то голосъ. — Все ли взято съ собой?

— Кажись, все, Сидоръ Иванычъ!

— Ну, Господи благослови...

— Вы долго-то тамъ, капитанъ, не оставайтесь!.. — кричитъ другой голосъ. — Узнайте, все-ли благополучно, да и назадъ...

— Ладно!

Отъ борта шкуны отчалила шлюпка и понеслась къ берегу. Долго боролась она съ волнами, то взлетая на ихъ вершины, то зарываясь въ ихъ мрачныхъ и темныхъ безднахъ. Ее сильно сносило назадъ. Огонь маяка то приближался, то удалялся... Въ веслахъ сидѣло пять человѣкъ здоровыхъ, широкоплечихъ гребцовъ. Они, несмотря на морозъ, на рѣзкій, пронзительный вѣтеръ, были въ однѣхъ только кожанныхъ курткахъ. Но имъ не холодно было, — нѣтъ, потъ въ три ручья лился по ихъ краснымъ, суровымъ лицамъ... На лавочкѣ, у кормы, сидѣлъ старикъ съ сѣдыми усами, въ еноткѣ и флотской фуражкѣ, и дрожалъ и поеживался отъ холода. Въ немъ не трудно было узнать Константина Яковлевича, лейтенанта «Чайки».

— Ну, что, Александръ Ѳомичъ? — говорилъ онъ.

— Да никого, ни души не видно! — И Александръ Ѳомичъ тяжело вздохнулъ. Онъ сидѣлъ у руля и пристально глядѣлъ въ даль, на берегъ, но никого и ничего тамъ не было видно. Волны только однѣ съ ревомъ набѣ-

гали на скалы и разбивались о нихъ, подымая въ воздухѣ цѣлыя облака брызгъ и пѣны, да виднѣлись огромные валуны. Одинъ изъ нихъ лейтенантъ принялъ было за человѣка (старикъ плохо видѣлъ), но капитанъ тотчасъ-же разувѣрилъ его.

— Да, никого, — повторилъ онъ, — мы опоздали!.. — Голосъ его дрожалъ; сердце мучительно билось. — Что, если они всѣ умерли?..

— Глупости! Дичь!.. — перебилъ его хриплый голосъ, и на носу шлюбки поднялась какая-то высокая, тучная фигура съ краснымъ лицомъ и заплывшими жиромъ глазками. Это былъ врачъ «Чайки». Иванъ Ивановичъ Цвѣтковъ.

— Чего вамъ бояться? — говорилъ онъ. — Человѣкъ можетъ долго безъ пищи прожить: недѣли двѣ-три иной разъ... Да, была бы только вода для питья... Не безпокойтесь, всѣ живы. Конечно, слабость, упадокъ силъ... лежатъ на койкахъ... Такъ мы ихъ живо поднимемъ на ноги: у насъ ромъ есть, водка... А тамъ и покушать дадимъ,—извѣстно, сначала по капелькѣ... Не безпокойтесь!..

— Вашими бы устами да медъ пить! — грустно проговорилъ капитанъ.

— Чего тутъ медъ! — усмѣхнулся докторъ. Стану — я медомъ губы марать! Тфу!.. Мы съ вами и рому, капитанъ, выпьемъ, али водочки... Не такъ ли?

Но капитанъ молчалъ. Ему не до шутокъ было. Онъ глазъ не сводилъ съ все болѣе и болѣе приближающагося маяка и то и дѣло подгонялъ гребцовъ.

— Скорѣе, брадцы, скорѣе! — говорилъ онъ. — Близко теперь... Принавалитесь-ка! Ну!..

— Сноситъ Ваше Высокоблагородіе! Изволите видѣть...

И гребцы налегали всей грудью; весла трещали и гнулись въ ихъ мощныхъ рукахъ; потъ въ три ручья лился по ихъ суровымъ лицамъ...

Все ближе и ближе... Вотъ, весла еще разъ съ силой врѣзались въ волны и вдругъ точно замерли въ уклю-

чинахъ. Одинъ изъ матросовъ мигомъ снялъ и свернулъ парусъ, другой сталъ на носу съ багромъ. Еще минута — и экипажъ шлюбки высадился на крутой и скалистый берегъ. Первый выскочилъ капитанъ, за нимъ, съ ловкостью и быстротой, несвойственной его толщинѣ, — докторъ и, наконецъ, послѣднимъ, вылѣзъ, кряхтя и охая, старикъ лейтенантъ.

Мѣстность была дикая и пустынная. Голый скалистый островъ. Всюду, куда не взглянешь, одни только камни и камни, заросшіе лишаями и мхомъ, и нигдѣ ни кустика, ни деревца. Мрачно, угрюмо глядѣла башня маяка, немного въ сторонѣ отъ нея виднѣлось какое-то бревенчатое строеніе, что-то въ родѣ амбара или сарая, и подлѣ него небольшая избушка съ трубой, — вѣроятно, баня...

Съ сильно бьющимся сердцемъ поднимался капитанъ «Чайки» по лѣстницѣ, докторъ и лейтенантъ молча слѣдовали за нимъ... Вотъ дверь, фонарикъ тускло горитъ надъ нею... Александръ Ѳомичъ въ нерѣшимости остановился... «А что, если?.. — мелькнуло у него въ головѣ. — Ну, да ладно,—что будетъ, то будетъ!.. — И онъ дернулъ скобку.

Въ печкѣ ярко пылалъ огонь; на нарахъ лежали и сидѣли матросы... Славу Богу, — всѣ живы, кажется... Да!.. И вздохъ облегченія вырвался изъ груди капитана.

Трудно, почти невозможно представить всю эту радость, восторгъ бѣдняковъ! Они точно воскресли изъ мертвыхъ. Откуда и силы взялись у нихъ!.. Они вскочили съ наръ; лица ихъ оживились...

— Ваше Высокоблагородіе!..—послышались дрожащіе отъ радости голоса.—А мы-то васъ ждали, ждали!.. Ужъ думали, вы погибли совсѣмъ... Какъ васъ Господь Богъ донесъ?..

Александръ Ѳомичъ въ нѣсколькихъ словахъ разсказалъ имъ, какъ «Чайка» потерпѣла крушеніе, какъ они должны были выкинуть за бортъ все, даже провизію, и какъ подоспѣла на помощь къ нимъ поморская шкуна «Св. Николай»...

— Тамъ есть и провизія, — говорилъ онъ. — Двѣсти пудовъ трески, мука есть... Хозяинъ готовъ уступить. На мѣсяцъ хватитъ.

Матросы слушали молча. У многихъ слезы выступили на глазахъ; иные крестились...

— Ну да, такъ и есть! — говорилъ докторъ. — Не правду развѣ я толковалъ? Взгляните-ка, Александръ Ѳомичъ! Они вѣдь совсѣмъ молодцами смотрятъ. Ей-Богу!.. По рюмкѣ рому имъ закатить да дать закусить немного, — и хоть сейчасъ въ весла сади... Право!..

Но Александръ Ѳомичъ не раздѣлялъ его мнѣнія. Онъ съ болью въ сердцѣ смотрѣлъ на этихъ блѣдныхъ, изнуренныхъ людей...

— Ну что, ребята, — говорилъ онъ, и голосъ его дрожалъ — всѣ-ли вы... всѣ-ли живы?

— Померъ одинъ, Ваше Высокоблагородіе! Павелъ Захаровъ померъ.

— Когда?

— Съ часъ назадъ.

— Да, можетъ, онъ только безъ чувствъ... Докторъ....

Но докторъ уже стоялъ на колѣняхъ передъ блѣднымъ и неподвижнымъ Павломъ и слушалъ у него пульсъ.

— Ну, что?

— Умеръ, — отвѣтилъ докторъ, махнувъ рукой.

— А гдѣ-же смотритель, Андрей Иванычъ? — спрашивалъ капитанъ. — Здоровъ-ли?

— Больны они, Ваше Высокоблагородіе, у себя въ горницѣ... Я будилъ, будилъ давече, никакъ не могъ добудиться...

— Да ты зачѣмъ-же будилъ его?

— О Павлѣ хотѣлъ сказать, Ваше Высокоблагородіе...

«Ужъ не совсѣмъ-ли уснулъ онъ?» — мелькнуло въ головѣ капитана, и сердце у него вдругъ заныло. Онъ схватилъ доктора за руку.

— Пойдемте на верхъ, къ нему! Скорѣе, докторъ, скорѣе!

И они поднялись вверхъ по лѣстницѣ. Старый матросъ свѣтилъ имъ.

Свѣчка почти совсѣмъ догорѣла въ комнатѣ Андрея Ивановича. Онъ сидѣлъ у стола, съ закинутою назадъ головою, и, повидимому, крѣпко спалъ. Съ сильно бьющимся сердцемъ Александръ Ѳомичъ подошелъ къ нему и глянулъ въ лицо. Оно было блѣдно, какъ полотно.

— Андрей Ивановичъ! — окликнулъ онъ.

Но Андрей Ивановичъ не просыпался.

— Андрей Ивановичъ!

Молчаніе.

— Докторъ, мнѣ кажется, онъ безъ чувствъ... Взгляните...

Тотъ подошелъ и взялъ Андрея Ивановича за руку.

— Ну что?

— Почіетъ съ миромъ, — пробормоталъ докторъ и отошелъ. — Намъ больше здѣсь нечего дѣлать.

— Полноте!.. Быть не можетъ!..

— Глядите!

Андрей Ивановичъ былъ мертвъ.

Слезы ручьями хлынули изъ глазъ капитана. Старый морякъ тоже плакалъ. Одинъ докторъ казался спокойнымъ и перебиралъ разбросанныя по столу бумаги.

— «Дневникъ... — говорилъ онъ, разсматривая листы, исписанные крупнымъ и сильно дрожащимъ почеркомъ. — Онъ велъ дневникъ... 15-е... 16-е... 17-е... «Сегодня ровно четвертый день, какъ мы ничего не ѣдимъ!..» А это что? — онъ взялъ еще листъ. — Должно быть, письмо къ своимъ... Да, онъ хотѣлъ писать и не кончилъ. Не могъ писать: рука сильно дрожала... А вотъ и слѣды отъ слезъ... Что онъ писалъ?.. Никакъ нельзя разобрать!.. «Ми... милые мои... дорогіе»... — пытался прочитать докторъ. — Нѣтъ, нельзя разобрать, въ глазахъ рябитъ. «Сеничка...» (Сынъ

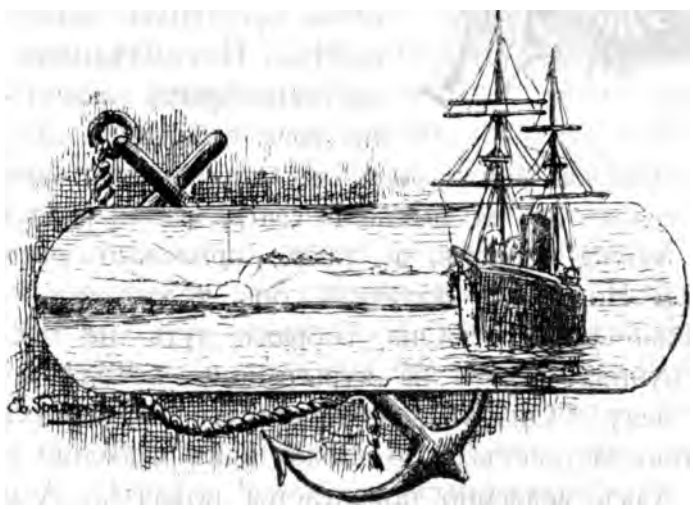
его? — Да!) — «Сеня, голубчикъ!.. О, Господи! Эта ночь, эта ужасная ночь!..»

— Да, эта ночь!.. — пробормоталъ докторъ. Рука у него разжалась и письмо выпало.—Еще шестью сиротами больше на свѣтѣ!..

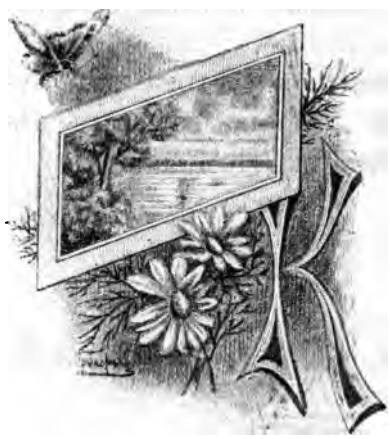
Онъ вытащилъ изъ кармана красный фуляръ и громко высморкался.

— Капитанъ, — заговорилъ онъ вдругъ *оффиціальнымъ* тономъ, — берите бумагу, перо — пишите: смотритель маяка умеръ, и смерть послѣдовала отъ полнаго истощенія организма...

Но капитанъ не могъ промолвить ни слова отъ душившихъ его рыданій... Въ трубѣ жалобно завывалъ вѣтеръ. Онъ пѣлъ вѣчную память Андрею Ивановичу...



На волосокъ отъ смерти.



урьерскій поѣздъ мчится на всѣхъ парахъ... Въ вагонѣ втораго класса сидитъ молодая женщина, очень простенько, даже бѣдно одѣтая... На ея блѣдномъ лицѣ и въ темносѣрыхъ глазахъ — видны горе, страданіе... Да и еще, бы!... Только два дня назадъ, она была весела и спокойна; думала, что и онъ, ея маленькій сынъ, вся ея радость, все счастье, также здоровъ, и также прилежно учится въ гимназіи... Но вчера получила она телеграмму... Сынъ ея боленъ... опасно... Она собрала чуть не послѣднія деньги, купила билетъ на курьерскомъ поѣздѣ и ѣдетъ туда къ нему... Она вѣдь застанетъ его въ живыхъ... О, непремѣнно застанетъ!... Но, Боже, какъ медленно тянется время!... Какъ медленно подвигается поѣздъ!... А ей еще говорили, что это самый скорый изъ всѣхъ...

Напротивъ ея, на диванѣ, сидитъ старичекъ... И у него на лицѣ тоже такъ явно выражается нетерпѣніе!... И ему кажется, что поѣздъ тащится черепахой... Скоро-ли?... Скоро-ли, Боже мой!... Онъ десять лѣтъ прожилъ тамъ,

за границей... Дѣла все, дѣла... Вотъ только теперь ему представляется случай съѣздить на родину и крѣпко, крѣпко прижать къ сердцу жену и дѣтей...

И больше въ этомъ вагонѣ нѣтъ пассажировъ.

Въ вагонахъ перваго класса — тоже на лицахъ видны забота и нетерпѣніе...

И здѣсь почти всѣмъ кажется, что поѣздъ идетъ слишкомъ медленно...

А онъ летитъ точно птица!... Съ страшною быстротой вертятся колеса; мелькаютъ поршни въ цилиндрахъ... Съ фырканьемъ и пыхтѣньемъ мчится локомотивъ, пуская цѣлыя тучи пара и дыма, цѣлыя тучи искръ... Кочегаръ, съ головы до ногъ прокопченый, замазанный сажей, съ грязнымъ, потнымъ лицомъ, подбрасываетъ дрова въ печь... А вѣтеръ со свистомъ мчится за поѣздомъ и все старается перегнать его... Но врядъ-ли ему только это удастся!... Въ безсильной злобѣ, онъ пробирается за воротъ грязной кочегаровой блузы, гуляетъ тамъ по спинѣ и осушаетъ текущіе по ней ручьи пота... Но кочегаръ не обращаетъ на врага никакого вниманія... Ему все равно, — онъ привыкъ... Пускай его спинѣ очень прохладно, холодно, — зато какъ жаритъ ему отъ печи лицо и грудь... И тутъ и тамъ текутъ грязные ручейки, прокладываются дорожки...

Крѣпко схватившись рукою за рычагъ машины, стоитъ машинистъ и пристально глядитъ въ даль... Осенняя ночь темна, по сторонамъ рѣшительно ничего не видно; искры только ложатся на пустыя поля и, порой, долго еще тлѣютъ, не гаснутъ... Тамъ, впереди, тоже темно; лишь небольшое пространство рельсовъ и полотна освѣщается фонарями локомотива... И мчится, летитъ поѣздъ; и мчатся, летятъ мимо него сторожевыя будки, — столбы, деревни, поля, лѣса... Порою, мелькнетъ огонекъ,—фонарь въ рукахъ сторожа — и далеко останется позади... Порой, прогудитъ рожокъ...

И поѣздъ мчится и мчится впередъ, все дальше и дальше... Зорко слѣдитъ машинистъ за освѣщеннымъ фонарями пространствомъ: нѣтъ-ли чего на пути, не положено ли чего, сохрани Богъ, на рельсы... Зорко глядитъ онъ въ темную даль... А что, если вдругъ тамъ мелькнетъ сигнальный огонь, — знакъ опасности? — Ничего! Онъ только крѣпче нажметъ рукоятку и замедлитъ ходъ поѣзда; ну, а кондукторъ (онъ тоже тутъ подъ рукой) затормазитъ колеса локомотива...

Да, зорко глядитъ машинистъ... Но это ему не мѣшаетъ думать не о дорогѣ, а о другомъ... И онъ глубоко задумался... Вспомнилась вдругъ ему, — живо такъ, ясно представилась комнатка... Свѣтленькія обои... Лампа горитъ на столѣ... Кроватка... На ней два маленькихъ личика, точно двѣ капли похожихъ одно на другое. Это сынки-близнецы... Столъ ужъ давненько накрытъ для ужина; вотъ и тарелки, вилки, ножи; нарѣзанный хлѣбъ въ лоткѣ... Вотъ скоро появится на столѣ и дымящаяся миска, съ любимымъ борщемъ... (У машиниста слюнки вдругъ потекли)... Жена дожидается и поминутно поглядываетъ на часы... Боже! какъ долго тянется время!... А, вотъ и онъ!... Дверь отворяется... Ужинъ... отдыхъ... постель...

Машинистъ вздрогнулъ, протеръ глаза... Вдали дрожалъ, колыхался въ воздухѣ огонекъ, точно кто-то махалъ чѣмъ-то зажженнымъ... Только это не фонарь — нѣтъ!...

— Тормазъ!... крикнулъ онъ вдругъ кондуктору и нажалъ рукоятку. Кондукторъ кинулся со всѣхъ ногъ...

Поѣздъ остановился.

Въ дымной лачужкѣ тускло горитъ жестяная лампочка... За столомъ сидитъ женщина, еще молодая и шьетъ прилежно рубашку... Иголка быстро мелькаетъ въ ея загрубѣлыхъ, мозолистыхъ пальцахъ... На улицѣ вѣтеръ гудитъ; стучится въ стекла оконца, воетъ и стонетъ въ печной

трубѣ; въ комнаткѣ тихо; только стѣнные часы мѣрно потикиваютъ, да тамъ, на печи, слышится чье-то дыханье, и изрѣдка стонъ... Женщина шьетъ, торопится и, то и дѣло, взглядываетъ на печку... Тамъ тяжко, тяжко мечется, стонетъ въ жару больной мальчикъ... Третій по счету. Двое другихъ, здоровыхъ, лежатъ тамъ вонъ, въ углу, у печки, подъ старенькимъ армякомъ... Женщина вдругъ положила шитье и, облокотившись на столъ, о чемъ-то задумалась...

Да, было о чемъ ей подумать... Вотъ ужъ пять лѣтъ живетъ она съ мужемъ, съ дѣтьми въ этой избушкѣ... Работаютъ они день и ночь... Онъ служитъ сторожемъ на желѣзной дорогѣ. Она шьетъ и шьетъ чисто и хорошо; да только какой сбытъ этой работѣ!... И вотъ имъ трудно теперь, очень трудно живется. Прежде-то лучше было!... Мужъ былъ здоровъ; теперь онъ часто прихварываетъ; часто не въ моготу ему исполнять свою должность... Три съ половиной версты желѣзнодорожнаго полотна подъ его надзоромъ. За нимъ смотрѣть надо и утромъ, и днемъ, и вечеромъ... Трудно, порой, справляться больному мужу, — и вотъ зачастую она замѣняетъ его... А тутъ должишки еще накопились; ребенокъ вдругъ захворалъ... И что съ нимъ подѣлалось? — Носила на станцію, къ фельдшеру. — «Такъ, говоритъ, пустяки, — пройдетъ!» — Пройдетъ, а ужъ больше недѣли все мечется, бѣдный, въ жару стонетъ!.. Вотъ такъ и рѣжетъ ей по сердцу этотъ стонъ!...

Часы, кашляя, и хрипя, пробили десять. Женщина вдругъ вскочила...

— Господи!... Что-жъ это я... Ошалѣла, что-ли?... Поѣздъ пройдетъ вѣдь въ одиннадцать!... Путь мнѣ давно обойти надо...

Больной ребенокъ заплакалъ на печкѣ.

— Пить, мама! Пи-ить!... простоналъ онъ.

Она подала ему ковшикъ, смотрѣла, какъ жадно припалъ онъ къ нему сухими губками, и думала въ то же время: — Эхъ, какъ не въ пору ушелъ Степанъ!... Успѣлъ-бы

и завтра сходить... Ну, кто вотъ теперь напоитъ его, какъ я уйду?... Ни Мишки, ни Петьки и не добудишься!..

— Пей, мой родимый, пей! Да успокойся, не плачь!... Я вотъ сейчасъ приду, — она торопливо зажгла лампочку въ фонарѣ, сунула въ карманъ коробокъ спичекъ, надѣла платокъ и вышла.

Вѣтеръ едва не задулъ фонарь. Она прикрыла его полой и пошла вдоль полотна, поглядывая на рельсы... И вдругъ крикъ ужаса вырвался изъ ея груди... — На полотнѣ, у рельсовъ, лежалъ огромнѣйшій камень и совершенно загораживалъ путь... Ей даже и въ голову не пришло: откуда и какъ попалъ этотъ камень. Дѣло не въ томъ! Сдвинуть его — вотъ что нужно ей сдѣлать; сейчасъ-же... Промедли она, — и поѣздъ потерпитъ крушеніе!...

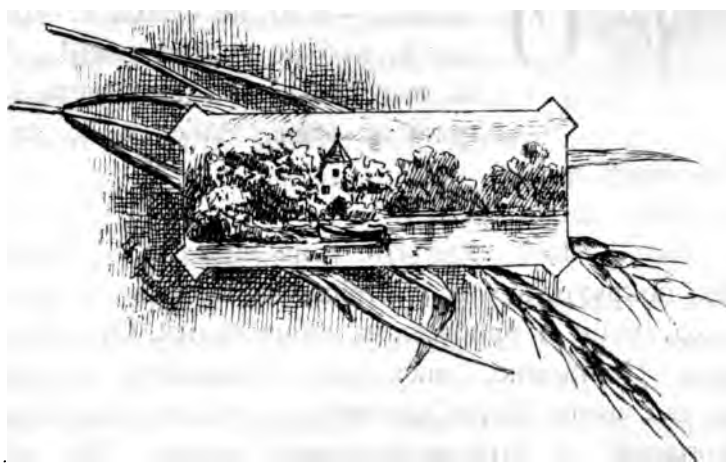
И она напрягла всѣ силы... Потъ въ три ручья лился у нея по лицу, — но камень не поддавался... Совсѣмъ обезсиленная, измученная, она отошла въ сторону и чуть не заплакала отъ отчаянія... И вдругъ издали долетѣлъ до нея знакомый грохотъ колесъ... Точно два глаза мелькнули во мракѣ ночи... Все ближе, ближе...

Она схватила фонарь, махнула имъ въ воздухѣ... Вѣтеръ задулъ его... Руки ея сильно дрожали; сердце, какъ молотъ, стучало въ груди... Вспыхнула спичка, — погасла... Другая... третья... четвертая... А два горящіе глаза все ближе, все больше... И, вдругъ, мысль... Она сдернула съ себя кафтанишко, облила его керосиномъ изъ фонаря и, послѣ долгихъ попытокъ, зажгла, наконецъ спичку и подпалила...

Вспыхнуло пламя и задрожало, заколебалось въ воздухѣ... Грохотъ колесъ сталъ тише и тише и, наконецъ, совсѣмъ смолкъ. Два глаза остановились на одномъ мѣстѣ.

Точно гора свалилась у нея съ плечъ; она вздохнула легко, и набожно перекрестилась... Но вотъ какія-то тѣни бѣгутъ ей навстрѣчу... Ее обнимаютъ, цѣлуютъ, благодарятъ... благословляютъ ее; суютъ ей деньги, бумажки: красныя, синія...

— Господи! Да за что-же? За что?... бормочетъ она, точно во снѣ, а слезы такъ и текутъ у нея по щекамъ и смѣшиваются съ чужими слезами. — Что-же я сдѣлала?... Я вѣдь только... — Но ей не дали говорить: ее цѣловали и душили въ объятіяхъ...



Сутки на китобойномъ суднѣ.

Охота на кита... Да... — говорилъ дядюшка. — Кто не слыхалъ объ этой охотѣ, кто не читалъ о ней!... А вотъ на меня такъ она произвела ужасно тяжелое впечатлѣніе, и я, до сихъ поръ, не могу забыть ее...

— А это давно было?

— Давно, лѣтъ тридцать тому назадъ... — старикъ задумчиво покрутилъ усы и отряхнулъ пепелъ съ сигары. — Я только сутки и пробылъ на этомъ суднѣ. Оно было голландское. Не помню, какъ оно называлось, а капитана помню: его звали Ванъ-Смиттенъ, — голландецъ, низенькій, широкоплечій, съ багрово-краснымъ лицомъ. Отъ его толстой суконной куртки на десять саженъ несло ворванью. Экипажъ былъ порядочный, — человѣкъ пятьдесятъ, изъ нихъ: пять офицеровъ, одинъ хирургъ, одинъ плотникъ, два бочара, кузнецъ, — остальные — матросы.

— Такъ вотъ, въ одно прекрасное утро, корабль нашъ, на всѣхъ парусахъ, вошелъ въ полярное море... Прекрасное, я сказалъ... Ну, не совсѣмъ такъ!... Представьте себѣ сѣро-свинцовое небо; тучи плывутъ по немъ. Кругомъ, гдѣ ни взглянешь — вода и вода; льдины громадныя, цѣлыя горы, встрѣчаются чуть не на каждомъ шагу. Но корабль лави-

руетъ, и ловко проскальзываетъ между ними. Десять часовъ утра, но этому трудно повѣрить: сумрачно какъ-то, почти темно... Да это еще ничего бы, — извѣстно, сѣверная природа, — а вотъ вѣтеръ этотъ: рѣзкій, холодный, пронзительный... Брр!... Онъ такъ и гудитъ и шумитъ въ снастяхъ; лѣзетъ къ тебѣ подъ мѣховую шинель, охватываетъ все тѣло и колетъ его, точно иголками. Долго мы шли на всѣхъ парусахъ; прошли миль 20, если не больше, но нигдѣ не замѣтили и слѣдовъ кита. А холодъ-то пробираетъ, да пробираетъ... Чтобъ какъ-нибудь согрѣться, я сталъ ходить взадъ и впередъ по палубѣ. Скверная палуба! Чуть не насквозь пропитана жиромъ! Скользишь на ней, спотыкаешься, какъ на вощеномъ полу; на каждомъ шагу рискуешь расшибить носъ... Матросы — кто дремлетъ на бакѣ, кто въ карты играетъ, въ кости; никто и не взглянетъ на море. Да и зачѣмъ? Вонъ капитанъ... Онъ точно застылъ на мостикѣ; глазъ съ горизонта не спуститъ. Застылъ и вахтенный на своёмъ посту. Долго бродилъ я по палубѣ, кутаясь поплотнѣе въ шинель. Холодно, дрожь пробираетъ... «Ужъ не пройти ли въ каюту», думаю; «не погрѣться ли?»... — «Китъ!...» вдругъ заоралъ вахтенный, да вѣдь какъ: точно его ножомъ въ бокъ хватили!... И поднялась суматоха... Господи Боже мой!... Всѣ повскакали на ноги... — «Лодки!...» крикнулъ Ванъ-Смиттенъ. — «Гарпунщики по мѣстамъ!...» — Да гдѣ же китъ? гдѣ? — спрашиваю я капитана. — «А вонъ, видите!» И онъ указалъ рукою на горизонтъ. Но, какъ я ни вглядывался, а кромѣ волнъ да плавающихъ на нихъ льдинъ, ничего не видѣлъ. Тутъ капитанъ предложилъ мнѣ бинокль, и я, наконецъ, разглядѣлъ вдали быстро убѣгающую отъ насъ темную массу. Лодки въ одинъ моментъ были спущены на воду; ихъ было шесть, нельзя сказать чтобы маленькихъ, такъ футовъ въ 30 длины, съ пятью парами веселъ по 19 футовъ. Въ каждую сѣло по пяти человѣкъ матросовъ, подъ командою одного гарпунщика. (Да, кстати объ этихъ гарпун-

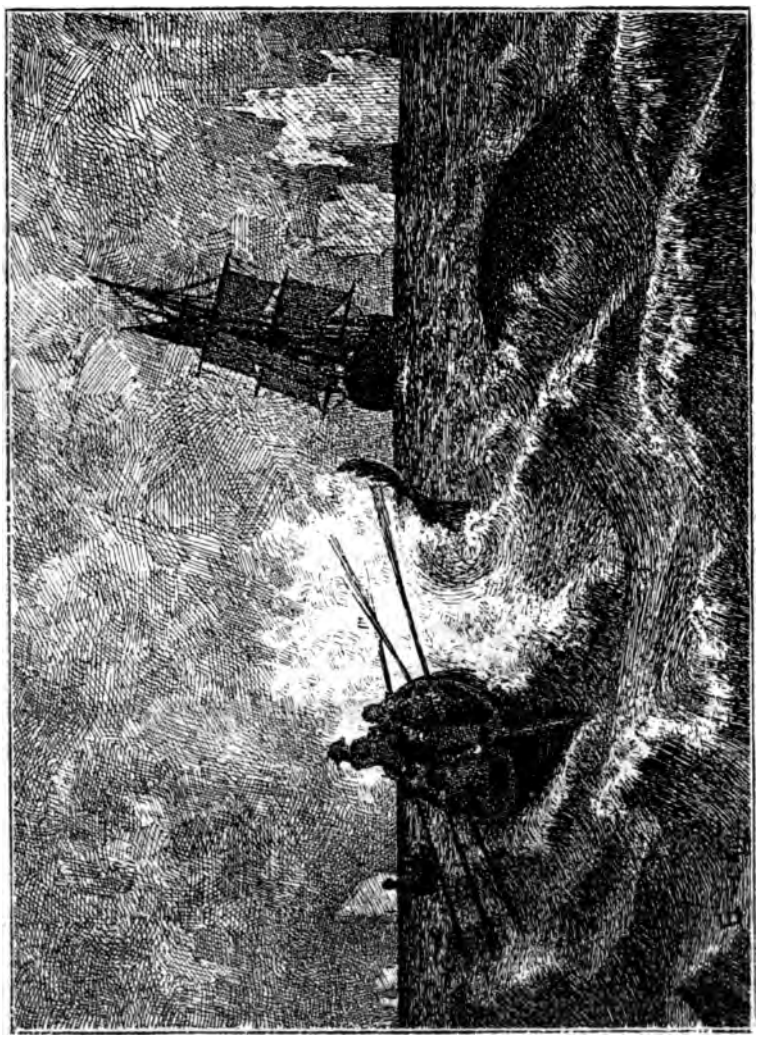
щикахъ... Представьте, здоровеннаго, рослаго молодца. Онъ, точно столбъ какой, такъ иросъ въ носовую скамью, широко разставивъ ноги и вытянувъ руки, вооруженныя *гарпуномъ* *). Полюбовался тогда я на нихъ!... Но вотъ лодки двинулись и полетѣли стрѣлой одна вслѣдъ за другою; а мы за ними...

— Я долго не могъ отвести глазъ отъ стеколъ бинокля, — продолжалъ дядюшка, — и все слѣдилъ за лодками. Они все ближе и ближе подвигались къ киту... Теперь ужъ я хорошо различаю этого гиганта морей: онъ быстро плыветъ, почти что поверхъ воды... Передовой гарпунщикъ взмахнулъ своимъ гибкимъ и мягкимъ орудіемъ, и оно полетѣло, разматывая бичеву, въ кита... Но тутъ вдругъ случилось что-то такое... Я невольно зажмурилъ глаза... Китъ страшно ударилъ хвостомъ, и лодка исчезла въ облакѣ брызгъ и пѣны... Не уверись она во-время — ударъ разбилъ бы ее въ мелкія щепки. Но она увернулась... Я видѣлъ, какъ страшный колоссъ тащилъ за собой на буксирѣ эту скорлупку, съ ужасающей быстротой... Другія лодки остались далеко позади. Но вотъ одна немного приблизилась, и въ кита полетѣлъ новый гарпунъ. Чудовище уменьшило свой бѣгъ; оно быстро и глубоко нырнуло, но опять вынырнуло на поверхность и, видимо, изнемогало... Вода на большомъ пространствѣ окрасилась кровью... Охота приходила къ концу. Я видѣлъ, какъ раненый на смерть китъ еще разъ быстро нырнулъ и опять вынырнулъ... Его поджидалъ гарпунщикъ, съ длиннымъ четырехграннымъ копьемъ въ рукахъ. Чуть показалась громадная голова, — гарпунщикъ нанесъ ударъ, и этотъ ударъ былъ послѣднимъ... а тамъ кровь... кровь цѣлымъ фонтаномъ, и началась страшная, мучительная агонія...

---

*) *Гарпунъ* — самое главное изъ орудій китовой охоты. Это желѣзная стрѣла, съ тупымъ угломъ на концѣ. Служитъ не для того, чтобы убить кита, а чтобъ задержать его бѣгъ. Кромѣ гарпуна, на каждую лодку полагается: отъ 4 — 6 *остроп*, 2 лопаты, нѣсколько кортиковъ, одинъ топоръ, бичева и около 6 *веревокъ*, составляющихъ, въ общей сложности, до 4000 ф. длины.

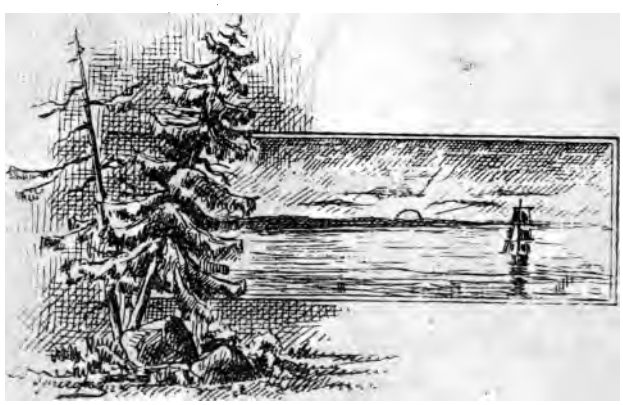
Ну, а дальше я хорошенько не помню: не то я самъ положилъ бинокль, не то онъ у меня выпалъ изъ рукъ. Но больше смотрѣть я не могъ: картина была слишкомъ тяжелая!... Я быстро сошелъ съ капитанскаго мостика, спу-



стился въ каюту и легъ на койку: меня пробирала дрожь... Не помню, долго ли я лежалъ. Вдругъ слышу: урра-а!... я вскочилъ и выбѣжалъ вновь на палубу. Убитый китъ тор-

жественно былъ прибуксированъ къ судну, и на его громадной, широкой спинѣ развѣвался голландскій флагъ... Ванъ-Смиттенъ былъ веселъ; матросы тоже... Я чувствовалъ, какъ къ запаху ворвани отъ капитанской куртки примѣшивался теперь еще запахъ рома изъ капитанскаго рта... Не забыли и экипажъ: и ему отпустили тоже изрядную порцію... Всѣ были веселы и довольны... Но мнѣ, какъ-то было не по себѣ!...

— Такъ вотъ, господа, — заключилъ дядюшка и опять задумчиво покрутилъ усы, — нѣтъ словъ, что китъ очень полезенъ: онъ намъ доставляетъ и ворвань, и этотъ извѣстный китовый усъ... Читайте разсказы объ этомъ животномъ, — они занимательны, интересны... Но только я не желалъ бы, чтобъ вамъ довелось видѣть охоту за нимъ...



Михѣичъ.

I.

рандмейстеръ Матвѣй Степановичъ Бубенчиковъ проснулся въ самомъ пріятномъ расположеніи духа. Вчера онъ узналъ, что ему къ празднику назначена награда. Черезъ нѣсколько минутъ онъ уже одѣлся и сидѣлъ въ столовой за самоваромъ, помѣшивая ложечкой чай. Еще вчера онъ рѣшилъ, что о наградѣ онъ женѣ — ни гу-гу... Зачѣмъ? Лучше вотъ такъ сдѣлать: праздники, святки, не за горами, купитъ онъ ей въ Гостиномъ сережки или браслетку и подаритъ. Хватитъ и ребятишкамъ на пряники, ёлку можно будетъ устроить. Прекрасно! Матвѣй Степанычъ даже руки потеръ. Онъ допилъ чай и опять потянулся къ чайнику. Вдругъ въ комнату вошла старая кухарка, Степанида.

— Чего тебѣ? спросилъ Матвѣй Степанычъ.

— Мужикъ какой-то пришелъ на кухню, васъ спрашиваетъ.

— Какой тамъ мужикъ? Зачѣмъ?

— Не знаю. Дѣло, говоритъ, есть.

— Зови сюда!

— Да вамъ самимъ лучше на кухню-то выйти. Грязный такой онъ, еще наслѣдитъ, пожалуй.

— Не наслѣдитъ, ничего... Зови! Да, постой! Барыня спитъ еще?

— Почиваютъ.

— Зови!

Старуха ушла, съ ворчаньемъ. Слѣдомъ за ней явился худенькій мужичекъ съ клиновидной рыжей бородкой, всклокоченный, въ старомъ, заплатанномъ зипунишкѣ; онъ сталъ на порогѣ и отвѣсилъ низкій поклонъ.

— Здорово, землякъ! Что скажешь?

— Да, вотъ, къ вашей милости. — И мужичекъ поклонился. — Заставьте вѣчно Бога молить...

— Ну?

— Не здѣшніе мы, вологодскіе, печники. Пришелъ я теперь еще весной въ Питеръ: заработки здѣсь, говорятъ, больно хорошіе... И точно... Пахомъ Даниловъ,—онъ мнѣ еще внучатнымъ братомъ приходится, десять лѣтъ въ Питерѣ-то живетъ, въ извощикахъ... Такъ вотъ, Пахомъ-то и говоритъ;

— Да ты постой... Какой тамъ Пахомъ! Тебѣ-то отъ меня собственно чего надо?

— Да вотъ, окажите Божескую милость! — Мужичекъ поклонился. — Пришелъ я еще весной въ Питеръ... Заработки, молъ, здѣсь хорошіе...

— Да ужъ я слышалъ, слышалъ! Дальше-то что?

— Въ артель я въ одну попалъ... Это, значитъ, печнымъ мастерствомъ которая... По пятнадцати рублевъ въ мѣсяцъ... Господи, думаю, Царь небесный! Да это, вѣдь, благодать, пятнадцать-то рублевъ! Теперь, значитъ, и самъ сытехонекъ, да и въ деревню можно будетъ послать...

— Ну, а потомъ-то, потомъ-то что? возвысилъ голосъ Матвѣй Семенычъ и застучалъ ложечкой по стакану. — Вѣдь этакъ ты изъ меня всю душу вытянешь!

Мужичекъ струсилъ и заморгалъ.

— Потомъ нивѣсть что со мной приключилось, робко продолжалъ онъ. — Не то простудился я, не то что...

Въ больницѣ два мѣсяца провалялся. Выписался, работы нигдѣ нѣтъ, хошь ты тутъ тресни!.. Я и туда, и сюда — нѣту!.. Спасибо, землякъ одинъ надоумилъ... Ступай, говоритъ, ты въ пожарные...

Матвѣй Степанычъ вдругъ такъ и прыснулъ со смѣху.

— Въ пожарные?.. Это ты-то въ пожарные?.. Ха-ха-ха!.. Да ты посмотри на себя, землякъ!.. Да развѣ такіе бываютъ пожарные? Ты посмотрѣлъ-бы, какіе у меня молодцы все!

— Это точно-съ, пробормоталъ сконфуженный мужичекъ.

— Вотъ то-то и есть! Вѣдь ты у меня этакъ весь обозъ острамишь... Какой ты пожарный!.. Тутъ сила да ловкость нужны... Смѣлость нужна... Въ огонь то, братъ, лѣзть — это не то, что въ пустую печку...

Мужичекъ грустно понурилъ голову.

— Такъ, значитъ, и не возьмете, уныло спрашивалъ онъ.

— Ни подъ какимъ видомъ!..

Мужичекъ стоялъ, переминаясь съ ноги на ногу и исподлобья поглядывалъ на брандмейстера. Вдругъ губы у него задрожали, все лицо какъ-то искривилось.

— Батюшка!.. завопилъ онъ и бухнулся въ ноги брандмейстеру, — ради Христа... Создателя!.. Женка въ деревнѣ... Ребятъ шестеро... Сдѣлайте Божескую милость!

Матвѣй Степановичъ былъ человѣкъ добрый. Онъ двадцать пять лѣтъ слишкомъ служилъ брандмейстеромъ въ одной изъ городскихъ пожарныхъ частей, и никогда ни одинъ пожарный не могъ пожаловаться, что онъ обидѣлъ его. Матвѣй Степановичъ, правда, былъ строгъ и взыскивалъ со своихъ подчиненныхъ за всякую неисправность и преслѣдовалъ пьянство. «Выпить всегда можно,—говаривалъ онъ.— Для куражу, такъ это даже превосходно! Да только въ мѣру, въ мѣру, землякъ... Да, онъ былъ строгъ, но любилъ своихъ молодцовъ-пожарныхъ. Онъ первый всегда лѣзъ въ огонь, и тѣ лѣзли за нимъ, очертя голову... Ему стало

жаль этого бѣднаго, валявшагося у него въ ногахъ, мужиченка. «Жена... ребятъ шестеро... Ради Христа»... Сердце у него сжалось... «А что, взять развѣ? мелькнуло у него въ головѣ. — Рискнуть, куда ни шло!.. Больно ужъ онъ неказистъ: маленькій, худенькій, не силенъ, вѣрно, — ну, да, авось, куда-нибудь пригодится. Кучеромъ его, пожалуй, посадить можно... Съумѣетъ-ли вотъ только съ лошадьми справиться?..

— Да ты въ ноги-то мнѣ не кланяйся!..—говоритъ онъ.—Одному Богу кланяются... Вставай!

Мужичекъ поднялся и сталъ отирать рукавомъ армячишки слезы, такъ и катившіяся крупными каплями по его изможденному, морщинистому лицу.

— Ты съ лошадьми-то съумѣешь справится?—спрашивалъ его Матвѣй Степановичъ.

— Какь не съумѣть. У самого тоже въ деревнѣ-то...

— Ну, то въ деревнѣ! — перебилъ брандмейстеръ.—Не лошади тамъ — одры! У насъ, братъ, огонь лошади-то... Видалъ?

— Видалъ, батюшка.

— Вотъ то-то и есть. Съ ними умѣючи тоже надо. Ну, да, авось, привыкнешь... Кучеромъ тебя посадить развѣ?..

Мужичекъ просіялъ.

— Спаси васъ Господи и помилуй!..—радостно забормоталъ онъ и опять хотѣлъ было упасть въ ноги Матвѣю Степановичу, но тотъ придержалъ его за плечо.

— Постой, постой!.. Не торопись больно-то... Поговорить еще съ тобою надо... Уговоръ лучше денегъ... Ты водки не пьешь?—громко и рѣзко, точно отрѣзалъ Матвѣй Степановичъ.

— Въ ротъ не беру!.. Давнымъ давно зарокъ далъ.

— А погляди-ка въ глаза.

Мужичекъ глянулъ.

— Не пьешь?

— Не пью!..

— Гм... По глазамъ-то, какъ будто-бы и не врешь... То-то, смотри у меня!.. — погрозилъ пальцемъ брандмейстеръ. — Терпѣть не могу пьяницъ!.. Выгоню, какъ пить дамъ, чуть что замѣчу!..

— Въ ротъ не беру!.. — опять повторилъ мужичекъ.

— Гмъ. Въ ротъ не беру... Никто и не говоритъ тебѣ, чтобъ въ ротъ ни капли не брать... Зачѣмъ?.. Немножко-то оно можно... Иной разъ нужно даже, — для храбрости... Ну, а вотъ много... Паспортъ-то у тебя есть?

— Какъ не быть паспорту, батюшка...

— Давай сюда!

Мужичекъ поспѣшно полѣзъ за пазуху, вытащилъ оттуда грязную тряпку, а изъ нея вчетверо сложенную бумагу и подалъ Матвѣю Степановичу.

— Гмъ. Вологодской губерніи, Кандиковскаго уѣзда...— читалъ тотъ вполголоса.—Волости... крестьянинъ Миронъ Михѣевъ... 48 лѣтъ... Хорошо, все, какъ слѣдуетъ... Такъ, значитъ, не будешь, Михѣичъ, пить?..

— Сохрани Господи и помилуй!..

— И все будетъ, какъ есть все, въ исправности?

— Ну, ладно, такъ поступай къ намъ!..

И Михѣичъ былъ принятъ въ пожарные.

II.

А нашего полку прибыло, прибыло, братцы!—говорилъ балагуръ Сенька.—Гляньте-ка, молодчина какой!..

И онъ точно куклу, повертывалъ Михѣича за плечи передъ толпою своихъ товарищей.

— Ростъ-отъ одинъ какой — богатырскій!.. Въ плечахъ — косая сажень!.. Эхъ, горе ты богатырь, право!..

И онъ, насмѣшливо-добродушно похлопывалъ страшно сконфуженнаго Михѣича по его худой, костлявой спинѣ.

— Полно тебѣ зубы-то скалить! — замѣтилъ какой-то угрюмый пожарный.—Чего ты надъ нимъ глумишься?.. А ты-то тоже чего молчишь!.. Какъ тебя тамъ... Михѣевъ, что-ли... Дай ему кулакомъ въ зубы, какъ разъ отстанетъ!..

— Теперича, если въ конюшню его, замѣсто козла, отправить,—не унимался Сенька,—такъ онъ тамъ всѣхъ крысъ разгонитъ!..

Кто-то захохоталъ. Но другіе вступились за бѣдняка и стали укорять Сеньку, зачѣмъ онъ его обижаетъ. Имъ жалко стало Михѣича. Да и точно: одѣтый въ новую форму,—въ сѣрую куртку съ погонами, висѣвшую на немъ, какъ на палкѣ, маленько подстриженный и побритый,— Михѣичъ смотрѣлъ все-таки очень жалкимъ, забитымъ и запуганнымъ.

Напрасно толкуютъ у насъ про пожарныхъ, что это отпѣтый народъ. Михѣичъ почти годъ прожилъ межъ нихъ и убѣдился, что и у нихъ есть сердце, и хорошее сердце. Среди этихъ рослыхъ, здоровыхъ ребятъ, порою грубыхъ и пьяныхъ, ему не хуже жилось, чѣмъ у себя, въ деревнѣ, а не то пожалуй что и лучше. Сперва они, правда, подсмѣивались надъ его неуклюжестью и неловкостью, медвѣдемъ его, вахлакомъ звали,—ну, а потомъ ничего, поотстали и зажили съ нимъ душа въ душу. Съ вѣчнымъ насмѣшникомъ-балагуромъ Сенькой онъ даже подружился. Тотъ тоже оказался изъ Вологодской губерніи, только изъ другаго уѣзда. Сенька всѣхъ больше подсмѣивался надъ Михѣичемъ.

— Въ обозъ ему нельзя, братцы!—говаривалъ онъ.— Куда ужъ!.. Жидковатъ больно. Дернутъ кони — и полетитъ вверхъ тормашками!.. На каланчу вотъ его отправлять будемъ—дежурить не въ очередь... Идетъ, что-ли?..

— А ты дрыхнуть въ то время будешь?—замѣтилъ кто-то.—Теплый ты парень-то; ловко придумалъ!..

— Да что-жъ ему больше дѣлать-то?.. За лошадьми онъ не мастеръ тоже ходить... Вѣдь это, братъ, не въ деревнѣ,

за гнѣдкомъ, аль за пѣгашкой... Въ обозъ то-же негоденъ... Такъ, вотъ, и пусть на каланчѣ хоть торчитъ!... Ты только, Михѣичъ, по сторонамъ больше поглядывай; замѣтишь тамъ гдѣ огонь али дымъ большой — и дерни скорѣй за веревку, — звони!... Ну, а внизъ, на народъ-отъ, ты не смотри: испужаешь еще, пожалуй ..

Матвѣй Степанычъ частенько навѣдывался къ пожарнымъ.

— Старшой!... — вызывалъ онъ.

Старшой подходилъ и прикладывалъ руку къ каскѣ.

— Ну, что, какъ тамъ Михѣевъ, не пьетъ?—спрашивалъ его брандмейстеръ.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе!...

— Ну, то-то.... Ты знаешь, за нимъ приглядывай, и въ случаѣ, если тамъ что...

— Слушаю, ваше высокоблагородіе!..

— Михѣевъ!.. Эй, гдѣ ты тамъ?.. — выкликалъ брандмейстеръ.—Поди сюда!..

Михѣичъ неуклюже ковылялъ къ начальству и тоже отдавалъ честь. Матвѣй Степанычъ оглядывалъ его тщедушную худенькую фигурку и ухмылялся.

— Ну, увалень же ты, братецъ! — говорилъ онъ. — Какъ есть деревня!.. Постой, погоди!.. Развѣ такъ честь отдаютъ? А?.. Ты руку вотъ такъ держи, — видишь?.. А ты ее въ кулакъ сжалъ, точно ударить хочешь... Ну что, всѣмъ доволенъ?

— Всѣмъ доволенъ... Благодаримъ покорно!..

— Та-акъ... И не пьешь?..

— Капли въ ротъ не беру.

— То-то, смотри у меня!.. Замѣчу — бѣда!.. Исправенъ? — обращался онъ вдругъ къ старшому.

— Исправенъ, ваше высокоблагородіе!..

— И Матвѣй Степанычъ уходилъ.

Михѣича, точно, отправляли больше на каланчу, — дежурить. Объ очереди онъ никогда не справлялся и шелъ

туда по первому приказанію. Лѣтомъ ему тамъ хорошо было. Внизу жара страшная, солнце такъ и жжетъ и палитъ, съ прохожихъ потъ льется ручьями, а Михѣичу такъ хорошо и прохладно... Посматриваетъ онъ, зорко посматриваетъ по сторонамъ: не видно-ли тамъ гдѣ вдали дыму... Ну, а вотъ осенью или зимой — ужъ не то. Рѣзкій, пронзительный вѣтеръ, морозъ прохватываетъ его до костей... Ежится, жмется, кряхтитъ Михѣичъ; кутается поплотнѣй въ казенную шубу, попрыгиваетъ съ ноги на ногу, — ничего не помогаетъ!.. А тутъ еще сонъ донимать начнетъ на морозѣ; глаза такъ и смыкаются, — того и гляди, заснешь... Еле-еле дождется онъ очередной смѣны...

Темная ночь. Внизу тамъ, какъ звѣздочки, огоньки блестятъ это—фонари. Вѣтеръ гудитъ; точно снасти на мачтѣ, стучатъ и хлещутъ веревки на шпицѣ; мелкій и частый дождикъ сѣетъ, точно сквозь сито... Холодно... Дрожь пробираетъ Михѣича, сонъ его клонитъ... Чтобы какъ-нибудь разогнать его, Михѣичъ закуритъ трубочку, ходитъ, все ходитъ кругомъ .. Порой онъ остановится и долго, долго глядитъ въ темную даль, опершись о перила рѣшетки... Задумается иной разъ Михѣичъ, деревню вспомнитъ свою, жену, ребятишекъ. Какъ-то они поживаютъ тамъ, всѣ-ли живы-здоровы? Давненько ужъ что-то отъ нихъ нѣту вѣсточки... Сенька никакъ ужъ мѣсяца два, какъ писалъ письмо, самъ онъ его отправилъ на почту, и три цѣлковыхъ туда вложилъ, — зелененькую бумажку, — а до сихъ поръ нѣтъ никакого отвѣта... И вдругъ сердце у Михѣича заболитъ и заноетъ, грустно ему, такъ грустно станетъ; слеза сверкнетъ у него на рѣсницѣ, капнетъ на шубу — да тотчасъ-же и застынетъ твердою ледяной каплей... И опять ходитъ и ходитъ кругомъ Михѣичъ и смотритъ по сторонамъ... Поле ему представляется, какъ пеленой, все покрытое снѣгомъ, лѣсъ густой и дремучій, — ели, сосна... А вонъ деревушка! Дымокъ вьется изъ трубъ синими струйками и

разстилается въ морозномъ воздухѣ... Вонъ и его избушка, у самой околицы...

На первыхъ порахъ случались съ Михѣичемъ и «непріятности». Онъ долго не могъ привыкнуть къ пожарнымъ сигналамъ и то и дѣло перемѣшивалъ знаки городскихъ частей: всѣ эти доски и шары — днемъ, и красные и зеленые фонари — ночью... Пожаръ, напримѣръ, въ Московской части, а онъ выкинетъ на каланчѣ знаки Васильевской. Конечно, его за это штрафовали. Не разъ сиживалъ онъ въ «холодной» за свою оплошность и непонятливость.

А то, случалось, и засыпалъ на дежурствѣ... Разъ какъ-то, на вѣтру, на морозѣ, моргалъ онъ моргалъ глазами, трубку курилъ, — разъ пять никакъ набивалъ ее корешками, — да и заснулъ... Проснулся — на небѣ зарево; на каланчахъ зеленые фонари — сборъ всѣхъ частей... Струсилъ Михѣичъ, въ будку бросился и долго тамъ возился съ сигналами; никакъ не могъ фонаря зажечь: спички у него отсырѣли и гасли одна за другой, руки дрожали... Только успѣлъ онъ вздернуть на шпицъ фонарь, его смѣнили, и прямо къ брандмейстеру.

Тотъ встрѣтилъ его уже совсѣмъ готовый къ отъѣзду, при всей формѣ, въ каскѣ.

— Ты это что-же, землякъ? — обратился онъ строго къ Михѣичу. — Заснулъ, что-ли?

— Заснулъ... Виноватъ...

— Да развѣ можно спать на дежурствѣ? А?... Можно спать на дежурствѣ пожарному?... Чего-жъ ты молчишь? Аль оглохъ?...

— Сморило совсѣмъ меня, ваше высокоблагородіе оправдывался Михѣичъ. — Больно ужъ я замерзъ...

— А, замерзъ!.. Такъ я вотъ тебя сейчасъ погрѣю, голубчикъ! Эй, гдѣ тамъ... старшой? Запри-ка его въ теплое мѣсто!

И Михѣичъ высидѣлъ цѣлыя сутки въ «холодной»

III.

Михѣичу не спалось что-то: его не то блохи кусали, не то клопы, не то голова съ чего-то болѣла... Долго ворочался онъ съ боку на бокъ, глубоко вздыхалъ, покряхтывалъ, зѣвалъ на всю камеру и крестилъ ротъ. Порою онъ поднимался на нарахъ и оглядывался по сторонамъ. Тускло дымясь, горѣла лампа; въ окно, раздѣленное желѣзною рѣшоткой, глядѣла морозная лунная ночь. Въ камерѣ было сыро и грязно, пахло махоркой, какою-то плѣсѣнью. Полъ былъ заплеванъ, вездѣ грязь, окурки «цыгарокъ», табачный пепелъ... На нарахъ лежали пожарные, въ сѣрыхъ курткахъ съ пагонами, и храпѣли на всѣ лады... Михѣичъ набилъ трубочку корешками и чиркнулъ спичкой...

— О-аа!... — зѣвнулъ онъ вдругъ, да такъ громко, что мышь, копошившаяся у печки, какъ угорѣлая бросилась въ щель. — Фу ты, Господи Боже мой!...

— Что, братъ, не спишь, Михѣичъ?

И молодой, краснолицый парень, лежавшій на нарахъ возлѣ Михѣича, приподнялся и сталъ протирать глаза.

— Не спится что-то... Да и тебѣ никакъ тоже...

— Башка у меня, братецъ ты мой, трещитъ — страсть какъ!... И дернула-же меня даве нелегкая на именинахъ у Еремѣича... Ты Еремѣича-то знаешь?

— Нѣтъ.

— Приказчикъ изъ зеленной... Мужикъ славный, выпить гораздъ... Такъ вотъ и хватили мы у него, — здòрово, братъ, хватили... Башка просто лопнуть хочетъ...

— Вотъ то-то и есть, Сенюша! Не разъ я тебѣ толковалъ... — заворчалъ Михѣичъ. — Ну что въ этой водкѣ такого?...

— Да, хорошо тебѣ говорить-то, какъ ты не пьешь... Что толковать, — скверно оно, точно скверно: и по кар-

ману-то бьетъ тебя, и голова опять тоже... А все-же оно, Михѣичъ, нельзя нашему брату и не хватить иной разъ... Для куражу, значитъ... Намъ и Матвѣй Степанычъ, вонъ, говорилъ... Пожаръ теперь... Да вотъ хошь, примѣрно, въ прошломъ году... Подъ Смольнымъ домъ одинъ есть большущій, и загорѣлся въ немъ сѣновалъ. А тамъ сѣна было пресованнаго тысячъ съ десятокъ пудовъ никакъ... Чуешь?... Пріѣхали это мы... Крыша желѣзная раскалилась, краснёхонька; искры вотъ такъ и сыпятся... Ну, перво-на-перво, лѣстницу мы, — листы отдирать... Пламя-то какъ полыхнетъ!... Матвѣй Степанычъ кричитъ: полѣзай, Семенъ, тюки вытаскивай!... Въ другой разъ, оно не того, не очень въ огонь-то, ну, а тутъ въ головѣ шумѣло, перекрестился: Господи благослови, да и прыгнулъ!... А тамъ — и Яковъ за мной, и Павлуха, и Дормидонъ... У всѣхъ въ головѣ-то тоже шумѣло. Перетаскали тюки мы, поразбросали... Да, братъ, Михѣичъ, нельзя тоже нашему брату и не хлебнуть...

— Курнуть не хошь-ли?

— Пожалуй.

Сенька придавилъ пальцемъ золу въ трубкѣ и затянулся.

— Такой ужъ, братъ, мы отпѣтый народъ, — продолжалъ онъ. — Извѣстно, пожарные... Всякій скажетъ... Спроси-ка теперь; кто не пьетъ?... Жизнь-то, вѣдь, у насъ — копѣйка.

Наступило молчаніе.

— А я, братъ, давече Федьку Косого встрѣтилъ, — какъ-то угрюмо заговорилъ Михѣичъ. — Думалъ, его и въ живыхъ нѣтъ давно, а онъ нако-сь поди, какъ распыхался!... Лавочку мелочную здѣсь держитъ... Брюхо себѣ отростилъ...

— Это какой-же Федька?

— Да нѣшто я тебѣ не разсказывалъ?

— Не помню что-то...

— А это изъ нашей деревни, землякъ... — Глаза Михѣича вдругъ сверкнули изъ-подъ косматыхъ бровей. — Зашелъ я давече въ лавочку, табаку купить, — табакъ-отъ у меня былъ на исходѣ... Только гляжу — и глазамъ не вѣрю! Стоитъ за прилавкомъ Федька Косой,—ухмыляется... Сразу призналъ меня... «Вотъ, говоритъ, чудеса-то!... Миронъ Михѣичъ никакъ?... Онъ, онъ!...» Призналъ и я его сразу... Какъ не признать: въ вѣкъ мнѣ его не забыть!... А онъ ухмыляется... Закипѣло, братъ, у меня, закипѣло... Свѣту не взвидѣлъ я... Плюнулъ, да какъ ошпаренный выскочилъ вонъ изъ лавки...

— Да чѣмъ онъ тебѣ насолилъ такъ?

— Чѣмъ насолилъ?... Разсказывать даже не хочется, — во какъ!... По міру, было, пустилъ меня Федька-то... Годъ я въ острогѣ высидѣлъ изъ-за него!...

— Ну-у?.. — Сенька приподнялся на локтѣ и уставилъ глаза на Михѣича. — Да какъ-же, братъ, это такъ?

— Да вотъ такъ... Тошно и вспоминать-то!.. Господскіе были мы, Петра Аѳанасьича Балашова. Добрый былъ баринъ, царство ему небесное; оброкомъ не донималъ насъ... И жили съ нимъ мы, — нечего правду таить, — ладно, хорошо, жили... Землишка теперь была у меня, лошадка, коровки двѣ... А Федька этотъ Косой при баринѣ состоялъ въ лакеяхъ, — дворовымъ, значитъ... Его съ малыхъ лѣтъ всѣ на деревнѣ за плута знали, воришку. При немъ ужъ ты ничего не клади плохо, — какъ разъ утянетъ... Ну, вотъ... А баринъ-то (больно ужъ онъ простой былъ, покойникъ!) вѣрилъ въ Федьку... Весной, помню дѣло то было... Поправки, починки въ усадьбѣ разныя шли, и печи то же тамъ перекладывали... И я работалъ... Я съ малолѣтства къ печному-то мастерству пріучался; батька покойникъ печникомъ былъ, и дядя тоже занимался по малости... Ну, такъ, вотъ, работали это мы... Я въ кабинетѣ у барина печку складывалъ, а Федька этотъ Косой все тутъ вертѣлся... Помню, вотъ какъ сейчасъ... Ну, ладно... Кончилъ я

печку-то, — поздно домой вернулся, поужиналъ... Веселый еще былъ такой: баринъ синенькую бумажку пожертвовалъ... Вдругъ ночью будятъ...—Кто тамъ?—Кучеръ Захаръ. «Ступай, — говоритъ, — баринъ требуетъ»...

Михѣичъ остановился и перевелъ духъ. Лицо у него какъ-то подергивало, губы дрожали...

— Перепугался я, страхъ какъ!.. — продолжалъ онъ. — Сердце вотъ такъ и забилось... Господи, думаю, что тамъ такое? Зачѣмъ?.. Иду, а у самого ноги такъ и подкашиваются!.. Захарушка, — говорю, — что тамъ у васъ? Зачѣмъ требуетъ? — «Не знаю я», — говоритъ... Пришелъ это къ барину... Баринъ сердитый такой, въ жизнь я его такимъ не видывалъ... Вышелъ, да какъ накинется вдругъ на меня, какъ ногами затопаетъ!.. «Такъ вотъ ты какой, голубчикъ! — кричитъ. — А я тебя еще мужикомъ честнымъ считалъ, хорошимъ,. а ты воръ, выходитъ!.. «Воръ»!... — Господи Боже мой! Такъ все у меня и помутилось въ глазахъ; все завертѣлось вдругъ, поджилки задрожали... Хочу это я слово сказать, а языкъ-отъ у меня во рту точно колода какая — не двигается... И что-жъ оказалось, братецъ ты мой? У барина-то ящикъ въ столѣ сломали и деньги оттуда украли, — триста рублевъ... Я воромъ-то и оказался... А? Какъ ты объ этомъ думаешь?..

Сенька только присвистнулъ.

— Ну, а дальше, что тутъ разсказывать!.. Какъ ни божился я, какъ ни валялся въ ногахъ — не повѣрили... Точно одурь какая на барина-то нашла, прости его, Господи, и помилуй!.. — «Въ острогъ, кричитъ его, такого-сякого»!.. — Свезли въ острогъ...

Михѣичъ опять замолчалъ и съ трудомъ перевелъ духъ. Крупныя капли пота выступили у него на лбу.

— Ну, а потомъ?

— А потомъ годъ я въ острогѣ высидѣлъ... Да!.. Ну, судили, видятъ, уликъ никакихъ нѣтъ, — и выпустили... Вернулся въ деревню я (баринъ-то въ это время ужъ по-

меръ) — стыдно въ глаза землякамъ смотрѣть... И такъ-то стыдно, — хошь помирай!.. Вотъ, думаю, воромъ всѣ станутъ звать, острожникомъ... Легче тогда руки на себя наложить... Однако никто не назвалъ,—вотъ какъ передъ Истиннымъ!.. Ни одна живая душа ни разу острогомъ не укорила... На Федьку всѣ такъ и подумали, — кому больше...

— А Федька?

— Да что, Федька!.. Воля ужъ вскорѣ вышла, — онъ и пропалъ изъ деревни, точно вдругъ въ воду канулъ... Въ купцы, вишь, теперь записался, на воровскія-то деньги, — лавку открылъ!..

Михѣичъ закашлялся.

— Да это-бы еще ничего, острогъ-то, — продолжалъ онъ. — Хоть тоже — во какъ онъ мнѣ пришелся... А то, вотъ, голубчикъ ты мой... Какъ я вернулся въ деревню, — гляжу: ни коровенокъ, ни лошаденки нѣтъ, давнымъ давно проданы и проѣдены... Женка (она больная всегда была) по міру съ ребятишками ходитъ... Работникъ-то, вѣдь, я одинъ былъ... Такъ вотъ какъ онъ меня подкузьмилъ, Федька-то... Ты что, Сенька, заснулъ, никакъ?..

Но Сенька только сердито повернулся и плюнулъ.

IV.

Михѣевъ! Эй, гдѣ ты тамъ! — зычно кричалъ старшой.

— Здѣ-ѣся!.. — отозвался Михѣичъ и поднялъ голову отъ работы. Онъ зашивалъ суровыми нитками куртку, разорванную вчера на пожарѣ.

— Ступай-ка, Матвѣй Степанычъ тебя спрашиваетъ...

— «Зачѣмъ-бы это? — думалъ Михѣичъ, направляясь робкими стопами къ брандмейстеру. — Ужъ не проштрафился-ли опять чѣмъ, на грѣхъ?.. Да нѣтъ, кажись, нечѣмъ... Все было исправно, благополучно... Чего еще?..»

Матвѣй Степанычъ сидѣлъ у себя въ кабинетикѣ и разбиралъ бумаги. Михѣичъ робко сталъ на порогѣ и вытянулъ руки по швамъ.

— А, это ты, землякъ? — сказалъ Матвѣй Степанычъ.

— Такъ точно-съ!

— Къ тебѣ письмо есть изъ деревни... На, получай.

Матвѣй Степанычъ отыскалъ между бумагами сѣрый пакетикъ, запечатанный бутылочнымъ сургучемъ, и протянулъ Михѣичу. У того екнуло сердце.

— Да, впрочемъ, вѣдь, ты неграмотный, — вспомнилъ Степанъ Матвѣичъ. — Прочитать?

— Сдѣлайте милость, ваше высокоблагородіе...

Матвѣй Степанычъ распечаталъ письмо и началъ читать:

«Любезному моему супругу Мирону Михѣичу шлю мой поклонъ и съ любовію низко кланяюсь. А урожай нонѣшній годъ Господь послалъ плохой: хлѣба собрали мы малость самую; думаемъ, что не хватитъ, такъ какъ четыре пуда еще отдали мы за долгъ Устину Ивановичу,—помнишь, брали у него еще въ прошломъ году... А все потому, что работниковъ у насъ нѣтъ, — ты только одинъ и былъ, — а мнѣ ужъ, по бабьему положенію да по моей хворости, гдѣ же пахать, а на помочь мужички наши идутъ тоже не больно охотно, потому—вина, извѣстно, поставить мнѣ не на что... Сѣна собрали было порядочно; Бога молила все, чтобъ онъ помогъ съ нимъ убраться. Вотъ, думала, въ городъ свеземъ, деньги получимъ, — сѣно-то въ цѣнѣ было... Да не услышалъ, видно, Господь Богъ мои молитвы грѣшныя! Скосили мы сѣно, да вдругъ дожди полили, — дня три подъ рядъ шли, точно какъ изъ ведра, — оно и погнило. Собрали только самую малость и продали въ городъ за рубль пятьдесятъ копѣекъ... А я, слава Богу, жива и здорова, — вотъ поясницу только ломитъ, порой; иной разъ и разогнуться тошнехонько; ноги тоже что-то отекать стали, да голова болитъ: проснешься утромъ это — тяжелая-претяжелая, ажно съ подушки не подымается... Дѣтки

твои: сынъ Федоръ Мироновичъ и дочери: Марья, Анисья, Аксинья, Катерина и Степанида Мироновны шлютъ тебѣ низкій поклонъ и просятъ твоего родительскаго благословенія, навѣки нерушимаго... А письмо, что я тебѣ посылала, должно полагать, затерялось, такъ какъ отвѣта я отъ тебя никакого не получила... Не знаю, что ты не пишешь. Живъ-ли ты тамъ, здоровъ-ли, и нѣтъ отъ тебя никакой вѣсточки... А писала я въ томъ письмѣ, чтобъ ты выслалъ мнѣ денегъ всенепремѣнно, по крайней мѣрѣ, хоть десять рублевъ, потому, хотя подати и уплачены, благодареніе Господу, да остается еще недоимки четыре рубля; писарь все пристаетъ, какъ съ ножомъ къ горлу. А тамъ избушку еще починить нужно, — самъ знаешь, она обветшала какъ... Вышли, ради Христа, Миронъ Михѣичъ, денегъ-то, больно нужно!.. А за симъ остаюсь любящая тебя супруга Ирина Петровна. Солдату Иванычу, что пишетъ это письмо, я уплатила двугривенный, а у меня осталось еще сорокъ копѣекъ... Вышли, Миронъ Михѣичъ, вышли, ради Создателя!..»

Матвѣй Степанычъ сложилъ письмо, сунулъ его обратно въ конвертъ и искоса взглянулъ на Михѣича. Тотъ стоялъ съ низко опущенною головой; морщины на его лбу сдѣлались еще глубже, замѣтнѣе, косматыя брови сдвинулись.

— Да-а!.. — процѣдилъ какъ-то сквозь зубы Матвѣй Степановичъ.—А вѣдь дѣла-то твои плохи, землякъ; больно плохи...

Михѣичъ поднялъ голову. Лицо его было мрачно.

— Плохи... — пробормоталъ онъ.

— Да-а... Такъ какъ-же это?.. Деньги, вишь, пишутъ, больно нужны... Гм... Какъ не нужны деньги; кому они не нужны... А ты, знаешь... Ты, вотъ, ужъ годъ скоро въ пожарныхъ-то, жалованье получаешь... Что-жъ, посылалъ ты домой-то, а?..

— Посылалъ... Какъ-же не посылать!.. Одинъ разъ я три цѣлковыхъ послалъ по почтѣ, а тамъ съ оказіей двадцать рублевъ послалъ...

— Такъ какъ-же, братъ, это такъ? А она, женка-то твоя, пишетъ, что ни писемъ, ни денегъ отъ тебя не получала... Это что-жъ такое значитъ?

— И ума не приложу, грустно развелъ руками Михѣичъ.

— Тутъ что-то не ладно, братъ... На почтѣ деньги не могли затеряться, а если и затерялись, такъ тебѣ тамъ другіе выдадутъ... Квитанція-то почтовая у тебя есть?

— Есть.

— Ну, такъ вотъ и представь ее въ почтовое отдѣленіе; тамъ наведутъ справки: узнаютъ, получены-ли въ деревнѣ деньги... Ты какъ, на имя жены посылалъ?

— Никакъ нѣтъ, на волостное правленіе, писарю, съ передачей. Вотъ, видно, писарь-то и того... Я ему долженъ былъ, рубль сорокъ копѣекъ, такъ онъ, должно полагать, и воспользовался...

— Да какъ-же онъ смѣлъ! — возмутился Матвѣй Степанычъ.—Вѣдь это воровствомъ называется!.. Нѣтъ, это такъ нельзя оставлять, жаловаться надо!..

— Господь съ нимъ...

— Какъ такъ «Господь съ нимъ!» Что такое «Господь съ нимъ!..» Тебя обворовывать будутъ, а ты: «Господь съ нимъ!..» На что-же это похоже?..

Михѣичъ молчалъ.

— Ну, а другіе-то деньги? — продолжалъ брандмейстеръ. — Ты говорилъ, двадцать рублей, кажется?

— Такъ точно-съ.

— Съ оказіей ихъ послалъ, говоришь... Съ какой тамъ оказіей?

— Да мужичекъ здѣсь одинъ былъ изъ нашей деревни, такъ и я съ мужичкомъ съ этимъ.

— Ну-у?.. Укралъ, видно?..

— Сохрани Господи и помилуй!.. Мужикъ онъ вѣрный, Я его тридцать лѣтъ знаю...

— Такъ куда-жъ они, деньги-то, дѣвались?..

Но Михѣичъ только развелъ руками да покрутилъ головой.

— Нѣтъ, это, братъ, не того! — говорилъ брандмейстеръ и зашагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ. — Такъ, братъ, нельзя, землякъ! На что-же это похоже?.. Тамъ, у тебя въ деревнѣ, семья въ нуждѣ; ты самъ человѣкъ бѣдный... Ты деньги имъ кровные, трудовые свои посылаешь, — и деньги вдругъ пропадаютъ куда-то... Вѣдь, не сквозь землю же они провалились!.. А?.. Такъ, братъ, нельзя, Михѣевъ!..

Михѣичъ молчалъ, все также низко понуривъ голову. И онъ тоже думалъ, что «такъ нельзя», — и ума не могъ приложить: куда-же это, въ самомъ дѣлѣ, могли задѣваться деньги?.. Ну, тѣ три рубля, что по почтѣ посланы, — писарь себѣ прикарманилъ. Это ужъ вѣрно... Безсовѣстный!.. Ну, а двадцать-то рублей куда дѣвались? Егорычъ — мужикъ вѣрный, честный... Онъ не украдетъ... Что-жъ, можетъ, случилось тамъ что на дорогѣ съ нимъ?.. Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ... Быть можетъ, онъ заболѣлъ, въ больницѣ, можетъ, гдѣ-нибудь... А можетъ, и умеръ... Сохрани Богъ!.. Потъ даже выступилъ на морщинистомъ лбу Михѣича и сердце у него болѣзненно сжалось...

— А денегъ-то надо послать имъ, землякъ, надо! — заговорилъ вдругъ Матвѣй Степановичъ, останавливаясь передъ Михѣичемъ.

— Надо, уныло пробормоталъ тотъ.

— А денегъ-то у тебя нѣтъ?

— Есть, да только мало...

— А сколько?

— Рубль шестьдесятъ копѣекъ.

Матвѣй Степанычъ посвисталъ только.

— А женка-то твоя пишетъ, десять, по крайней мѣрѣ. — И онъ опять заходилъ по комнатѣ.

— Ты имъ пошлешь, — говорилъ онъ, — десять рублей пошлешь, деньги у тебя будутъ...

Михѣичъ вытаращилъ глаза.

— Вотъ видишь, въ чемъ дѣло, — говорилъ брандмейстеръ, опять останавливаясь передъ Михѣичемъ и взявъ его за пуговицу сѣрой куртки. — Я приказалъ старшому позвать тебя, во-первыхъ, затѣмъ, чтобъ передать письмо, а во-вторыхъ... Вотъ, скоро годъ ужъ, какъ ты въ пожарныхъ... Ни въ чемъ дурномъ я тебя не замѣтилъ... Ну, тамъ небрежность бывала, неаккуратность, — въ холодной за то сидѣлъ, а такъ, вообще, доволенъ, землякъ, спасибо!..

— Радъ стараться, молодцовато крикнулъ Михѣичъ, точно заправскій солдатъ, и его хмурое лицо вдругъ прояснилось; даже улыбка мелькнула на немъ.

— Ну да, старайся, старайся!.. Въ обозъ я тебя не пускалъ сначала, все думалъ, команду ты у меня острамишь, больно ужъ ты не казистъ, жиденькій, худенькій... Ну, какой-же, думаю, онъ пожарный!.. Однако теперь убѣдился... Вижу, что, братъ, и ты не хуже другихъ работаешь. Я наблюдалъ за тобою, присматривался... Вотъ, хоть-бы и вчера на пожарѣ...

— Радъ стараться, опять крикнулъ Михѣичъ и ужъ совсѣмъ весело.

— Ну да, вчера на пожарѣ... Работалъ ты хорошо, усердно, старательно... А на службѣ, землякъ, въ особенности на царской службѣ, труды никогда не пропадаютъ даромъ... Такъ вотъ... Время близится къ празднику: Свѣтлое Христово Воскресеніе скоро... Награду начальство рѣшило назначить пожарнымъ... Ну, разумѣется, по моему усмотрѣнію, — кто тамъ чего заслужилъ... Вотъ я и велѣлъ старшому позвать тебя, чтобъ выдать эту награду...

Матвѣй Степановичъ открылъ ящикъ письменнаго стола и вынулъ оттуда нѣсколько ассигнацій.

— На, получай, вотъ, пятнадцать рублей! — И онъ протянулъ Михѣичу три синихъ бумажки.

Михѣичъ оторопѣлъ даже отъ неожиданности.

Но Михѣичъ только развелъ руками да покрутилъ головой.

— Нѣтъ, это, братъ, не того! — говорилъ брандмейстеръ и зашагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ. — Такъ, братъ, нельзя, землякъ! На что-же это похоже?.. Тамъ, у тебя въ деревнѣ, семья въ нуждѣ; ты самъ человѣкъ бѣдный... Ты деньги имъ кровные, трудовые свои посылаешь, — и деньги вдругъ пропадаютъ куда-то... Вѣдь, не сквозь землю же они провалились!.. А?.. Такъ, братъ, нельзя, Михѣевъ!..

Михѣичъ молчалъ, все также низко понуривъ голову. И онъ тоже думалъ, что «такъ нельзя», — и ума не могъ приложить: куда-же это, въ самомъ дѣлѣ, могли задѣваться деньги?.. Ну, тѣ три рубля, что по почтѣ посланы, — писарь себѣ прикарманилъ. Это ужъ вѣрно... Безсовѣстный!.. Ну, а двадцать-то рублей куда дѣвались? Егорычъ — мужикъ вѣрный, честный... Онъ не украдетъ... Что-жъ, можетъ, случилось тамъ что на дорогѣ съ нимъ?.. Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ... Быть можетъ, онъ заболѣлъ, въ больницѣ, можетъ, гдѣ-нибудь... А можетъ, и умеръ... Сохрани Богъ!.. Потъ даже выступилъ на морщинистомъ лбу Михѣича и сердце у него болѣзненно сжалось...

— А денегъ-то надо послать имъ, землякъ, надо! — заговорилъ вдругъ Матвѣй Степановичъ, останавливаясь передъ Михѣичемъ.

— Надо, уныло пробормоталъ тотъ.

— А денегъ-то у тебя нѣтъ?

— Есть, да только мало...

— А сколько?

— Рубль шестьдесятъ копѣекъ.

Матвѣй Степанычъ посвисталъ только.

— А женка-то твоя пишетъ, десять, по крайней мѣрѣ. — И онъ опять заходилъ по комнатѣ.

— Ты имъ пошлешь, — говорилъ онъ, — десять рублей пошлешь, деньги у тебя будутъ...

Михѣичъ вытаращилъ глаза.

— Вотъ видишь, въ чемъ дѣло, — говорилъ брандмейстеръ, опять останавливаясь передъ Михѣичемъ и взявъ его за пуговицу сѣрой куртки. — Я приказалъ старшому позвать тебя, во-первыхъ, затѣмъ, чтобъ передать письмо, а во-вторыхъ... Вотъ, скоро годъ ужъ, какъ ты въ пожарныхъ... Ни въ чемъ дурномъ я тебя не замѣтилъ... Ну, тамъ небрежность бывала, неаккуратность, — въ холодной за то сидѣлъ, а такъ, вообще, доволенъ, землякъ, спасибо!..

— Радъ стараться, молодцовато крикнулъ Михѣичъ, точно заправскій солдатъ, и его хмурое лицо вдругъ прояснилось; даже улыбка мелькнула на немъ.

— Ну да, старайся, старайся!.. Въ обозъ я тебя не пускалъ сначала, все думалъ, команду ты у меня острамишь, больно ужъ ты не казистъ, жиденькій, худенькій... Ну, какой-же, думаю, онъ пожарный!.. Однако теперь убѣдился... Вижу, что, братъ, и ты не хуже другихъ работаешь. Я наблюдалъ за тобою, присматривался... Вотъ, хоть-бы и вчера на пожарѣ...

— Радъ стараться, опять крикнулъ Михѣичъ и ужъ совсѣмъ весело.

— Ну да, вчера на пожарѣ... Работалъ ты хорошо, усердно, старательно... А на службѣ, землякъ, въ особенности на царской службѣ, труды никогда не пропадаютъ даромъ... Такъ вотъ... Время близится къ празднику: Свѣтлое Христово Воскресеніе скоро... Награду начальство рѣшило назначить пожарнымъ... Ну, разумѣется, по моему усмотрѣнію, — кто тамъ чего заслужилъ... Вотъ я и велѣлъ старшому позвать тебя, чтобъ выдать эту награду...

Матвѣй Степановичъ открылъ ящикъ письменнаго стола и вынулъ оттуда нѣсколько ассигнацій.

— На, получай, вотъ, пятнадцать рублей! — И онъ протянулъ Михѣичу три синихъ бумажки.

Михѣичъ оторопѣлъ даже отъ неожиданности.

— Изъ нихъ десять рублей ты сегодня-же отошли въ деревню... Слышишь, сегодня-же! Да и квитанцію почтовую мнѣ принеси... А кстати, и ту захвати, старую-то, на три рубля... Я наведу справки...

— Ваше высокоблагородіе!

Слезы вдругъ брызнули изъ глазъ Михѣича, и онъ повалился въ ноги брандмейстеру.

— Вотъ этого я не люблю, землякъ, не люблю! — сердито заворчалъ тотъ. — Я, вѣдь, не Богъ, — Богу одному только кланяются... Сколько разъ говорилъ... Поднимайся!..

Михѣичъ всталъ.

— Ну, вотъ такъ... Руки по швамъ!.. Ладно!.. Теперь — на лѣво кругомъ маршъ!..

Михѣичъ, съ вытянутыми по швамъ руками, неуклюже повернулся «налѣво-кругомъ» и вышелъ изъ кабинета. Онъ ногъ подъ собою не слышалъ отъ радости.

V.

Наступила весна. Солнышко отогрѣло промерзлую землю, снѣгъ началъ таять, кой-гдѣ потекли ручейки. Дни, большею частью, стояли ясные, теплые и веселые... Великій постъ приближался къ концу; еще недѣлька — и Петербургскіе жители встрѣтятъ Свѣтлое Воскресенье... Въ церквахъ уныло перезванивали колокола, призывая народъ къ молитвѣ и покаянію... Погода была такъ тепла, что многіе замѣнили зимнюю одежду весенней и даже лѣтней. Только по вечерамъ иной разъ подмораживало и лужицы на улицѣ подергивались тонкимъ ледкомъ.

Вечеръ. Ярко горятъ фонари. Стрѣлки на думскихъ часахъ показываютъ половину десятаго. Вѣтряно, холодновато: прохожіе, въ лѣтнихъ пальто и бурнусахъ, начинаютъ даже поеживаться и прибавляютъ шагу.

Поеживается отъ холода и Михѣичъ и поплотнѣе закутывается въ шинель... Сегодня Михѣичъ дежурный на

каланчѣ. Онъ ходитъ кругомъ, изрѣдка останавливаясь у перилъ, и смотритъ по сторонамъ и туда, внизъ, на этотъ шумный и суетящійся городъ...

Михѣичу холодно, ему спать хочется. Вчерашнюю ночь онъ не уснулъ даже и получасу. Случился пожаръ въ ихъ части и онъ проработалъ тамъ до самаго утра. Михѣичъ то и дѣло зѣваетъ и креститъ ротъ. «Теперь ужъ не долго, — думаетъ онъ, — съ часикъ, поди, а нѣтъ и меньше, и смѣнятъ... И высплюсь-же я! Охъ, какъ я важно высплюсь!»

Скучно на этомъ одинокомъ дежурствѣ, на каланчѣ. Время тянется страшно медленно. Въ какой-нибудь часъ Михѣичъ Богъ знаетъ чего только не передумалъ! Три дня назадъ, былъ онъ на почтѣ, послалъ въ деревню десять рублей. И вотъ онъ думалъ, разсчитывалъ, когда это письмо дойдетъ (А дойти оно должно непремѣнно: Матвѣй Степанычъ его увѣрялъ въ этомъ). Выходило, что деньги Ирина получитъ какъ разъ къ празднику.

— «Хошь разговѣться-то будетъ чѣмъ, — думалъ Михѣичъ и даже весело потиралъ окоченѣвшія руки. — И ребятишки-то бѣдные... Хлѣба, пишетъ, не хватитъ... Извѣстно, не хватитъ, — гдѣ ужъ! Безъ хлѣба, поди, сидятъ!.. — Михѣичъ вздрогнулъ. — Ну, ладно, теперь поправятся, съ праздникомъ будутъ всѣ... Дай Богъ здоровья Матвѣю Степанычу!.. Ну, а тѣ-то двадцать рублей?.. — приходитъ ему опять въ голову. — Господи, двадцать рублей!.. Деньги, вѣдь это, какія деньги!.. Неужто въ самомъ дѣлѣ Егорычъ-то заболѣлъ гдѣ-нибудь на дорогѣ, въ больницѣ лежитъ? Сохрани, Господи, и помилуй!.. Деньги пропали, значитъ, а, вѣдь, на нихъ...» — И Михѣичъ разсчитываетъ, что можно сдѣлать на эти деньги. Оказывается, что не мало можно и лѣску прикупить, — избушку поправить, и недоимки четыре рубля заплатить писарю... («А, вѣдь, укралъ онъ три-то рубля!.. Чтобъ ему...»). И хлѣбца можно будетъ купить, да и еще, пожалуй, тамъ кой-что останется... А все-таки плохое ихъ житье...

И веселое настроеніе у Михѣича вдругъ пропадаетъ. Грустно ему, тяжело такъ становится... Ходитъ онъ взадъ и впередъ, смотритъ по сторонамъ, а самъ все думаетъ: «Да отчего-жъ это теперь скверно имъ всѣмъ живется? Вѣдь прежде куда лучше было!.. Была коровка, лошадка была, случалось, порой, и въ сундучишкѣ тамъ, въ узелкѣ, лежало рублишка два-три припрятанныхъ... Куда-жъ это все дѣвалось?.. И думаетъ все Михѣичъ, припоминаетъ... И приходитъ ему въ голову Федька Косой... — «Да, это онъ всему тутъ причиной!.. — рѣшаетъ Михѣичъ. — Послѣ того дѣла-то у насъ пошли все подъ гору; онъ разорилъ насъ!..» — И злоба, страшная злоба вдругъ закипаетъ въ душѣ у Михѣича... Будь, вотъ, теперь здѣсь этотъ злодѣй, онъ, не задумываясь, сбросилъ-бы его туда, внизъ, на камни, и руки-бы у него не дрогнули, — нѣтъ!

Михѣичъ рѣшилъ говѣть на послѣдней недѣлѣ. Матвѣй Степанычъ обѣщался освободить его. И вотъ ему пришла вдругъ въ голову мысль: «На исповѣдь вѣдь идти, надо простить всѣмъ, врагамъ простить; злобы ни на кого не питать въ сердцѣ... Такъ, вонъ, и батюшка говорилъ, отецъ Павелъ.

— «А грѣхъ, вѣдь, это, великій грѣхъ!» думалъ Михѣичъ и чувствовалъ въ то же время, что на сердцѣ у него такъ и кипитъ, такъ и кипитъ...

Михѣичъ вздрогнулъ и пристально сталъ глядѣть въ даль... Что это тамъ, — никакъ пламя выкинуло? Аль показалось только? Нѣтъ, пламя... Вонъ, все сильнѣй и сильнѣй... Разгорается... Дымъ цѣлымъ облакомъ поднимается кверху... Пожаръ, и пожаръ сильный...

И Михѣичъ дернулъ за веревку звонка...

Во весь карьеръ летѣла команда къ мѣсту пожара. Впереди скакалъ верховой, за нимъ мчалась линейка, запряженная четверкою рьяныхъ коней; на ней сидѣло человѣкъ двадцать пожарныхъ, съ брандмейстеромъ Матвѣемъ Степановичемъ во главѣ. Тутъ-же между ними сидѣлъ и Ми-

хѣичъ, во всей формѣ, какъ слѣдуетъ, въ мѣдной, блестящей каскѣ. За линейкой катилась паровая машина, скакали бочки съ водой и насосами, длинныя дроги, съ лѣстницами, крюками и баграми.

Пожаръ былъ въ полномъ разгарѣ и на немъ ужъ давно хлопотала команда ближайшей части. Работы было довольно. Горѣлъ громадный пятиэтажный каменный домъ. Началось съ нижняго этажа, съ помѣщавшейся въ немъ портерной, и пламя, подвигаясь и все усиливаясь, поднималось все выше и выше. Вотъ два окна третьяго этажа, еще сейчасъ мрачныя, темныя, — вдругъ освѣтились... Струя воды изъ насоса разбила стекла, изъ-за нихъ вырвались языки пламени, повалилъ густой, черный дымъ... Пожарные хлопотали и суетились. Они успѣли уже закоптѣть и были мокры и отъ воды и отъ пота... Пріѣхалъ и главный начальникъ ихъ, брантъ-маіоръ, пріѣхалъ Градоначальникъ... Толпа праздныхъ зѣвакъ запрудила всю улицу и, разумѣется, только мѣшала пожарнымъ. Полиція изъ силъ выбилась, побуждая народъ разойтись, или хотя податься немного въ сторону...

Лошади нетерпѣливо ржали и били землю копытами, позвякивая звонками, пожарные ихъ сдерживали съ трудомъ. Слышались крики команды, шумъ и гулъ все болѣе и болѣе усиливающагося пламени, трескъ обрушивающихся потолковъ, звонъ разбиваемыхъ стеколъ... Толпа подалась немного назадъ: становилось жарко... Пламя вырывалось изъ оконъ; летѣли искры цѣлыми тучами, и дымъ, — ѣдкій, густой дымъ, отъ котораго кашляли и протирали глаза даже привыкшіе къ нему пожарные...

Градоначальникъ подозвалъ къ себѣ брандъ-маіора.

Все-ли благополучно? — спросилъ онъ. — Нѣтъ-ли погибшихъ?

— Нѣтъ, кажется, ваше превосходительство, — отвѣчалъ тотъ, прикладывая руку къ каскѣ. — Брандмейстеръ

Мироновъ,— онъ первый явился сюда,—сейчасъ доложилъ мнѣ, что спаслись всѣ... Развѣ тамъ гдѣ-нибудь...

— То-то! А вы ужъ, пожалуйста, постарайтесь, похлопочите. Видите, какъ тамъ... — Генералъ указалъ на цѣлое море пламени.

— Все, что могу, ваше превосходительство.

И брантъ-маіоръ опять приложилъ руку къ каскѣ.

— Ну, братъ, ребята, не выдавай! — обратился къ своей командѣ Матвѣй Степановичъ. — Работы будетъ довольно!

— Рады стараться, дружно отвѣчали пожарные.

— То-то, смотри у меня!.. Ну, за мной!

И брандмейстеръ, какъ всегда, бросился въ самое опасное мѣсто съ пылающимъ факеломъ въ одной рукѣ, съ ломомъ — въ другой. Пожарные послѣдовали за нимъ.

Извѣстіе, что всѣ спаслись, оказалось невѣрнымъ. Въ толпѣ народа, запрудившаго улицу, говорили, что между спасшимися изъ квартиръ жильцами (иные выскочили только въ одномъ бѣльѣ и все имущество оставили на произволъ пламени), не хватаетъ одного: хозяина мелочной лавки Кондратьева. Онъ жилъ въ четвертомъ этажѣ, съ семействомъ. Жена его, съ двумя ребятишками, при первой тревогѣ, успѣла собрать пожитки и спастись (и съ ребятишками и съ сундуками), а мужъ остался въ спальнѣ...

— Все съ сундучкомъ онъ возился, — разсказывала она. — Къ полу онъ, сундучекъ-то, привинченъ, деньги въ немъ... Сейчасъ, говоритъ, я, вотъ, сію минуту... Торопится, руки дрожатъ... Господи, что-же онъ! — крикнула въ отчаяніи женщина. — Что онъ тамъ!.. Бросилъ-бы ужъ все, — Богъ съ ними и съ деньгами!.. Того и гляди, до нашей квартиры огонь дойдетъ... Ахъ! — закричала она вдругъ не своимъ голосомъ и заломила надъ головою руки. — Спасите его!.. Спасите его, православные!..

Три крайнихъ окна четвертаго этажа вдругъ освѣтились. Огонь, должно быть, добрался и до квартиры лавочника... Да... Вонъ, лопнули стекла въ одномъ окнѣ, и

то туда повалилъ дымъ, блеснули красные языки пламени... И вдругъ толпа замерла... Откуда-то сверху раздался громкій, надрывающій душу вопль...

— Онъ это!.. Онъ, Федоръ!.. Господи! — крикнула женщина и, какъ пластъ, рухнулась на земь.

— Туда и дорога ему, мошеннику! — проворчалъ кто-то въ толпѣ. — Обвѣшивалъ да обсчитывалъ косой дьяволъ!.

Косой дьяволъ!.. Михѣичъ вздрогнулъ... Такъ это онъ, Федька-лавочникъ, Федька Косой, врагъ его лютый... А-а!.. И вотъ теперь онъ въ дыму, въ огнѣ, задыхается...

Опять послышался вопль, но только теперь глухой какой-то, подавленный... Михѣичъ глянулъ на верхъ. Пожаръ бушевалъ въ трехъ этажахъ. Пламя выметало почти изъ всѣхъ оконъ; лѣстницу даже опасно поставить теперь, — сгоритъ пожалуй... Ну, а если поставить?.. Богъ милостивъ; можетъ быть, удастся... Чудо вдругъ сталось съ Михѣичемъ!.. Точно какая-то, непоборимая сила вдругъ потянула его на верхъ — туда, къ Федькѣ Косому...

— Да ты ошалѣлъ никакъ! говорилъ Сенька. — Что ты — о двухъ головахъ, что-ли?!

Но Михѣичъ молчалъ и съ трудомъ, при помощи еще двухъ пожарныхъ, прилаживалъ лѣстницу къ окну четвертаго этажа.

— Ты это куда-же, землякъ? Туда, а? — спрашивалъ Матвѣй Степановичъ.

— Такъ точно-съ...

— И ты... не боишься?

— Богъ милостивъ... Никакъ нѣтъ...

— Молодецъ! Съ Богомъ!..

Толпа только ахнула и съ напряженнымъ вниманіемъ, съ замирающимъ сердцемъ стала смотрѣть, какъ Михѣичъ полѣзъ по лѣстницѣ въ четвертый этажъ, окруженный со всѣхъ сторонъ пламенемъ и обливаемый водою изъ пожарныхъ насосовъ... Вотъ, наконецъ, онъ добрался и до окна и исчезъ въ дыму...

— Пиши пропало, — пробормоталъ кто-то. — Не выйдетъ!..

— Царство небесное, вѣчный покой!.. — шептала какая-то ветхая старушка въ толпѣ и перекрестилась дрожащей рукою. Даже пожарные «сомнѣвались» и отъ души жалѣли Михѣича, считая его погибшимъ. Они успѣли уже привыкнуть къ нему и полюбили его. Одинъ только брандмейстеръ Матвѣй Степановичъ не терялъ надежды. Онъ не спускалъ глазъ съ окна четвертаго этажа, откуда валилъ дымъ и вылетали языки пламени, и сердце его билось сильнѣе.

Михѣичъ благополучно долѣзъ до окна и очутился въ какой-то наполненной дымомъ комнатѣ. Ему было жарко; потъ въ три ручья лился по его тѣлу; дымъ ѣлъ глаза, забирался въ горло... Михѣичъ съ трудомъ дышалъ...

— Федоръ! — крикнулъ онъ хриплымъ голосомъ. — Эй, гдѣ ты, Федоръ?..

Отвѣта не было.

Онъ ощупью сталъ подвигаться впередъ. Вотъ онъ наткнулся на стѣну какую-то и больно ушибъ себѣ голову, вотъ онъ нащупалъ дверь, отворилъ ее... Пламя ударило ему чуть не въ лицо... Михѣичъ на минуту отпрянулъ... Но вотъ онъ перекрестился и ринулся почти въ самый огонь... И вдругъ онъ наткнулся на что-то, едва не упалъ... Да это, вѣдь, человѣкъ, никакъ... Да, онъ Федька, но только безъ всякихъ признаковъ жизни... Михѣичъ съ трудомъ поднялъ тѣло, взвалилъ его на плечи и двинулся назадъ...

Господи, что-же это такое!.. Михѣичъ вдругъ стиснулъ зубы отъ страшной палящей боли и застоналъ... Точно вдругъ молоты застучали у него въ головѣ; въ глазахъ закружилось все, завертѣлось, а боль все сильнѣй и сильнѣй... Съ трудомъ подвигался онъ, сгибаясь подъ тяжестью ноши... Господи, какъ тяжело... какъ больно... какъ душно...

— Пиши пропало, — пробормоталъ кто-то. — Не выйдетъ!..

— Царство небесное, вѣчный покой!.. — шептала какая-то ветхая старушка въ толпѣ и перекрестилась дрожащей рукою. Даже пожарные «сомнѣвались» и отъ души жалѣли Михѣича, считая его погибшимъ. Они успѣли уже привыкнуть къ нему и полюбили его. Одинъ только брандмейстеръ Матвѣй Степановичъ не терялъ надежды. Онъ не спускалъ глазъ съ окна четвертаго этажа, откуда валилъ дымъ и вылетали языки пламени, и сердце его билось сильнѣе.

Михѣичъ благополучно долѣзъ до окна и очутился въ какой-то наполненной дымомъ комнатѣ. Ему было жарко; потъ въ три ручья лился по его тѣлу; дымъ ѣлъ глаза, забирался въ горло... Михѣичъ съ трудомъ дышалъ...

— Федоръ! — крикнулъ онъ хриплымъ голосомъ. — Эй, гдѣ ты, Федоръ?..

Отвѣта не было.

Онъ ощупью сталъ подвигаться впередъ. Вотъ онъ наткнулся на стѣну какую-то и больно ушибъ себѣ голову, вотъ онъ нащупалъ дверь, отворилъ ее... Пламя ударило ему чуть не въ лицо... Михѣичъ на минуту отпрянулъ... Но вотъ онъ перекрестился и ринулся почти въ самый огонь... И вдругъ онъ наткнулся на что-то, едва не упалъ... Да это, вѣдь, человѣкъ, никакъ... Да, онъ Федька, но только безъ всякихъ признаковъ жизни... Михѣичъ съ трудомъ поднялъ тѣло, взвалилъ его на плечи и двинулся назадъ...

Господи, что-же это такое!.. Михѣичъ вдругъ стиснулъ зубы отъ страшной палящей боли и застоналъ... Точно вдругъ молоты застучали у него въ головѣ; въ глазахъ закружилось все, завертѣлось, а боль все сильнѣй и сильнѣй... Съ трудомъ подвигался онъ, сгибаясь подъ тяжестью ноши... Господи, какъ тяжело... какъ больно... какъ душно...

— Ура!.. — грянуло тамъ, внизу. Въ окнѣ четвертаго этажа, среди дыма и пламени, показался Михѣичъ. Онъ держалъ на плечахъ кого-то, а самъ шатался изъ стороны въ сторону... Руки его судорожно хватались за подоконники... Еще минута — и, безъ всякой команды и распоряженія, по дымящейся лѣстницѣ въ четвертый этажъ полѣзли человѣкъ пять пожарныхъ... Они добрались до Михѣича, схватили его и схватили спасеннаго имъ человѣка...

— Доктора!.. Доктора поскорѣе!.. — кричалъ Матвѣй Степановичъ.

Докторъ нашелся мигомъ. Но, впрочемъ, и безъ него всѣ убѣдились, что оба спасенные были плохи. Федоръ порядочно обгорѣлъ; его не скоро привели въ чувство. Михѣичъ... Но о Михѣичѣ и говорить нечего... На тѣлѣ у него не было мѣста живаго: — обжоги и обжоги все сплошь. Докторъ внимательно осмотрѣлъ его и покачалъ головою.

VI.

Матвѣй Степановичъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ грустный, задумчивый. Только что принесли почту, и между разными казенными письмами и пакетами ему попался карявый конвертикъ съ адресомъ: «Въ С.-Петербургъ, въ такую-то часть, пожарному Мирону Михѣеву». Матвѣй Степановичъ долго вертѣлъ въ рукахъ этотъ конвертикъ, все не рѣшаясь его распечатать. На сердцѣ у него точно камень лежалъ какой-то... Но вотъ онъ сломалъ печать и сталъ съ трудомъ разбирать каракули:

«Любезному моему супругу Мирону Михѣичу шлю низкій поклонъ... (Брандмейстеръ пропустилъ нѣсколько строчекъ, въ которыхъ передавались привѣтствія многочисленныхъ родныхъ и знакомыхъ). — А деньги, что ты послалъ мнѣ съ Иваномъ Егоровичемъ (писала дальше Ирина), двад-

цать рублей, я получила, и, Господи, какъ я обрадовалась!.. А Егоровичъ, какъ ѣхалъ изъ Петербурга съ обозомъ,—горячку схватилъ: мятели стояли въ ту пору страшныя, и верстъ по пяти ему приходилось брести въ снѣгу по колѣно,—и простудился. Въ Новгородѣ онъ чуть не мѣсяцъ провалялся въ больницѣ. Исхудалъ страсть какъ,—еле его признали. И деньги мнѣ отдалъ, двадцать рублей. И десять рублей, что къ Пасхѣ ты мнѣ послалъ, я получила тоже. Спасибо тебѣ, Михѣичъ, большое спасибо!.. Да наградитъ тебя Матушка Царица Небесная за твою доброту!.. Купила лѣску я на три рубля, починить избенку, и недоимку внесла всю, полностью,— четыре рубля; да хлѣбца еще прикупила у Анкудина Петровича на два съ полтиной... (Матвѣй Степановичъ пропустилъ еще двѣ-три строчки). А я все скучаю, Миронъ Михѣичъ; больно что-то стала скучать; сердце вотъ такъ и ноетъ и ноетъ. Ужь не случилось-ли что съ тобой, мой родной? Здоровъ-ли ты? Служба-то твоя, вѣдь, такая,—сохрани Господи и помилуй!.. Давно я тебя не видала, кормилецъ... Лѣтомъ-то, можетъ, а не то осенью, самъ не пріѣдешь-ли къ намъ, родной?.. Больно ужь я истосковалась, изныла. Дѣтки скучаютъ...»

Матвѣй Степановичъ бросилъ недочитанное письмо. На длинный съ просѣдью усъ его что-то упало, не то слеза, не то капля пота.

— Тьфу ты, дуракъ какой!—крикнулъ онъ, вскочилъ и зашагалъ по комнатѣ.—Да что я баба старая, что-ли?..

И онъ долго ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, выкуривая папиросу за папиросой... Но вотъ онъ остановился передъ окномъ, глянулъ на улицу.. Время было весеннее; Пасха уже прошла; прошла и Ѳоминая недѣля; въ воздухѣ пахло весной; на березахъ ужь стали развертываться молодые листочки... Но сегодня погода выдалась пасмурная какая-то, точно осенняя. По небу катились сѣрыя облачки; накрапывалъ мелкій дождикъ... Матвѣй Степановичъ глядѣлъ

на улицу и нервно крутилъ усы... Проѣхалъ извозчикъ на заморенной лошадкѣ; мальчишка изъ мелочной лавки прошелъ подъ самыми окнами, съ огромною корзиной на головѣ; тамъ, на углу, показались дроги, на нихъ простой деревянный гробъ, накрытый ветхимъ покровомъ; за гробомъ плелась старушка въ салопчикѣ, съ заплаканными глазами... Матвѣй Степановичъ отвернулся и шмыгнулъ рукавомъ по глазамъ... И вдругъ, Богъ вѣсть почему, припомнилось ему это недавнее прошлое и предстала передъ его глазами страшная картина... Онъ видитъ длинную, мрачную комнату, тускло освѣщенную лампой на потолкѣ... Койки; на нихъ, подъ байковыми одѣялами, лежатъ больные... На стулѣ, ближе къ дверямъ, виднѣется фигура сидѣлки въ бѣломъ чепцѣ и передникѣ. Старуха дремлетъ; вязанье скатилось у нея съ колѣнъ... Тамъ, за стѣной, гдѣ-то, глухо стучатъ часы, а здѣсь—тяжелое, порою хриплое дыханье больныхъ и стоны, стоны и стоны... Иной замечется вдругъ во снѣ, сброситъ на полъ одѣяло и сядетъ на койкѣ, озираясь по сторонамъ лихорадочно сверкающими глазами, а самъ все бормочетъ, бормочетъ... И этотъ бредъ, бормотанье—слышатся почти въ каждомъ углу. Порой, это — звуки, безсмысленные, пустые, ничего собою не выражающіе; порою—исповѣдь наболѣвшаго сердца, исповѣдь горя, страданій...

Матвѣй Степановичъ и до сихъ поръ не можетъ забыть этого бреда и стона. Не слабый онъ человѣкъ, а вспомнитъ—и мурашки забѣгаютъ у него по спинѣ.

А вотъ на одной изъ коекъ лежитъ больной. Изъ-подъ одѣяла виднѣется голова съ коротко остриженными волосами, съ обложеннымъ ватой лицомъ. Свободны только глаза и ротъ. Больной лежитъ на спинѣ, въ лихарадочномъ жару, бредитъ... Порой при малѣйшемъ желаніи повернуться, пошевелить рукой или ногой, онъ испускаетъ жалобный стонъ. Все тѣло его покрыто обжогами—язвами, пузырями.

И стонетъ, стонетъ больной,—и сердце Матвѣя Степановича такъ и болитъ, надрывается... Онъ не спускаетъ съ больного глазъ и чувствуетъ какъ слезы подступаютъ у него къ горлу и душатъ его.

Да, вотъ ужь четвертыя сутки лежитъ Михѣичъ въ больницѣ и терпитъ страшныя муки. Матвѣй Степановичъ просилъ, умолялъ доктора (старый знакомый) все сдѣлать, все, что только возможно. И докторъ обѣщалъ, но не давалъ почти никакой надежды: обжоги были слишкомъ сильны... Матвѣй Степановичъ сидитъ въ ногахъ у больного и съ замирающимъ сердцемъ, съ затуманенными отъ слезъ глазами прислушивается къ его бреду. И чего-чего только не говорилъ Михѣичъ! Онъ вспоминалъ жену, дѣтей, звалъ ихъ къ себѣ жалобнымъ голосомъ, вспоминалъ Федьку Косого какого-то; съ ужасомъ вспоминалъ тюрьму. «Богъ вѣсть, съ чего ему тюрьма представляется!—думалъ Матвѣй Степановичъ. — Неужто онъ сидѣлъ въ ней когда? Быть не можетъ!» И горько плакалъ, рыдалъ Михѣичъ въ бреду.

— Буреночка... Савраска...—безсвязно бормоталъ онъ.— Федоръ... Побойся ты Бога, Господь съ тобою!.. Вѣдь ты семью разоряешь!..

И Матвѣй Степановичъ не замѣчалъ,—не до того ему было,—какъ на другой сторонѣ поднялся въ койкѣ больной, блѣдный, какъ полотно, и тоже съ ужасомъ прислушивался къ бреду Михѣича... И если-бы только зналъ Михѣичъ, что было въ душѣ у того больнаго, еслибы онъ зналъ, какая змѣя заползла ему въ сердце и какъ она грызла, терзала его,—о, онъ вздохнулъ-бы свободнѣе и, можетъ быть, съ болѣе легкимъ сердцемъ перешелъ бы въ другой міръ!..

Но Михѣичъ не зналъ ничего, не зналъ, что его лютый врагъ, Федька Косой, за котораго онъ умираетъ,—лежитъ въ пяти шагахъ отъ него и мучается, можетъ быть, больше, чѣмъ онъ...

. . . . . .

— Матвѣй Степановичъ! Самоваръ поданъ; иди чай пить!—послышался въ сосѣдней комнатѣ женскій голосъ.

Брандмейстеръ вздогнулъ и опять шмыгнулъ рукавомъ по глазамъ...

Послѣдній двугривенный.

абушка Степанида набожно перекрестилась на почернѣлую икону и присѣла къ столу поужинать.

Ужинъ былъ незатѣйливый: кислый квасокъ въ деревянной крашеной чашкѣ, хлѣба краюшка да головки три луку. Но бабушка изо всего этого состряпала превосходную тюрю и съѣла ее, что называется, всласть...

Ветхій-преветхій домикъ бабушки Степаниды въ эту ночь особенно сильно потрескивалъ. Да оно и не мудрено. Во-первыхъ, онъ былъ куда старѣе самой старушки: въ немъ жилъ еще ея дѣдъ; а во-вторыхъ, на улицѣ былъ изрядный морозецъ... Сквозь занесенныя снѣгомъ стекла окна пробивались мѣсячные лучи и освѣщали прегрязный, грязный, Богъ вѣсть ужь когда мытый, полъ... Да въ кою-же пору его было и мыть старушкѣ? — Вѣдь бабушка Степанида съ самаго утра да вплоть до вечера все трудится, трудится... Надо-же зарабатывать пропитаніе... Старыя руки ея, съ дрожащими, искривленными пальцами, съ утра до вечера тянутъ длинную, тонкую нитку... Тонкую — да, но не совсѣмъ ровную. Плохо видятъ глаза, и пряжа бабушки Степаниды, если и не совсѣмъ бракуется скупщиками, то покупается за гроши, и то въ уваженіе бѣдности да нищеты старушки...

Другой источникъ дохода бабушки Степаниды — двѣ курочки: черненькая, да хохлушка. Случается иной разъ онѣ выручаютъ ее, а ужь особенно къ Пасхѣ... Накопитъ бабушка яицъ десятка четыре — пять, да и продастъ ихъ въ городъ вдвое дороже обыкновеннаго: тамъ къ Пасхѣ яица дорожаютъ...

Но какъ ни трудится, какъ ни хлопочетъ старушка, а все-таки зачастую приходится ей сидѣть впроголодь... Старость ее совсѣмъ одолѣла, дряхлость: ноетъ спина, ноетъ грудь; руки, ноги болятъ, всѣ кости ноютъ... Какой ужь тутъ трудъ! какой заработокъ!..

— Да ты-бы, бабушка, по міру, что-ли ходила, — посовѣтовала ей какъ-то сосѣдка Феклуша. — Право!.. У насъ-то, положимъ, прибытокъ тебѣ небольшой будетъ: самимъ, порой, тоже ѣсть нечего... А вотъ въ городѣ...

Бабушка Степанида въ отвѣтъ на это только закашлялась, затряслась, замахала руками. Она хотѣла что-то сказать и не могла. Кашель душилъ ее... Насилу отдышалась старушка...

— Тьфу, ты!.. — плюнула вдругъ она. — Да ты никакъ ошалѣла!.. По міру! Я-то по міру?.. Господи, Царь небесный!.. Да я лучше съ голоду поколѣю, тутъ вотъ, сейчасъ-же, на этомъ мѣстѣ, а руку не буду протягивать... Н-нѣтъ!..

И долго еще волновалась старушка, кряхтѣла, охала, кашляла; впалая грудь ея такъ и тряслась и дрожала отъ этого кашля...

— По міру!.. Я-то по міру!.. — все повторяла она. — Да сохрани меня, Господь, и помилуй!..

Итакъ бабушка Степанида поужинала, чѣмъ Богъ послалъ, и, охая и кряхтя, забралась на печку. Но она не сразу еще уснула, — нѣтъ. Ея мысли заняты были разсчетомъ... Сегодня съѣла она за ужиномъ послѣдній кусочекъ хлѣба; на завтра не оставалось у нея ни крохи... Лукъ есть еще, правда, — головокъ пять-шесть осталось, — да вѣдь однимъ лукомъ не будешь сыта... А хлѣбца надо

добыть... Какъ-же? — Да вотъ, есть у нея еще восемь яичекъ... Завтра она ихъ снесетъ въ городъ, продастъ... Десятокъ она въ прошлый разъ продала за двѣнадцать копѣекъ... Почемъ-же теперь яйцо придется, и сколько она выручитъ за восемь штукъ?.. — Выходило, какъ-будто, по полторы копѣйки... Да такъ-ли, полно, по полторы-ли?.. — Ну, а если по полторы, такъ сколько за восемь будетъ?.. — И долго еще считала старушка, да такъ и не могла сосчитать — уснула...

Но продать яички бабушкѣ Степанидѣ не удалось, и по очень простой причинѣ. Ночью случился пожаръ въ деревнѣ, и бабушку еле вытащили изъ огня... Старуха успѣла еще захватить верхній, пестрядинный сарафанишко, который она носила лѣтъ двадцать, если не больше... Ну, а прочее: и избушка, и курочка, и яички — все погорѣло.

На первое время бабушка Степанида какъ будто одурѣла. Она даже не охала, не стонала, а только молча глядѣла на кучу догорающихъ углей да качала дряхлой, сѣдой головой... Но вотъ она вдругъ схватилась за подолъ своего ветхаго сарафанишка ощупала что-то тамъ и успокоилась... Хорошо еще, что никто изъ ея земляковъ не замѣтилъ этой продѣлки, — а то какъ разъ-бы явилась мысль, что у бабушки Степаниды капиталъ зашитъ въ сарафанѣ... Господи, сколько бы толковъ было объ этомъ! Вѣдь у многихъ, что называется, ни кола не осталось: выскочили въ однѣхъ рубашкахъ изъ пламени...

А не ошиблись, право-бы не ошиблись, если-бы явилась такая мысль!.. У бабушки Степаниды точно былъ капиталъ, хоть небольшой, правда, но, все-же, по ея мнѣнію, и не маленькій. Его могло-бы хватить, если и не на гробъ, то хоть на свѣчи ко гробу... Въ подолѣ старушкина сарафана зашитъ былъ... двугривенный, еще николаевскаго чекана, и этотъ двугривенный, спрятанный тридцать пять лѣтъ назадъ, бабушка рѣшила не тратить ни въ какомъ случаѣ...

И она не истратила-бы его, но теперь дѣла измѣнились. Не вѣкъ же вѣдь горевать о потерѣ избушки и всего заключавшагося въ ней имущества: прялки, двухъ курочекъ и восьми яичекъ... Надо вѣдь и о томъ подумать, какъ дальше жить... — И вотъ старушка задумала дѣльце одно, и дѣльце, по ея мнѣнію, далеко не безвыгодное... Ни слова не говоря землякамъ она въ то же утро отправилась въ городъ, до котораго отъ ихъ деревни было версты четыре, не больше.

— Яблоки нонѣ дешевы, въ городѣ-то! разсуждала бабушка Степанида, довольно бодро шагая по занесенной снѣгомъ дорогѣ. — По три копѣйки десятокъ можно купить... Куплю я теперь, примѣрно, четыре десятка. Пять, будемъ такъ говорить... Значитъ, пятнадцать копѣекъ... Корзинка... Ну, ту за копѣйку можно, а много ужь за двѣ... Пятнадцать да двѣ — семнадцать... Еще три копѣйки останется... А это вѣдь хлѣба два фунта!.. И бабушка Степанида замѣтно повеселѣла. — Къ барынѣ если теперь къ этой носить, разсуждала опять она, — ну, какъ ее... Дѣтокъ у нея никакъ шестеро... Будетъ брать безпремѣнно... Потомъ къ Андреевымъ еще да къ попу, — тамъ тоже куча ребятъ.. Въ день-то, глядишь, всѣ разойдутся... И если теперь по пяти... ну, по четыре копѣйки десятокъ... Такъ цѣлый пятакъ въ барышахъ будетъ!.. — И бабушка Степанида вдругъ засмѣялась даже сухимъ, дребезжащимъ смѣхомъ и зажевала беззубыми деснами.

Яблоки были, дѣйствительно, дешевы. Оптомъ ихъ продавали копѣйки по двѣ десятокъ; ну, а въ розницу, — какъ тамъ ни билась, ни торговалась старушка, никакъ дешевле четырехъ копѣекъ не отдавали. Бабушка Степанида задумалась. Это совсѣмъ измѣняло ея разсчеты... Прицѣнивалась она и къ корзинкѣ... Хоть тресни, дешевле трехъ копѣекъ не отдаютъ!..

— Голубчикъ ты мой, родимый! — говорила бабушка Степанида торговцу, подслѣповатому парню, съ глупымъ

лицомъ. — Да вся то цѣна ей — копѣйка... Ну, много ужь полторы.

Но «голубчикъ» только глазами хлопалъ.

— Ну, двѣ ужь, — куда ни шло!

— Поди, купи за двѣ...

И бабушка Степанида, тряхнувъ головой, готовилась ужь было отдать три копѣйки, какъ вдругъ сзади нея послышался дѣтскій крикъ, и затѣмъ надрывающій душу плачъ. Она обернулась.

Дѣло было простое, обыкновенное: мальчикъ лѣтъ десяти, чумазый, грязный, оборванный, стоялъ надъ разбитой бутылкой съ масломъ и горько рыдалъ... Вокругъ него собралась порядочная толпа. Иные подсмѣивались, иные выказывали сожалѣніе.

— Ловко!.. — хихикалъ какой-то парень. Бацнулся, и попалъ въ масло!.. А нут-ка, еще разокъ!..

— Полно! чего зубы-то скалить!..

— Что-ль горе какое? — сочувственно говорилъ толстый лабазникъ. — Какъ быть-то? Хозяинъ-то вѣдь прибьетъ. поди?..

Мальчикъ не отвѣчалъ, но зарыдалъ еще пуще...

— Д-да!.. Осторожнѣе надо, парень...

— Что-жъ дѣлать! — вздохнулъ лабазникъ и отошелъ.

Бабушка Степанида тоже пробилась черезъ толпу и подошла къ мальчугану.

— Больно прибьетъ-то? А?.. — спросила она.

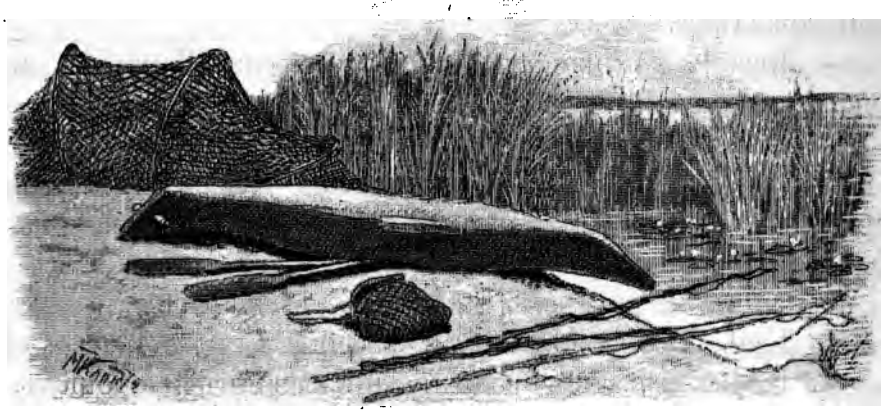
— Ужь лучше и не говори, бабушка!.. простоналъ мальчикъ. — Живаго въ землю зароетъ!.. Ты посмотри-ка вотъ... Это за то, что я вчера уголья на полъ просыпалъ... — Вотъ, — заворотивъ воротъ изодраннаго халатишка и обнаживъ худенькое плечо, все въ синякахъ и багровыхъ пятнахъ, продолжалъ онъ: мнѣ лучше теперь и домой не показываться... масла-то вѣдь тутъ на 15 копѣекъ..

— А ты купи, парень... купи масла-то...

— Да на что?...

— А вотъ натко-сь, возьми... Пускай его, аспидъ, лопаетъ!.. Пусть не калѣчитъ ребенка!.. — И двугривенный николаевскаго чекана перешелъ въ грязную руку мальчика. Тотъ совсѣмъ ошалѣлъ даже ротъ разинулъ...

И бабушка Степанида осталась безъ яблоковъ.



Норвежскій лоцманъ.

емная, бурная ночь... Часты такія ночи въ Норвегіи. Съ дикимъ воемъ и стономъ носится вѣтеръ по склону горъ, покрытыхъ дремучимъ сосновымъ лѣсомъ, чуть не къ землѣ пригибая вѣковыя деревья; съ дикимъ воемъ и стономъ носится онъ по ущельямъ, вздымая снѣгъ цѣлыми тучами. Да, страшно, холодно и темно... Тамъ, на верху, на небѣ такъ же почти ничего не видно, какъ и здѣсь, въ горахъ. Изрѣдка развѣ выглянетъ изъ-за темныхъ тучъ блѣдный серпъ мѣсяца и, освѣтивъ на мигъ величественную картину, опять скроется. Вотъ освѣтилъ онъ страшно громадныя, съ виду совсѣмъ неприступныя скалы, покрытыя снѣгомъ и льдомъ; освѣтилъ онъ ущелья, заросшія хвойнымъ лѣсомъ, съ быстро бѣгущими по камнямъ и никогда не мерзнущими потоками; освѣтилъ море... О, какъ оно страшно бушуетъ!.. Съ какимъ дикимъ воемъ и стономъ бьютъ его волны о скалы фіордовъ, ищутъ простора, хотятъ сокрушить ихъ, низвергнуть!.. Но крѣпко и твердо стоятъ гиганты, — не дрогнутъ; стоятъ, какъ стояли они, быть можетъ, и сотни, и тысячи лѣтъ тому назадъ... И злится и воетъ въ безсильной ярости вѣтеръ, и злится и воетъ море, и стонетъ и плачетъ оно...

Но что это тамъ, въ горахъ, между деревьями: точно блеснулъ огонекъ? Да... маленькій домикъ, бревенчатый, съ красною черепичною кровлей, крѣпко прижался къ скалѣ. Съ одной стороны его окружили деревья, — могучія сосны; съ другой — его защищаетъ утесъ... И вотъ ужь давно, давно, лѣтъ сорокъ, если не больше, стоитъ этотъ домикъ, все также твердо и крѣпко, выглядывая однимъ оконцемъ на море. Не мало сломила буря деревьевъ въ лѣсу въ эти годы; не мало погибло въ морѣ судовъ, а домикъ стоитъ да стоитъ подъ крѣпкой и надежной защитой...

Въ каминѣ ярко пылаетъ огонь... И еще бы! Вонъ сколько дровъ подложила въ него молодая красивая женщина!.. Вспыхнуло съ трескомъ полѣно и освѣтило лицо ея, смуглое, съ здоровымъ румянцемъ, склоненное надъ огнемъ; черная прядь волосъ выбилась изъ-подъ чепчика...

Статный, высокій мужчина, лѣтъ за 40, въ кожаной курткѣ, нервно ходитъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Онъ то остановится у окна и долго, долго глядитъ въ непроглядную темноту ночи, то подойдетъ къ дѣтской кроваткѣ и взглянетъ на полное, круглое личико мальчика, лѣтъ 6, выглядывающее изъ-подъ одѣяльца... Комнатка очень бѣдна, но очень чиста и опрятна. Нигдѣ ни пылинки. Съ тесовыхъ, некрашенныхъ стѣнъ глядятъ кой-гдѣ недурныя гравюры библейскаго содержанія; глядятъ пять-шесть фотографій. Все больше родные виды: вонъ Христіанія, Бергенъ, Дронтгеймъ... Мужчина остановился передъ каминомъ.

— Ну, ладно, Христина, будетъ! — говоритъ онъ. — Теперь ужь совсѣмъ тепло!.. Да и свѣтло... даже очень... Смотри-ка, какъ щурится г. Ганзенъ: огонь ему мѣшаетъ читать!..

Христина садится, опять беретъ на колѣни шитье и мелькомъ взглядываетъ на старика, съ газетой въ рукахъ, сидящаго подлѣ нея, у камина. Г. Ганзенъ, по платью, — пасторъ. Ему лѣтъ 65, или 70, но онъ выглядываетъ еще

куда молодцомъ. Читаетъ онъ безъ очковъ, — а только теперь отъ ярко вспыхнувшаго огня старикъ зажмурился и слегка отодвинулся отъ камина.

А вотъ и еще одна личность, — худощавый молодой человѣкъ, бѣлокурый, съ рѣзкими чертами лица и рыжеватыми бакенбардами, — это мистеръ Томсонъ, туристъ-англичанинъ. Буря застигла его въ горахъ. Долго блуждалъ онъ, отыскивая какого-нибудь пристанища, и вотъ случайно набрелъ на притаившійся у скалы домикъ. Мистеръ Томсонъ зналъ по-норвежски словъ десять-пятнадцать, не болѣе, но, къ счастію, гостепріимный хозяинъ, назвавшійся Гансомъ Бьёрнстеномъ, береговымъ лоцманомъ, — недурно говорилъ по-англійски. Мистеръ Томсонъ былъ въ восторгѣ. Во все время ужина (а ужинъ подали не роскошный: овсяный хлѣбъ съ сушеною бараниной, молоко и, между всѣмъ этимъ, рюмки двѣ-три сквернѣйшей норвежской водки) онъ говорилъ безумолку. Мистеръ Томсонъ только пять дней въ Норвегіи, но онъ отъ всего, рѣшительно отъ всего въ восторгѣ. Въ восторгѣ отъ дикихъ, но чудно-величественныхъ картинъ природы; въ восторгѣ отъ бодраго и здороваго вида норвежцевъ, отъ ихъ пасторовъ и школъ, отъ ихъ политическихъ учрежденій. Вотъ только однимъ недоволенъ онъ — водкой... Туристъ съ отвращеніемъ проглотилъ рюмку, припоминая, не безъ стѣсненія сердца, свой несравненный джинъ, и съ удивленіемъ поглядывалъ, какъ и пасторъ, и Гансъ, и даже хорошенькая жена его выпили рюмки по три...

И англичанинъ все говорилъ, говорилъ; пасторъ и Христина съ улыбкой выслушивали его комплименты. Не безъ улыбки слушалъ и Гансъ о храбрости и неустрашимости англійскихъ моряковъ. «Найдутся ли въ мірѣ храбрѣе ихъ и отважнѣе?» съ паѳосомъ спрашивалъ англичанинъ (Онъ самъ былъ моряком, но лѣтъ пять-шесть назадъ почему-то вышелъ изъ флота).

Томсонъ, и въ его груди вдругъ шевельнулось что-то, похожее на чувство зависти: да, даже тамъ у себя, въ Англіи, на родинѣ прославленныхъ моряковъ, онъ не видалъ такой храбрости и отваги. И все это такъ хладнокровно, спокойно!.. Вотъ, точь въ точь, не въ бурю онъ ѣдетъ по морю, а въ тихій и ясный день по зеркальной поверхности рѣчки... А дома жена... ребенокъ!..

Лоцмана замѣтили съ корабля и бросили ему лѣстницу. Онъ мигомъ взобрался по ней на палубу. Рулевой уступилъ ему мѣсто...

Мистеръ Томсонъ вздохнулъ, положилъ бинокль въ сумку и вернулся въ домикъ. Христина, попрежнему, сидѣла передъ каминомъ съ шитьемъ; она подняла глаза на туриста, но ничего не сказала. Пасторъ, — тотъ даже и не взглянулъ; онъ весь углубился въ передовую политическую статью. Въ комнатѣ было тепло и уютно. Ребенокъ мирно спалъ на своей кроваткѣ и улыбался во снѣ... Со стѣнъ глядѣли гравюры и фотографіи. Мистеръ Томсонъ присѣлъ у камина и сталъ смотрѣть на огонь. О чемъ онъ задумался, — Богъ его знаетъ!.. Быть можетъ, о своей Англіи и о своемъ семействѣ? А можетъ, онъ представлялъ себѣ, что дѣлаетъ теперь Гансъ, и какъ онъ вернется домой: благополучно ли...

А Гансъ стоитъ, опершись о колесо штурвала, и пристально глядитъ вдаль. Онъ знаетъ всѣ мели и всѣ подводные камни. Онъ то повернетъ колесо вправо, то влѣво,— и вотъ огромный купеческій бригъ идетъ впередъ и впередъ... Пускай его страшно бьетъ и качаетъ: онъ къ бурямъ привыкъ; но онъ зато совсѣмъ застрахованъ отъ мелей и шкеръ...

А Гансъ все глядитъ вдаль, въ темноту ночи. Его широкая грудь дышетъ ровно, спокойно... Ему привольно

и хорошо: онъ тоже къ бурямъ привыкъ и радъ побороться съ ними. На кораблѣ теперь онъ полный хозяинъ и властелинъ. Капитанъ уступилъ ему свое мѣсто и преспокойно ушелъ въ каюту. Онъ вѣритъ въ Ганса, какъ въ Бога...

— Паруса съ фокъ-мачты долой! командуетъ Гансъ, и матросы бросаются со всѣхъ ногъ исполнять его приказаніе...

...А море воетъ и стонетъ; страшно бьетъ и качаетъ скорлупку-ботъ, несущійся на трехъ парусахъ къ берегу. Въ ботѣ сидитъ Гансъ и ловко управляетъ рулемъ. Въ зубахъ у него коротенькая трубочка, съ металлическимъ колпакомъ; въ карманѣ кожанной куртки звенятъ серебрянныя монеты, — плата за проводъ корабля... Жалкая плата... Да развѣ въ ней дѣло?—Нѣтъ!.. Гансъ совершенно счастливъ, доволенъ...

И страшно бьетъ и качаетъ ботъ, а онъ все ближе и ближе къ берегу... А вонъ огонекъ этотъ!.. Вонъ, точно звѣздочка, мелькаетъ онъ тамъ въ высотѣ, между деревьями...

Мистеръ Томсонъ все такъ же глядѣлъ на огонь камина. Христина подбросила туда еще дровъ. Пасторъ уронилъ газету и задремалъ...

Дверь отворилась, и въ комнату вошелъ Гансъ, забрызганный съ головы до ногъ морскою пѣной. Онъ былъ что-то не въ духѣ.

— А, вы не спите еще, мистеръ Томсонъ? — обратился онъ къ англичанину, — и вы, г. Ганзенъ? (Пасторъ проснулся и опять взялъ газету). Вѣтеръ—ужасъ какой: такъ съ ногъ и валитъ!.. А у меня несчастье, Христина,—весло сломалось... Жаль, весло совсѣмъ новое!..

На мостовой.

Въ вагонѣ 3-го класса было довольно много народа. Какъ разъ противъ тусклаго фонаря сидѣлъ какой-то купецъ, мужчина громаднаго роста и толстый, какъ бочка, съ краснымъ лицомъ и широкою темнорусою бородою. Возлѣ него помѣщался маленькій, худенькій человѣчекъ, въ старой, потертой шинели и фуражкѣ съ какардою. Онъ какъ-то весь съежился, спрятался за великаномъ, и сбоку его даже не было видно... Затѣмъ, на той-же скамьѣ сидѣли двѣ дамы, --- старая и молодая. Старая крѣпко спала, склонивъ голову на плечо своей юной сосѣдки, и все что-то бормотала во снѣ. Изрѣдка она просыпалась, ощупывала обѣими руками лежавшій у нея на колѣняхъ мѣшокъ и, успокоившись, что онъ цѣлъ, опять засыпала... Молодая просматривала газетный листокъ и тоже то и дѣло позѣвывала, слегка прикрывая рукою ротъ... Было еще человѣкъ пять-шесть изъ «благородныхъ»: молоденькій подпоручикъ, съ розовыми щеками и едва пробивающимся пушкомъ на верхней губѣ; два господина, въ плэдахъ и круглыхъ шляпахъ; еще какой-то чиновникъ, въ фуражкѣ съ кокардою, и юный франтъ, въ бобровой бекешѣ, цилиндрѣ и съ золотымъ пенснэ на носу.

На мостовой.

Въ вагонѣ 3-го класса было довольно много народа. Какъ разъ противъ тусклаго фонаря сидѣлъ какой-то купецъ, мужчина громаднаго роста и толстый, какъ бочка, съ краснымъ лицомъ и широкою темнорусою бородою. Возлѣ него помѣщался маленькій, худенькій человѣчекъ, въ старой, потертой шинели и фуражкѣ съ какардою. Онъ какъ-то весь съежился, спрятался за великаномъ, и сбоку его даже не было видно... Затѣмъ, на той-же скамьѣ сидѣли двѣ дамы, — старая и молодая. Старая крѣпко спала, склонивъ голову на плечо своей юной сосѣдки, и все что-то бормотала во снѣ. Изрѣдка она просыпалась, ощупывала обѣими руками лежавшій у нея на колѣняхъ мѣшокъ и, успокоившись, что онъ цѣлъ, опять засыпала... Молодая просматривала газетный листокъ и тоже то и дѣло позѣвывала, слегка прикрывая рукою ротъ... Было еще человѣкъ пять-шесть изъ «благородныхъ»: молоденькій подпоручикъ, съ розовыми щеками и едва пробивающимся пушкомъ на верхней губѣ; два господина, въ плэдахъ и круглыхъ шляпахъ; еще какой-то чиновникъ, въ фуражкѣ съ кокардою, и юный франтъ, въ бобровой бекешѣ, цилиндрѣ и съ золотымъ пенснэ на носу.

Прочіе пассажиры не принадлежали къ числу «благородныхъ». Это былъ все рабочій, мастеровой людъ, ѣдущій изъ деревень въ Питеръ, на заработки... Тамъ и сямъ виднѣлись грубыя, смуглыя лица: и старыя и молодыя, здоровыя и болѣзненныя, изможденныя; торчали бороды и бородки: сѣденькія, свѣтлорусыя, бѣлокурыя; виднѣлись армяки и кафтаны, старые, заплатанные полушубки, тулупы... У многихъ рабочихъ были съ собой и атрибуты ихъ ремесла: пилы и топоры, струги, рубанки, кирки и ломы...

Былъ уже часъ двѣнадцатый ночи, а потому большинство пассажировъ похрапывали, примостившись, кто какъ могъ и умѣлъ. Подушкой, по большей части, служила собственная-же грудь, или плечо сосѣда, на которыя и склонялась усталая, отяжелѣвшая голова. Даже франтъ въ бобровой бекешѣ, державшій себя все время съ необыкновеннымъ достоинствомъ, и тотъ то и дѣло поклевывалъ носомъ... Пенснэ у него скатилось и мѣрно покатилось на шнуркѣ, поблескивая въ полумракѣ стеклами и оправой.

Дверь отворилась, и въ вагонъ ворвалось цѣлое облако пара. Изъ него выдѣлилась рослая, широкоплечая фигура кондуктора...—Громко зѣвая, покряхтывая и покашливая, «полѣзли» проснувшіеся «неблагородные» пассажиры въ карманы шароваръ, въ полушубки, за пазухи...

— Вашъ билетъ, сударыня! обратился кондукторъ къ старухѣ и слегка дотронулся до ея плеча.

Та вздрогнула, какъ ужаленная, и опять ухватилась обѣими руками за лежавшій у нея на колѣняхъ мѣшокъ.

— Вашъ билетъ! повторилъ кондукторъ.

Но старуха молчала и только глаза таращила.

— Да что вы, тетушка, заспались какъ! съ неудовольствіемъ заговорила ея молодая сосѣдка, успѣвшая уже разъ пять вздремнуть и столько-же разъ очнуться.—Не понимаете развѣ,—билетъ спрашиваютъ...

— А, билетъ... билетъ... И старуха дрожащими пальцами стала открывать свой мѣшокъ.

Кондукторъ терялъ терпѣніе.

— Сударыня, мнѣ некогда! говорилъ онъ:

— Ну, ладно, батюшка, подождешь!.. Прыткій какой!.. И старуха стала рыться въ мѣшкѣ... Прошли еще добрыя пять минутъ. Наконецъ билетъ былъ найденъ, осмотрѣнъ, и кондукторъ направился къ другимъ пассажирамъ.

Съ гигантомъ-купцомъ возни было еще больше, чѣмъ со старухой. Кондукторъ сперва тронулъ его слегка за плечо, потомъ посильнѣе, потомъ дернулъ, безъ церемоніи, за руку и, наконецъ, сталъ тянуть и тормошить его съ какимъ-то ожесточеніемъ. Но толстякъ только мычалъ.

— Водички холодненькой принеси, да плесни ему, его степенству-то! — хихикнулъ какой-то армякъ — авось, очнется.

— Бороду подпали! посовѣтовалъ полушубокъ.

Наконецъ купца разбудили. Фыркая, отдуваясь, пыхтя, онъ сталъ распоясывать лисью шубу, досталъ толстый бумажникъ и, порывшись въ немъ, вынулъ билетъ.

Полусонный кондукторъ, совсѣмъ разсерженный, не церемонился ужь съ прочими пассажирами.

— Ну, ты, борода, — вставай! заоралъ онъ на весь вагонъ и энергично тряхнулъ за плечо какого-то худенькаго мужичка, свернувшагося калачикомъ на скамьѣ.

Мужичекъ вскочилъ, точно ошпаренный и испуганно заморгалъ глазами. Кондукторъ ошибся, назвавъ его «бородой»; такое названіе вовсе не подходило къ жиденькому пучку волосковъ, торчащему на слегка выдавшемся впередъ подбородкѣ. — Мужичекъ былъ далеко не старъ, — лѣтъ 40 — 45, не больше, но на его болѣзненномъ, испитомъ лицѣ прорѣзалось уже много морщинъ. Одѣтъ онъ былъ совсѣмъ не по зимнему. Старый — престарый армякъ, кой-гдѣ покрытый заплатками, а гдѣ и просто зашитый на скоро,— точно на вѣшалкѣ висѣлъ на его узкихъ, угловатыхъ плечахъ. Изъ подъ него выглядывала грязная пестрядиная рубаха, съ косымъ воротомъ, застегнутымъ мѣдною пугов-

Прочіе пассажиры не принадлежали къ числу «благородныхъ». Это былъ все рабочій, мастеровой людъ, ѣдущій изъ деревень въ Питеръ, на заработки... Тамъ и сямъ виднѣлись грубыя, смуглыя лица: и старыя и молодыя, здоровыя и болѣзненныя, изможденныя; торчали бороды и бородки: сѣденькія, свѣтлорусыя, бѣлокурыя; виднѣлись армяки и кафтаны, старые, заплатанные полушубки, тулупы... У многихъ рабочихъ были съ собой и атрибуты ихъ ремесла: пилы и топоры, струги, рубанки, кирки и ломы...

Былъ уже часъ двѣнадцатый ночи, а потому большинство пассажировъ похрапывали, примостившись, кто какъ могъ и умѣлъ. Подушкой, по большей части, служила собственная-же грудь, или плечо сосѣда, на которыя и склонялась усталая, отяжелѣвшая голова. Даже франтъ въ бобровой бекешѣ, державшій себя все время съ необыкновеннымъ достоинствомъ, и тотъ то и дѣло поклевывалъ носомъ... Пенснэ у него скатилось и мѣрно покатилось на шнуркѣ, поблескивая въ полумракѣ стеклами и оправой.

Дверь отворилась, и въ вагонъ ворвалось цѣлое облако пара. Изъ него выдѣлилась рослая, широкоплечая фигура кондуктора... — Громко зѣвая, покряхтывая и покашливая, «полѣзли» проснувшіеся «неблагородные» пассажиры въ карманы шароваръ, въ полушубки, за пазухи...

— Вашъ билетъ, сударыня! обратился кондукторъ къ старухѣ и слегка дотронулся до ея плеча.

Та вздрогнула, какъ ужаленная, и опять ухватилась обѣими руками за лежавшій у нея на колѣняхъ мѣшокъ.

— Вашъ билетъ! повторилъ кондукторъ.

Но старуха молчала и только глаза таращила.

— Да что вы, тетушка, заспались какъ! съ неудовольствіемъ заговорила ея молодая сосѣдка, успѣвшая уже разъ пять вздремнуть и столько-же разъ очнуться.—Не понимаете развѣ,—билетъ спрашиваютъ...

— А, билетъ... билетъ... И старуха дрожащими пальцами стала открывать свой мѣшокъ.

Кондукторъ терялъ терпѣніе.

— Сударыня, мнѣ некогда! говорилъ онъ:

— Ну, ладно, батюшка, подождешь!.. Прыткій какой!.. И старуха стала рыться въ мѣшкѣ... Прошли еще добрыя пять минутъ. Наконецъ билетъ былъ найденъ, осмотрѣнъ, и кондукторъ направился къ другимъ пассажирамъ.

Съ гигантомъ-купцомъ возни было еще больше, чѣмъ со старухой. Кондукторъ сперва тронулъ его слегка за плечо, потомъ посильнѣе, потомъ дернулъ, безъ церемоніи, за руку и, наконецъ, сталъ тянуть и тормошить его съ какимъ-то ожесточеніемъ. Но толстякъ только мычалъ.

— Водички холодненькой принеси, да плесни ему, его степенству-то! — хихикнулъ какой-то армякъ — авось, очнется.

— Бороду подпали! посовѣтовалъ полушубокъ.

Наконецъ купца разбудили. Фыркая, отдуваясь, пыхтя, онъ сталъ распоясывать лисью шубу, досталъ толстый бумажникъ и, порывшись въ немъ, вынулъ билетъ.

Полусонный кондукторъ, совсѣмъ разсерженный, не церемонился ужь съ прочими пассажирами.

— Ну, ты, борода, — вставай! заоралъ онъ на весь вагонъ и энергично тряхнулъ за плечо какого-то худенькаго мужичка, свернувшагося калачикомъ на скамьѣ.

Мужичекъ вскочилъ, точно ошпаренный и испуганно заморгалъ глазами. Кондукторъ ошибся, назвавъ его «бородой»; такое названіе вовсе не подходило къ жиденькому пучку волосковъ, торчащему на слегка выдавшемся впередъ подбородкѣ. — Мужичекъ былъ далеко не старъ, — лѣтъ 40 — 45, не больше, но на его болѣзненномъ, испитомъ лицѣ прорѣзалось уже много морщинъ. Одѣтъ онъ былъ совсѣмъ не по зимнему. Старый — престарый армякъ, кой-гдѣ покрытый заплатками, а гдѣ и просто зашитый на скоро,— точно на вѣшалкѣ висѣлъ на его узкихъ, угловатыхъ плечахъ. Изъ подъ него выглядывала грязная пестрядиная рубаха, съ косымъ воротомъ, застегнутымъ мѣдною пугов-

кой. На головѣ старенькая, вся облѣзлая, мѣховая шапченка; на смуглой почти черной шеѣ, похожей на голенище, намотана какая-то тряпка; на ногахъ — громадные, неуклюжіе, стоптанные сапоги—«бахилы».

— Билетъ, тебѣ говорятъ! опять крикнулъ кондукторъ.—Оглохъ, что-ли?..

— Сейчасъ, служивый, сейчасъ...

Мужичекъ не заставилъ ждать долго. Костлявыми, мозолистыми руками полѣзъ онъ за пазуху и досталъ билетъ.

«Служивый» взглянулъ, щелкнулъ щипцами, какимъ-то презрительнымъ взглядомъ окинулъ невзрачнаго мужичка и направился далѣе. — Наконецъ всѣ билеты были осмотрены, и кондукторъ ушелъ, сильно хлопнувъ дверями и опять пустивъ въ вагонъ цѣлое облако холоднаго пара.

Мужичекъ присѣлъ на скамью, досталъ небольшой холщевый мѣшокъ, развязалъ его и началъ вытаскивать оттуда пожитки... Сперва онъ вынулъ рубашку. Это была женская, вѣрнѣе, дѣтская рубашенка, изъ грубой холстины, старенькая, изношенная... Онъ прикинулъ ее на свѣтъ, покрутилъ головою и что-то забормоталъ... За рубашкой послѣдовалъ дѣтскій сарафанчикъ изъ синей пестряди... И сарафанчикъ онъ тоже прикинулъ на свѣтъ, и опять покрутилъ головою... Затѣмъ вынулъ что-то, завернутое въ холстинку, взглянулъ и весело улыбнулся... И что за славная, добрая была эта улыбка!.. Некрасивое смуглое лицо его сдѣлалось почти привлекательнымъ; маленькіе сѣрые глазки, съ красными, воспаленными вѣками, такъ славно заискрились!.. Въ холстинкѣ была завернута кукла, грубая кукла, сшитая изъ тряпицъ, съ безобразно намалеванными черниломъ глазами, носомъ и ртомъ; съ кудельными волосами, заплетенными въ косу... — Бережно завернулъ мужичекъ куклу и опять засунулъ въ мѣшокъ... За куклой послѣдовалъ маленькій холщевый мѣшочекъ, замѣняющій обыкновенно у крестьянъ денежный кошелекъ... Онъ раз-

вязалъ его и высыпалъ на заскорузлую ладонь всю, заключающуюся въ немъ, мелочь... Ея было очень немного... Вотъ трехкопѣечникъ.. вотъ двѣ копѣйки... еще копѣйка... — Улыбка исчезла съ лица мужичка. Онъ тяжело вздохнулъ и опять слегка покрутилъ головою...—Кошелекъ былъ спрятанъ и на мѣсто его вынута дерюжная мужицкая рубаха... Но мужичекъ даже и не взглянулъ на нее и опять сунулъ обратно...

— Татка, а, татка! послышался вдругъ откуда-то тоненькій голосокъ.—Мнѣ ѣсть хочется!..

— Сейчасъ голубка, сейчасъ!—И мужичекъ засовался.— Онъ опять развязалъ мѣшокъ и вытащилъ оттуда краюху чернаго хлѣба и какой-то бумажный свертокъ.

На скамьѣ, гдѣ сидѣлъ мужичекъ, лежало что-то, въ родѣ узла, накрытаго старымъ, рваным тулупомъ. Вдругъ этотъ тулупъ зашевелился, и изъ-подъ него выглянула бѣлокурая голова дѣвочки, лѣтъ восьми. — Дѣвочка была прехорошенькая. Несмотря даже на слой грязи, покрывавшій ея круглое личико, съ полными щечками, нельзя было не разглядѣть эти мелкія правильныя черты, этотъ румянецъ... Изъ-подъ тонкихъ, точно кистью выведенныхъ, бровей выглядывали сѣрые, веселые глазки.

Дѣвочка сѣла, поджавъ подъ себя ноги, подлѣ отца и принялась за хлѣбъ. Онъ былъ очень черствый, сухой даже, но бѣлые, острые зубы ребенка справлялись съ нимъ превосходно... Въ одной рученкѣ она держала краюху, въ другой кусокъ рыбы, вынутой отцомъ изъ бумажнаго свертка,—и уписывала все это съ какимъ-то азартомъ...— Рыба оказалась селедкой, ржавой селедкой... Далеко не соблазнительный запахъ разнесся вдругъ по вагону...

— Тьфу, гадость какая! съ ожесточеніемъ плюнулъ франтъ и зажалъ носъ.

— Могъ бы и на улицѣ, мой любезный, ѣсть эту дрянь! обратился онъ къ мужичку. —Вышелъ бы на платформу да и ѣлъ тамъ...

Мужичекъ, только было поднесшій ко рту кусокъ селедки, отодвинулся и взглянулъ на франта. И опять его красные глаза какъ-то испуганно заморгали.

— А ты бы, баринъ, въ первый, аль во второй классъ сѣлъ, посовѣтовалъ франту армякъ.—Право сѣлъ бы, коли тебѣ селедочный духъ претитъ... Тамъ, въ первомъ-то да во второмъ классѣ, поди, духами какими пахнетъ, — тамъ господа сидятъ... А здѣсь все сѣрый народъ,—мужичье...

— Мѣста-то здѣсь никому не заказаны! проворчалъ какой-то рыжій мужикъ, съ пилой за плечами. — И ты и я такія же деньги платимъ...

Франтъ фыркнулъ и презрительно покосился, но ничего не сказалъ. Онъ отодвинулся только подальше, досталъ изъ серебрянаго портъ-сигара тоненькую папироску и закурилъ...

— Что, дальній будешь? обратился армякъ къ мужичку.

Тотъ проглотилъ послѣдній кусокъ и вытеръ рукавомъ губы.

— Дальній, кормилецъ, отвѣчалъ онъ.

— Въ Питеръ-то впервòй, видно?

— Впервòй.

— А по какой части?

— Да землекопы мы, изстари землекопы... Такъ, почитай, кажиный годъ и ходимъ мы всей деревней... Я-то вотъ только впервòй, въ Питерѣ-то: больше въ *губерніи* [1]) все работалъ...

— Та-акъ!..—А эта дѣвчонка-то, — дочка твоя, что ли будетъ?

— Дочка, кормилецъ.—И мужичокъ погладилъ дѣвочку по головкѣ. И опять добрая, ласковая улыбка мелькнула на его некрасивомъ лицѣ.

— Женка-то у меня померла, продолжалъ онъ, — лѣтось еще померла... Ну, а сродниковъ въ деревнѣ ни

[1]) Въ губернскомъ городѣ.

души нѣтъ... Уйдешь на заработки теперь,—куда ее пріютишь?—Вотъ и надумалъ я въ Питеръ ее съ собой взять...

— А въ Питерѣ-то у тебя есть кто?

— Какъ же, кормилецъ!.. Женина тетка тамъ... На Питенбургской, что ли, живетъ какой-то... Да, Питенбургская Сторона...

— Есть такая..

— Ну, вотъ... — И хорошо, слышь, живетъ-то, зажиточно, — трехъ коровъ держитъ... Я и письмо ей писалъ изъ деревни-то: такъ и такъ, молъ, Авдотья Терентьевна, нельзя ли какъ дѣвчонку-то къ тебѣ?—Мала, мала, а все чѣмъ-нибудь да поможетъ въ хозяйствѣ... Дѣвчоночка она умная, не баловница...

— Ну, и чтоже? спросилъ армякъ.

— Да что, — отвѣтъ получаютъ... — Возьму, пишетъ, Егоръ Иванычъ, твою Анютку, съ радостію возьму... Пускай живетъ вмѣсто дочери, — своихъ-то дѣтей у насъ нѣтъ... Ну, а тамъ, пока что,—глядишь, и тебѣ работу пріищемъ, по твоей части... — Вотъ вѣдь какая ангельская душа!.. Пошли ей, Господи, здоровья и счастія!.. — И дядя Егоръ перекрестился...

Поѣздъ шелъ полнымъ ходомъ; мѣрно и монотонно позвякивали цѣпи вагоновъ. Но вотъ, вдругъ, локомотивъ какъ-то пронзительно и протяжно свистнулъ и сталъ убавлять ходъ... Все тише и тише... Остановились...

— Пріѣхали! крикнулъ кто-то.

Хлынувшая изъ вагоновъ толпа увлекла за собой дядю Егора, и онъ пропалъ въ ней вмѣстѣ съ Анюткой...

Крѣпче, крѣпче держись, голубка! говорилъ онъ дѣвочкѣ. — Не отставай!..

И Анютка изо всѣхъ силъ вцѣпилась рученками въ его армякъ.

На улицѣ бушевала вьюга; снѣгъ валилъ цѣлыми тучами; слабо, чуть-чуть мерцали сквозь эту снѣжную пелену фонари... Точно въ лѣсу, очутился дядя Егоръ съ Анюткой на площади, передъ вокзаломъ... Мимо нихъ шли и ѣхали какіе-то люди; слышалось фырканье лошадей, понуканья извощиковъ, скрипъ санныхъ полозьевъ по снѣгу... Ихъ, то и дѣло, толкали; разъ чуть даже не сшибли съ ногъ какія-то ужь не въ мѣру ретивыя лошади... Едва успѣлъ отскочить дядя Егоръ и увлечь за собой Анютку,— какъ бокъ-о-бокъ съ ними промчалась, блеснувъ фонарями, карета и скрылась въ снѣжномъ туманѣ...

Вѣтеръ вылъ и гудѣлъ. Онъ пробирался сквозь плохо заплатанный и заштопанный армякъ дяди Егора и кололъ все его тѣло, точно иголками... Но мужичка это нимало не безпокоило. Нерѣдко, въ ненастную осень случалось ему по цѣлымъ часамъ простаивать въ канавѣ по поясъ въ холодной, какъ ледъ, водѣ... И такъ изъ году въ годъ, изъ году въ годъ,— и онъ привыкъ къ холоду... Не безпокоила его и Анютка. На ней былъ надѣтъ старый-престарый, положимъ дырявый, заплатанный, но все-же овчинный тулупъ съ длиннымъ, волочащимся по землѣ, шлейфомъ... Нѣтъ, дядю Егора оторопь просто взяла какая-то. Онъ стоялъ на площади и оглядывался...

— Питенбургская Сторона... бормоталъ онъ.— Гдѣ-жь она, Питенбургская Сторона-то?..— Поспрошать-бы...

Какой-то баринъ въ енотахъ и въ нахлобученной на глаза шапкѣ, поровнялся съ нимъ въ эту минуту.

— Баринъ,— робко заговорилъ дядя Егоръ,— позвольте спросить...

Но баринъ даже и головы не поднялъ. Онъ только плотнѣй запахнулъ шубу и прошелъ мимо.

Но вотъ подошелъ какой-то сгорбленный старичекъ. Онъ съ трудомъ передвигалъ ноги, тяжело дышалъ, останавливался чуть не на каждомъ шагу...

— Скажите, кормилецъ, — обратился къ нему дядя Егоръ, — гдѣ здѣсь Питенбургская Сторона?

— Прямо, все прямо иди, гулубчикъ! махнулъ рукой старичекъ.—Адмиралтейская площадь будетъ, а тамъ Дворцовый мостъ... По Дворцовому и ступай...

— Спасибо, родимый!

И дядя Егоръ съ Анюткой свернули на Невскій.

Рядъ электрическихъ фонарей, мелькавшихъ въ снѣжномъ туманѣ, привели просто въ восторгъ Анютку.

— Татка! татка! гляди-ка, огоньковъ сколько! говорила она.

Но дядя Егоръ самъ былъ пораженъ не меньше Анютки. Съ неописаннымъ изумленіемъ, разинувъ ротъ, оглядывалъ онъ эти громадные пяти-этажные дома, со множествомъ разрисованныхъ вывѣсокъ. Ему и во снѣ никогда не снилось такихъ. Губернскій городъ, гдѣ онъ обыкновенно работалъ, былъ городъ маленькій, грязноватый, почти сплошь состоявшій изъ однихъ деревянныхъ домовъ... И дядя Егоръ дивился...

А вѣтеръ все вылъ и стоналъ; снѣгъ, по-прежнему, валилъ цѣлыми тучами. Даже привычный мужикъ началъ слегка поеживаться и покряхтывать...

— Татка! — заговорила вдругъ жалобно дѣвочка — у меня ноги зазябли.

— А ты пробѣгись маленько, голубка,—онѣ и поотойдутъ...

Но дѣвочка не только бѣжать,—идти не могла скоро: она чуть не на каждомъ шагу запиналась и путалась въ мамкиномъ одѣяніи...

На углу Невскаго и Адмиралтейской, стоялъ, прислонившись къ углу дома, городовой и сладко дремалъ. Дядя Егоръ его робко окликнулъ:

— Служивый!

— Чего надо? заворчалъ тотъ.

— Питенбургская Сторона—гдѣ будетъ?

— Тамъ, черезъ мостъ ступай,—дальше! И «служивый» опять задремалъ.

Дядя Егоръ перебрался черезъ Дворцовый мостъ и очутился на Васильевскомъ островѣ... Долго блуждалъ онъ по линіямъ... Анютка жаловалась на холодъ, усталость и на то, что ее вотъ такъ и клонитъ ко сну.

— Пожди, голубка, говорилъ дядя Егоръ. — Сейчасъ придемъ...

Наконецъ они очутились на Большомъ проспектѣ.

Дядя Егоръ остановился и оглядѣлся кругомъ... За пазухой у него лежалъ клочекъ сѣрой бумаги, завернутый въ тряпку, и на немъ крупными каракулями было выведено: «Авдотья Терентьевна Бирюлина, Петербургская Сторона, Большая Пушкарская улица, домъ № 7»...

— Ахъ, ты, Господи Боже мой! чуть не съ отчаяніемъ бормоталъ дядя Егоръ. — Ни души не видно!.. Ну, какъ теперь ее станешь искать, Авдотью Терентьевну?

— Татка! мнѣ холодно... Совсѣмъ замерзла!... плакала дѣвочка.

— Пожди, голубка, пожди!.. Сейчасъ вотъ... — И онъ опять сталъ оглядываться. Но нигдѣ никого не было видно...

Вдругъ, гдѣ-то невдалекѣ послышались нестройные звуки пѣсни... Все ближе и ближе,— и передъ дядей Егоромъ точно вынырнули двѣ какихъ-то фигуры... Онѣ шли, обнявшись, слегка покачиваясь изъ стороны въ сторону, и во всю глотку орали ухарскую, залихватскую пѣсню... По халатамъ, подпоясаннымъ, веревочками, лихо заломленнымъ на бекрень фуражкамъ и опоркамъ на босую ногу,— въ нихъ можно было признать мастеровыхъ... Какъ Богъ вѣсть чему обрадовался имъ дядя Егоръ. Да и еще-бы!..

— Послушай-ка, мой родимый! обратился онъ къ одному изъ гулякъ. — Скажи ты мнѣ ради Христа: гдѣ здѣсь Авдотья Терентьевна проживаетъ?

Гуляка остановился и оглянулъ дядю Егора съ головы до ногъ.

— Это какая, то есть, Авдотья Терентьевна? спросилъ онъ.

— Да изъ нашей деревни, изъ Маврина...

— А, изъ Маврина!.. Какъ не знать—знаю!—И гуляка хихикнулъ.

— Ой-ли?—обрадовался дядя Егоръ.—А я-то ищу, ищу... Дѣвчонка вонъ у меня совсѣмъ изъ силъ выбилась.

— Ступай ты все прямо, все прямо, говорилъ гуляка,—потомъ заверни направо, а тамъ налѣво... Вотъ тутъ и будетъ твоя Авдотья Терентьевна...

— На Нѣтовомъ проспектѣ, въ Незванной улицѣ! во все горло захохоталъ другой. — Сидитъ, тебя дожидается!

И оба скрылись въ снѣжномъ туманѣ.

Дядя Егоръ остановился въ недоумѣніи. Анютка плакала...

Но вотъ послышались опять чьи-то шаги, и съ ними поровнялась фигура, въ легонькомъ лѣтнемъ пальтишкѣ, въ плэдѣ, вся съ ногъ до головы, занесенная снѣгомъ...

— Ваше благородіе!.. чуть не волкомъ взвылъ дядя Егоръ: — Ради Христа...

Фигура остановилась и стала шарить въ карманахъ.

— Ни гроша, голубчикъ, нѣтъ! заговорила она. — Было давече три копѣйки, — да только теперь вспомнилъ, что булку купилъ на нихъ, къ чаю... Ни гроша нѣтъ!..

— Да я не милостинку, кормилецъ...

— А что-же, голубчикъ?

— Разъискиваю я теперь Авдотью Терентьевну...

— Это какую-же Авдотью Терентьевну?

— Изъ нашей деревни, изъ Маврина...

— Не знаю такой.

— Да вотъ тутъ у меня на бумажкѣ прописано... — И дядя Егоръ сталъ шарить за пазухой...

Сильный порывъ вѣтра распахнулъ плэдъ, — и изъ него выглянуло блѣдное, исхудалое молодое лицо, съ чуть-чуть

пробивающимися усиками. Рука, протянутая за бумажкой, посинѣла отъ холода и сильно дрожала...

— Да это тутъ, близко, говорилъ молодой человѣкъ, кой какъ прочитавъ при тускломъ свѣтѣ фонаря адресъ. — Черезъ четыре улицы... Ты вотъ пройди недалечко, — на углу тамъ — шелъ я — городовой стоитъ. Спроси его, онъ укажетъ...

— Спаси тебя, Господи, и помилуй, кормилецъ!.. И дядя Егоръ сдернулъ свою облѣзлую мѣховую шапченку.

Но молодой человѣкъ махнулъ только рукой и пошелъ дальше.

— На углу, говоритъ, стоитъ... городовой... — Ты пожди, голубка, обратился дядя Егоръ къ дѣвочкѣ. — Я добѣгу сейчасъ, поспрошаю...

— Да ты скорѣй, татка... Замерзла — страсть!..

— Сейчасъ, голубка! И онъ побѣжалъ, утопая чуть не по колѣно въ снѣгу.

На углу дѣйствительно стоялъ городовой. Дядя Егоръ подалъ ему бумажку и Христомъ-Богомъ умолялъ указать дорогу.

— Дѣвчоночка-то чуть жива, говорилъ онъ, и въ голосѣ его дрожали слезы. — Того и гляди, совсѣмъ замерзнетъ!.. Баринъ вонъ, — дай ему Богъ здоровья! — недалеко, говоритъ, тутъ гдѣ-то, черезъ четыре улицы... Ради Христа, укажи!.. — И онъ опять сдернулъ шапчонку... Въ одно мгновеніе ока вѣтеръ разметалъ во всѣ стороны его спутанные, нечесанные волосы и запорошилъ ихъ снѣгомъ... Вся маленькая, невзрачная фигурка его была до того жалка, изможденное, испитое лицо выражало въ себѣ столько мольбы, — что суровый, усатый городовой былъ тронутъ, по видимому, за живое...

— Укажемъ, ласково говорилъ онъ. — Для чего и не указать... На то мы здѣсь и поставлены, чтобъ за порядкомъ, значитъ смотрѣть... — Давайка-сь-сюда бумажку-то... Гдѣ

она? — И онъ съ трудомъ, по складамъ, сталъ разбирать адресъ.

Прошло минутъ пять, если не больше.

— Отъ этой улицы еще три будетъ, говорилъ городовой, разобравъ наконецъ каракули. — А тамъ, на право сверни, — третій домъ...

— Спасибо, кормилецъ!

И дядя Егоръ, отвѣсивъ низкій поклонъ, побѣжалъ назадъ. — Вотъ и фонарь, вотъ и покосившаяся деревянная тумба. Здѣсь онъ оставилъ Анютку. Но дѣвочки не было.

— Анютка!.. крикнулъ дядя Егоръ.

Но только вой вѣтра отвѣтилъ ему... Гдѣ-то брякнула и зазвенѣла желѣзная вывѣска...

— Анютка-а-а!.. завопилъ мужикъ не своимъ голосомъ.

Отвѣта не было.

Сердце, какъ молотъ, застучало въ груди дяди Егора. Руки у него опустились...

Анютка долго дожидалась отца; по крайней мѣрѣ, ей казалось, что онъ ужасно долго не возвращался. Ей было холодно... Рѣзкій, пронзительный вѣтеръ пробирался сквозь худо заплатанныя дыры мамкинаго тулупа и леденилъ ея тѣло... Какъ ни старалась она прятать въ длинные рукава руки, — вѣтеръ проникалъ и туда, и онѣ совсѣмъ посинѣли отъ холода... Закоченѣли и ноги, обутыя въ стоптанные, дырявые башмаченки, — и ихъ начинало сильно пощипывать...

— Да куда-жъ это онъ пропалъ? думала дѣвочка. — Сейчасъ, говоритъ, вернусь, — и все нейдетъ...

Татка, а татка!.. крикнула она, — но вѣтеръ заглушилъ ея голосъ.

Анютка рѣшилась сама идти за отцомъ... Еле-еле ступая по снѣжнымъ сугробамъ и проваливаясь въ нихъ чуть не по поясъ, она поплелась впередъ... Вѣтеръ дулъ ей прямо въ лицо и чуть не валилъ съ усталыхъ, окоченѣ-

вшихъ ноженокъ... Но напрасно она оглядывалась по сторонамъ, — отца нигдѣ не было...

— Татка! крикнула дѣвочка. — Татка-а!..

Страшный порывъ вѣтра, взметнувшій цѣлую тучу снѣга, былъ ей отвѣтомъ... Дѣвочка зарыдала... Слезы ручьемъ лились по ея полненькимъ щечкамъ, крупными каплями скатывались на тулупъ и тотчасъ-же замерзали... Не видя, куда идетъ, на удачу, Анютка плелась все впередъ и впередъ и, наконецъ, очутилась не то въ какой-то улицѣ, не то въ переулкѣ... — Въ маленькомъ деревянномъ домикѣ, съ низкими, почти вросшими въ землю оконцами, свѣтился еще огонекъ... Дѣвочка опустилась на колѣни передъ окномъ, отгребла рукавомъ цѣлую кучу снѣгу и стала смотрѣть... Боже мой, что она тамъ увидѣла!.. — Въ небольшой комнаткѣ, оклеенной сѣренькими обоями, горѣла на столѣ лампа; мягкій и нѣжный свѣтъ ея, смягченный голубымъ абажуромъ, падалъ прямо на лицо мужчины, съ темною бородой. Онъ сидѣлъ за столомъ, противъ красивой молодой женщины и что-то разсказывалъ... Женщина слушала, улыбаясь... Мужчина одной рукой помѣшивалъ ложечкой чай въ стаканѣ, другою поддерживалъ маленькую бѣлокурую дѣвочку, сидѣвшую у него на колѣняхъ... Дѣвочка прислонилась головкой къ его плечу и, повидимому, крѣпко спала... На столѣ кипѣлъ самоваръ, пуская цѣлыя облака пару... Тутъ-же лежала цѣлая куча игрушекъ... Вотъ кукла, большая кукла, въ полъ-аршина величиной, въ розовомъ платьѣ; другая, немножко поменьше ея, — въ голубомъ; обѣ съ восковыми головками и съ настоящими волосами, завитыми въ прелестные локоны... Вотъ маленькій дѣтскій комодикъ, съ придѣланнымъ къ нему туалетнымъ зеркальцемъ; двѣ кроватки, стулья, диванчикъ... Ярко и весело горѣвшій въ печкѣ огонь освѣщалъ комнату... — Не трудно было понять эту картинку... Мужчина вернулся откуда-то, и, вѣроятно, еще недавно вернулся. Это показывалъ стоявшій на полу развязанный че-

моданъ, съ откинутой крышкой... Вездѣ, — на полу, на диванѣ, на стульяхъ виднѣлись свертки и сверточки... На ломберномъ столѣ лежалъ полуразвернутый кусокъ какой-то матеріи... Мужчина пріѣхалъ. Его маленькая дочурка еще спала. Ее разбудили, а, можетъ, она и сама проснулась. И вотъ, какъ была въ постелькѣ, въ одной рубашечкѣ, она усѣлась на колѣни къ отцу и до тѣхъ поръ занималась привезенными ей игрушками, пока опять не уснула...

Долго глядѣла Анютка въ комнату. Она и отца забыла; забыла холодъ, мятель... Жадными, восторженными глазенками смотрѣла она на этихъ прелестныхъ куколъ, на эту кукольную мебель, новенькую, блестящую... Она никогда нигдѣ не видала такихъ сокровищъ... Какой жалкой, ничтожной казалась ея «Дуняшка», сшитая изъ какихъ-то тряпицъ, въ синемъ пестрядинномъ сарафанишкѣ,— въ сравненіи съ этими куклами, въ розовомъ и голубомъ платьяхъ!.. — И дѣвочка тяжело вздохнула... — Отъ куколъ глаза ея перешли къ топившейся печкѣ, — и ей вдругъ сдѣлалось такъ холодно, такъ холодно...

— Постучусь развѣ? мелькнуло у нея въ головѣ. — Авось, пустятъ погрѣться... Баринъ-то, кажись, добрый такой, да и барыня добрая...

И она постучала въ стекло. Но руки у дѣвочки слишкомъ закоченѣли и обезсилѣли, да и вьюга бушевала, вѣтеръ, по прежнему, вылъ и стоналъ, взметая облака снѣжной пыли, — на стукъ ея не обратили вниманія, не разслышали, можетъ быть... Анютка постучалась еще разъ, сильнѣе, — и опять то-же... Женщина сняла съ самовара чайникъ и налила мужу новый стаканъ... Дѣвочка пошевелилась, полуоткрыла глазки, но тотчасъ снова закрыла ихъ и крѣпко заснула, охвативъ ручками шею отца...

Вдругъ, гдѣ-то на дворѣ залаяла глухо собака; звякнула цѣпь... Анютка вскочила, точно ужаленная. Она еще и до сихъ поръ помнитъ, какъ въ прошломъ году взялъ ее татка съ собой въ городъ, и какъ бросилась на нее

тамъ цѣпная собака и такъ искусала, такъ искусала, что слѣды ея острыхъ зубовъ еще и до сихъ поръ замѣтны... — Собака опять залаяла, и дѣвочка чуть не бѣгомъ кинулась прочь...

Мятель, мало-по-малу, стихала. Снѣгъ почти совсѣмъ пересталъ идти, но вѣтеръ все такъ-же вылъ и стоналъ... Жалобно какъ-то скрипѣли желѣзныя вывѣски... Порой срывало кровельный листъ и со звономъ несло по улицѣ... Совсѣмъ измученная, обезсиленная, прозябшая до мозга костей, Анютка брела по снѣжнымъ сугробамъ... Она глухо всхлипывала; слезы ручьями текли у нея по лицу... Пройдя десять — пятнадцать шаговъ, дѣвочка останавливалась и начинала осматриваться по сторонамъ. Но никого не было видно.

— Татка! татка! слабо кричала она. — Но татка не отзывался. Вѣтеръ только одинъ вторилъ ей своимъ воемъ и свистомъ.

Наконецъ, ноги совсѣмъ отказались служить Анюткѣ. Съ трудомъ добралась она до подъѣзда какого-то каменнаго трехъ-этажнаго дома и опустилась или, скорѣй, упала на ступени крыльца... Мысли путались у нея въ головѣ; ее клонило ко сну...

— Татка, голубчикъ татка! Гдѣ ты? шептала она, стараясь поплотнѣе закутаться въ свой рваный тулупъ и поджимая закоченѣвшія ноги.

И вотъ ей пришло въ голову, что татка заблудился, какъ и она, и ищетъ ее теперь... Да, ищетъ, какъ лѣтомъ, въ прошломъ году, въ лѣсу... Вспомнился ей вдругъ этотъ день. Господи, какъ она тогда испугалась!.. — Пошла она съ мамкой въ лѣсъ за грибами. Пропасть ихъ уродилось въ тотъ годъ, — такія мѣста попадались, что только собирай — не лѣнись...

— Не отставай, Анютка! говорила ей мать. — Сохрани Богъ,—долго-ли заблудиться!..

— Нѣтъ, матушка! нѣтъ отвѣчала дѣвочка.

— И точно, она долго ни на шагъ не отставала отъ матери... Но вотъ вдругъ ей страшно захотѣлось напиться. День былъ жаркій, солнце такъ и палило, и у нея совсѣмъ пересохло въ горлѣ... Анютка свернула въ сторону. Она вспомнила, что тамъ, около трехъ дубковъ, есть маленькій ручеекъ, съ холодной, какъ ледъ, водою... Она добралась до этого ручейка и жадно припала къ нему запекшимися отъ зноя губами... Долго пила Анютка... Но вотъ она напилась, хотѣла идти, догонять мамку... Вдругъ, тамъ, на днѣ ручейка, она замѣтила какой-то странный камешекъ. Нигдѣ, никогда не видала она такихъ... Онъ былъ краснаго цвѣта, и круглый и гладкій, точно его кто обточилъ... Не безъ труда достала Анютка круглякъ... Вода была страшно холодная: точно огнемъ охватило ея рученку, когда она сунула ее въ воду, а камешекъ былъ такой гладкій и скользкій, то и дѣло выскакивалъ... Но, наконецъ, онъ былъ вынутъ... Налюбовавшись вдоволь пріобрѣтеннымъ сокровищемъ, Анютка сунула его за пазуху сарафанишка и побѣжала догонять мать. Но та вдругъ скрылась куда-то... — «Мамка! Ау!» закричала дѣвочка, и сердечко ея тревожно забилось... Отвѣта не было...—Только потомъ узнала она, что по ошибкѣ, со страху, свернула на другую тропинку, и эта тропинка завела ее въ страшную глушь... Куда ни кидалась дѣвочка, — вездѣ торчали толстые стволы вѣковыхъ деревьевъ, и не виднѣлось ни малѣйшаго слѣда выхода... Анютка совсѣмъ осипла отъ крика; ей грудь разломило... Но никто не отозвался на ея зовъ; только вѣтеръ шумѣлъ между деревьями... Вотъ и солнце стало садиться; въ лѣсу становилось все темнѣй и темнѣй... Вотъ и совсѣмъ стемнѣло... Анютка едва не умерла со страху... Ей вдругъ припомнились эти длинные разсказы бабушки Аграфены про волковъ и медвѣдей... При каждомъ малѣйшемъ шорохѣ, сердце ея такъ стучало и колотилось въ груди, точно хотѣло выскочить... Она даже и крикнуть не смѣла теперь... Дрожащая, блѣдная,

съ исцарапанными въ кровь лицомъ и руками, прижалась она къ какому-то пню, да такъ и замерла тутъ... «Ау!» раздалось вдругъ гдѣ-то вдали...—«Ау!» крикнула она изо-всѣхъ силъ. Голоса приближались. Она узнала ихъ: это были отецъ съ матерью... Прошло еще съ полчаса и Анютка сидѣла у себя въ избѣ... Дядя Егоръ, блѣдный, испуганный, разсказывалъ, что искалъ ее цѣлый день, кричалъ, аукалъ...

— Да видно не въ ту сторону я пошолъ, говорилъ онъ,—такъ голоса-то и не слыхать было... Ишь вѣдь куда тебя занесло, баловница!..

Больно надралъ онъ вихоръ Анюткѣ, да тотчасъ-же, вслѣдъ за тѣмъ, погладилъ по головкѣ, отеръ мозолистой, заскорузлой ладонью слезы, точно горохъ катившіяся по ея загорѣлымъ, исцарапаннымъ щекамъ, и далъ баранку... Дѣвочка улыбнулась.

— Да, ищетъ онъ меня теперь, ищетъ... шептала Анютка и поплотнѣе закутывалась въ тулупъ.

Вдругъ дѣвочка вздрогнула. Ей показалось, что ее кто-то слегка толкнулъ. Она подняла голову и замерла отъ страха. Передъ нею стояла огромная ньюфаундлэндская собака. Анютка хотѣла вскочить и бѣжать,—но ноги ея точно приросли къ ступенямъ крыльца, — она не могла двинуться. Впрочемъ, напрасно она испугалась. Собака не выказывала никакихъ враждебныхъ намѣреній. Напротивъ, она очень ласково смотрѣла на нее своими добрыми глазами и даже слегка помахивала хвостомъ... Анютка пріободрилась. Съ трудомъ высвободила она изъ длиннаго рукава дрожащую, окоченѣлую руку и погладила густую, волнистую шерсть... Какая она была мягкая, шелковистая!..— Собака опять замахала хвостомъ, лизнула руку Анютки и улеглась у ея ногъ. Дѣвочка задремала...

А вѣтеръ все такъ-же вылъ и стоналъ. Теперь порывы его стали еще сильнѣе. Страшный холодъ охватывалъ все тѣло Анютки. Она коченѣла... Вдругъ ей стало тепло, —

да, совсѣмъ тепло, точно не на улицѣ, на морозѣ, сидѣла она, а у себя въ избѣ, передъ ярко топившейся печкой. Дѣвочка подняла голову, съ трудомъ открыла глаза... Странная вещь!.. Эти дома, каменные и деревянные, тускло горящіе фонари, дорога и тротуары, на аршинъ занесенные снѣгомъ, — все это, точно по волшебству, скрылось куда-то... Передъ Анюткой была изба, ихъ изба, низкая, душная, съ покосившимися стѣнами, съ земляным поломъ... Вонъ печка, дымная, закоптѣлая... Ее топили только зимой, для тепла, а лѣтомъ почти никогда, — готовить нечего было... Котъ, съ обрѣзаннымъ ухомъ — Буска, лежитъ передъ печкой и нѣжится... Солнышко такъ славно пригрѣло его... Снопами льются золотые лучи въ растворенное оконце... Въ избѣ душно; мухи невыносимо жужжатъ, летаютъ по ней цѣлыми тучами... Мамка, худая, блѣдная, — она этотъ годъ все хворала, — стоитъ на колѣняхъ передъ какимъ-то коробомъ и выбираетъ изъ него тряпье...

— Вотъ этимъ рубаху Егору починить можно, говоритъ она и откладываетъ въ сторону кусокъ синей пестряди. — Больно у него плохи рубахи-то!..

Она роется въ коробѣ и вытаскиваетъ оттуда рубаху. Рубаха точно плоха: дыра на дырѣ, — много заплатъ наложить надо!..

— А пряникъ-то ты съѣла, что татка послалъ? обращается она къ Анюткѣ.

Но Анютка не слышитъ. Она смотритъ на улицу, въ растворенное окно... Какъ славно тамъ!.. Вонъ поле, покрытое золотистою, еще не убранной рожью... Больно плоха эта рожь, — низкая, тощая, — но зато сколько въ ней васильковъ!.. Отсюда прекрасно видно, какъ синѣютъ они между колосьями. А вонъ тамъ, на самомъ концѣ поля, тетка Настасья ужь начала жать... Какъ она быстро работаетъ!.. Во ржи то покажется, то опять скроется ея красное, точно кумачъ, лицо. И жнетъ она, жнетъ... Серпъ быстро мелькаетъ въ ея рукахъ и поблескиваетъ на сол-

нышкѣ... — А вонъ тамъ вдали, за полями, синѣетъ что-то, — точно широкая стальная полоса развернулась. Это судоходная рѣка Бѣлая... Легкій синеватый дымокъ поднялся въ тихомъ и неподвижномъ воздухѣ, — пароходъ прошелъ. А вонъ, на горѣ, церковь маленькая, деревянная. Чуть не совсѣмъ спряталась она въ густой зелени липъ; только одна колокольня, съ золоченымъ крестомъ, выглядываетъ изъ-за деревьевъ...

— Ты пряникъ-то, что татка послалъ, весь съѣла? повторяетъ мать.

— Весь, отвѣчаетъ дѣвочка.

— Ишь жадная! А пряникъ-то какой пребольшущій былъ!.. Татка, слышь, за него десять копѣекъ отдалъ... Десять копѣекъ!.. Да вѣдь на эти деньги мы всѣ втроемъ сыты будемъ!.. — Анютка молчитъ.

— Письмо-то, что Афонасьичъ читалъ, слышала? спрашиваетъ опять мамка.

— Слышала.

— То-то слышала!.. Такъ вотъ и пишетъ отецъ-то: и посылаю, говоритъ, ей свое родительское благословеніе, на вѣки нерушимое. Да накажи ты ей, говоритъ, ради Христа, Марфа Даниловна, чтобъ она на рѣку не бѣгала... Долго-ли до грѣха!..

— Да развѣ усмотришь за ней, баловницей! сердито ворчитъ мамка и опять начинаетъ рыться въ тряпьѣ. — Только ты отвернись, — она ужъ сейчасъ и туда, къ пристани...

— Да мы, мамушка, пароходы смотримъ, говоритъ дѣвочка. — Красиво они такъ бѣгутъ. Колеса это вертятся, вода шумитъ...

— Вотъ я тебѣ дамъ колеса!.. Порки давно не видѣла? а? — Смотри, Анютка!..

— Сарафанишко-то опять весь изорвала! продолжаетъ она. — Гдѣ это тебя угораздило?..

— А это я, мамушка, въ огородѣ: полѣзла это черезъ плетень, да и зацѣпила.

— То-то вотъ зацѣпила!.. Уйму на тебя нѣтъ! Татка-то вонъ изъ кожи лѣзетъ: роетъ, роетъ канавы-то, ажно спина трещитъ. А ты только рвать да ломать умѣешь!

— Куда опять собралась? говоритъ она, замѣтивъ, что Анютка наровитъ юркнуть за дверь.

— Да я, мамушка, къ Танькѣ сбѣгаю... Мы съ ней сегодня вѣнки хотѣли плести. И Анютка уходитъ къ Танькѣ, своей лучшей подругѣ, дѣвочкѣ, годомъ старше ея.

Прошло съ полчаса, и Анютка съ Танькой были во ржи. Цѣлый снопъ васильковъ нарвали онѣ, но имъ все еще мало казалось. На Танькѣ была рубаха, немного пониже колѣнъ, старенькая, вся замазанная. Въ ея жиденькую, бѣлобрысую, точно мышиный хвостикъ, косенку была вплетена ленточка, когда-то синяя, а теперь какого-то неопредѣленнаго цвѣта.

— Не довольно-ли васильковъ-то? спрашиваетъ Анютка.

— А что-жъ, и пожалуй. И Танька начинаетъ перебирать цвѣты.

— Ну, а теперь вѣнки плести! говоритъ Танька.

И обѣ дѣвочки усаживаются во ржи, съ цѣлыми грудами васильковъ въ подолахъ... Жарко, мучительно жарко... Солнце жжетъ и палитъ... Потъ въ три ручья льетъ по лицу Анютки, — она не успѣваетъ отирать его... Вѣнки какъ-то медленно, худо плетутся: отъ зноя и истома, слабость въ тѣлѣ; руки плохо работаютъ... А тутъ еще мухи жужжатъ, овода... Анютка, то и дѣло, отмахивается отъ нихъ...

— Жарко, Анютка! говоритъ Танька и бросаетъ на половину сплетенный вѣнокъ. — Пойдемъ-ка лучше на пристань... Тамъ холодокъ отъ рѣки-то...

И вотъ Анютка на пристани... Широко, широко раскинулась передъ ней гладкая и неподвижная водяная поверхность... Вездѣ вода, куда ни посмотришь, — вода и

небо, ясное, безоблачное... Только тамъ, вдали, съ трудомъ можно разглядѣть берегъ, съ синѣющей на немъ полоскою лѣса... Слышится рѣзкій, протяжный свистокъ... Анютка заслоняетъ глаза ладонью и смотритъ... Пароходъ подвигается все ближе и ближе... Онъ идетъ почти по самой срединѣ рѣки, по фарватеру, и тянетъ двѣ тяжело нагруженныя баржи... По гладкой, зеркальной поверхности побѣжала легкая рябь... Все ближе и ближе къ берегу... Привязанный у пристани челнокъ сталъ замѣтно покачивать...

— А знаешь ли, что, Анютка, говоритъ Танька. — Сядемъ-ка мы съ тобой въ лодочку, да поѣдемъ!..

— Что ты! ужаснулась дѣвочка.

Вдругъ Анютку словно тряхнулъ кто.

— Очнулась никакъ, послышался чей-то голосъ. — Заговорила...

Дѣвочка открыла глаза. Ни пристани, ни рѣки, ни Таньки — какъ ни бывало!... Она лежала на кровати въ какой-то комнатѣ, довольно слабо освѣщенной висячею лампой... Передъ ней стоялъ высокій, худощавый мужчина, въ очкахъ, и держалъ ее за руку. Подлѣ него стоялъ другой, тоже худощавый, но безъ очковъ... Въ комнатѣ было еще пять-шесть кроватей. На нихъ, подъ толстыми байковыми одѣялами, лежали какіе-то люди... Изъ дверей выглядывала усатая фигура городового...

— Ну, что, дѣвочка, — лучше? спрашивалъ господинъ въ очкахъ.

Анютка молчала. Она никакъ не могла понять, гдѣ она, и съ удивленіемъ осматривала комнату и стоявшаго передъ ней господина... И вдругъ она вспомнила... Вьюга... мятель... тусклые фонари... собака... татка ищетъ ее...

— Татка! Гдѣ татка? крикнула дѣвочка и вдругъ залилась слезами.

— Да ты кто такая? спрашивалъ господинъ въ очкахъ.—Какъ зовутъ?

— Анюткой.

— Отецъ кто?

— Дядя Егоръ.

— Та-акъ!.. А на улицѣ то ты какъ очутилась?

Анютка, всхлипывая, стала разсказывать, какъ пріѣхала на машинѣ съ отцомъ; какъ бродили они изъ улицы въ улицу и, наконецъ, потеряли другъ друга...

— Мы къ тетушкѣ Авдотьѣ Терентьевнѣ ѣхали, говорила она.—Татка письмо ей писалъ...

— Ваше Высокородіе! послышалось у дверей. — Пожалуйте на минутку!..

— Ну, что тебѣ? И господинъ въ очкахъ подошелъ къ полицейскому. Тотъ началъ ему что-то шептать, изрѣдка указывая на Анютку... «Бумажка за пазухой,—адресъ... Большая Пушкарская»—только и можно было понять...

Господинъ въ очкахъ подошелъ къ Анюткѣ и грустно посмотрѣлъ на нее.

— Бѣдная дѣвочка! прошепталъ онъ.

Анютка разслышала этотъ шепотъ, и сердце ея вдругъ мучительно сжалось...

— Татка! Гдѣ татка? завопила она. — Я къ таткѣ хочу!..

Господинъ молча повернулся и пошелъ къ двери.

— Бульонъ и вино, сказалъ онъ мимоходомъ фельдшеру.—Ничего больше... А тамъ—посмотримъ...

— Слушаю-сь!

— Татка! стонала дѣвочка,—Та-атка!

Дядя Егоръ стоялъ, какъ одурѣлый, посреди улицы, по колѣна въ снѣгу... Вѣтеръ сорвалъ у него съ головы шапку; страшный холодъ насквозь пронималъ его,—но онъ даже не замѣчалъ этого...

— Господи, да что же это такое!.. въ отчаяніи бормоталъ онъ.—Анютка!.. голубка моя!..

Напрасно онъ, однако, осматривался по сторонамъ, напрасно заглядывалъ въ разныя улицы и переулки, — дѣвочки нигдѣ не было...

Но вотъ онъ остановился передъ какимъ-то большимъ каменнымъ домомъ и заглянулъ въ полуотворенную калитку.

— Сюда не зашла-ли? мелькнуло у него въ головѣ.— Онъ обошелъ весь дворъ, заглядывалъ во всѣ закоулки... Вотъ у стѣны дрова сложены, — дядя Егоръ заглянулъ и туда,—пусто... Амбарчикъ какой-то... Онъ толкнулъ дверь и вошелъ. Долго бродилъ онъ тамъ, въ темнотѣ наталкиваясь на стѣны; запнулся за что-то, упалъ и больно ушибся...

— Анютка! гдѣ ты, Анютка? бормоталъ дядя Егоръ. Но Анютка не отзывалась...

Совсѣмъ убитый, выбрался онъ изъ двора и опять остановился на тротуарѣ... Сердце у него мучительно ныло; слезы подступали къ горлу и душили его...

— Эй, ты! Чего тебѣ надо? послышался вдругъ чей-то голосъ.

Дядя Егоръ поднялъ голову. По тротуару, на встрѣчу ему, двигалась какая-то шуба, съ громаднымъ поднятымъ воротникомъ. Она подошла къ дядѣ Егору почти вплотную. Воротникъ слегка приподнялся, и изъ подъ него выглянули небольшіе глазки, съ залѣпленными снѣгомъ рѣсницами, и клокъ бороды...

— Ты здѣсь чего дѣлаешь? А? крикнула басомъ шуба и вдругъ схватила дядю Егора за шиворотъ.— Чего высматриваешь?

— Дочка... дочка пропала, кормилецъ!.. простоналъ мужикъ.—Дочку ищу...

— Какая тамъ дочка?— Знаемъ мы васъ, мазуриковъ!.. Вотъ я тебѣ дамъ дочку!..—Городовой! завопила шуба. — Городово-й!..

Но улицы были совершенно пусты. Не только городового,—собаки нигдѣ не было видно...

— Ты что это? Улизнуть хочешь, а? — И шуба тряхнула дядю Егора.—Стой! Чего рвешься?

Но дядя Егоръ и не думалъ рваться. Напротивъ, онъ стоялъ смирно, точно овца, и только весь трясся, какъ въ лихорадкѣ... Да и дѣйствительно, его била страшная лихорадка: его то въ ознобъ кидало, то въ жаръ... Голова у него горѣла, кружилась...

— Куда это его запропастило? удивлялся дворникъ.— Никакъ невозможно дозваться... Самому видно въ участокъ придется вести.

— Пойдемъ-ка-сь, давай! дернулъ онъ опять за рукавъ дядю Егора.

— Куда, кормилецъ?

— А туда, въ теплое мѣсто... Есть много тамъ вашего брата, мошенниковъ...

— Да какой же я мошенникъ, родимый!.. Пріѣхалъ я на заработки теперь, — съ дочкой пріѣхалъ... Да дочка то вотъ пропала... Ищу ее сколько времени, — все не могу найти...

— Ладно, не заговаривай зубы-то!.. Знаемъ мы васъ,— предостаточно...

— А, впрочемъ, постой-ка!..—Дворника вдругъ осѣнила мысль.—Видъ-то у тебя есть?

— Какой видъ, кормилецъ?

— Извѣстно какой, пачпортъ?

— А, пачпортъ!.. Пачпортъ-то есть... Какъ не быть... Безъ пачпорту-то теперь куда-же?..

— Кажи!

— Да онъ у меня тамъ далеко, кормилецъ,—въ мѣшкѣ...

— Кажи, говорятъ!..

Еле-еле, съ трудомъ, развязалъ дядя Егоръ мѣшокъ. Руки у него сильно дрожали.

— А шапка-то у тебя гдѣ? говорилъ дворникъ. — Потерялъ видно?

— Шапка-то? И дядя Егоръ схватился за голову. — Вѣтромъ, должно быть, снесло, кормилецъ... И не замѣтилъ. На, пачпортъ-то. И онъ подалъ бумагу. — Гляди, въ порядкѣ.

Дворникъ развернулъ листъ и сталъ разбирать его по складамъ.

— Изъ во-лост-но-го прав-ле-нія... бормоталъ онъ.—Егору Ива-но-ву Са-по-гову... Печать правленія... подпись...— Бери обратно,—въ порядкѣ!.. Такъ дочку, говоришь, потерялъ? а? Да какъ это тебя угораздило?.. Голосъ дворника утратилъ вдругъ свое строгое выраженіе. Теперь онъ звучалъ мягче; въ немъ слышалось даже участіе...

— Да вотъ такъ, кормилецъ... И дядя Егоръ разсказалъ, какъ потерялъ Анютку.

— Просто не знаю, что и дѣлать, родимый! говорилъ онъ.—Гдѣ теперь станешь искать ее?..—Господи!.. Можетъ, упала она гдѣ, съ ногъ свалилась; снѣгомъ ее занесло... замерзла!..—И дядя Егоръ затрясся, какъ осиновый листъ... Слезы, такъ долго сдерживаемыя, ручьемъ хлынули изъ его глазъ и потекли по морщинистымъ, изможденнымъ щекамъ...

— Гм... да... оказія! пробормоталъ дворникъ.—Не завернула-ли, можетъ, куда во дворъ? Погрѣться кто не пустилъ-ли?

— Да куда завернуть-то, кормилецъ?.. Вѣдь у насъ во всемъ Питерѣ души нѣтъ знакомой, кромѣ Авдотьи Терентьевны, — да и не знаетъ Анютка-то, гдѣ живетъ она...

— Въ участокъ заявить надо. Найдутъ тамъ. Ну, а покамѣстъ ты походи, покликай ее... Быть можетъ, гдѣ на подъѣздѣ присѣла, — спитъ...

— Пойду, кормилецъ, пойду... Ахъ, Господи, Царь Небесный!.. А что да ежели... — И дядя Егоръ опять побрелъ по сугробамъ...

Дворникъ вернулся къ своему посту, на лавочку у воротъ, и сладко такъ задремалъ, завернувшись поплотнѣй

въ свою шубу... Вѣтеръ вылъ и стоналъ. — «Анютка!.. Анютка!» слышалось въ ночной темнотѣ...

Долго бродилъ дядя Егоръ по улицамъ, пошатываясь, точно пьяный... Но вотъ добрелъ онъ до какого-то дома. Въ нижнемъ этажѣ, сквозь спущенныя сторы, мелькалъ огонь...

— Да не сюда-ли зашла? пришло ему въ голову. — Онъ понималъ, что это дикая мысль: мало-ли домовъ въ Петербургѣ, и мало-ли куда могла зайти дѣвочка. Но онъ почему-то рѣшилъ, что она именно здѣсь...

Дядя Егоръ проскользнулъ въ калитку и постучался въ дверь перваго этажа. Отвѣта не было. Онъ постучался еще разъ, сильнѣе... Но вдругъ онъ вспомнилъ, что въ барскихъ домахъ бываютъ звонки; отыскалъ ощупью ручку и дернулъ изо всей силы...

— Кто тамъ? послышался голосъ.

Дверь отворилась, и на порогѣ показался заспанный господинъ, съ длинными, щетинистыми усами и съ лампой въ рукѣ. Увидѣвъ дядю Егора, онъ отступилъ.

— Чего тебѣ надо?

— Дочку, кормилецъ, дочку ищу... Не у васъ-ли?

— Да какъ ты смѣешь звонить у чужихъ квартиръ!.. Бродяга! Пошелъ!..

Дядя Егоръ отшатнулся, но опять шагнулъ за дверь. Откуда и смѣлость взялась у этого робкаго, забитаго мужичка! Онъ лѣзъ на проломъ...

— Что тамъ такое? И въ сѣняхъ показался высокій, худощавый старикъ, въ халатѣ. Изъ-за плеча у него выглядывало блѣдное, встревоженное лицо молодой женщины.

— Пьяница какой-то, сударыня, почтительно отвѣчалъ господинъ съ лампой. — Лѣзетъ прямо въ переднюю... Дочку, говоритъ, потерялъ...

— Да это сумасшедшій! завопилъ старикъ и даже поблѣднѣлъ. — Иванъ! Дворника! Живо! Въ участокъ его?

— Баринъ, простите, ради Христа!.. И дядя Егоръ залился слезами. — Дочку я потерялъ, дочку ищу... Не здѣсь-ли, думаю... Огонь въ окнахъ...

— Что-же это такое!.. вскрикнула вдругъ молодая женщина. — Весь день у меня сегодня нервы были разстроены... Только поуспокоились, — вдругъ этотъ звонокъ!.. Сердце такъ и забилось...

— Вонъ его! въ шею! крикнулъ старикъ.

Иванъ поставилъ лампу и въ точности выполнилъ приказаніе. Дядя Егоръ кубаремъ вылетѣлъ на лѣстницу...

Барыня приняла лавровишневыхъ капель... Ярко и весело горѣлъ въ каминѣ огонь, освѣщая роскошную обстановку: бронзу, фарфоръ, шелковыя драпри. А тамъ, на улицѣ, бушевала вьюга, стучала снѣгомъ въ окно... — «Анютка! Анютка!..» слышалось среди стоновъ и завываній вѣтра...

Совсѣмъ измученный, присѣлъ дядя Егоръ на тумбу; съ нея онъ тихо соскользнулъ на тротуаръ, въ снѣгъ... Его страшно знобило, клонило ко сну... Ноги, обутыя въ неуклюжіе, громадные сапоги, сперва коченѣли; ихъ рвало, щипало, палило, будто огнемъ; потомъ онѣ вдругъ точно замерли. Дядя Егоръ не ощущалъ въ нихъ ни малѣйшей боли, ни малѣйшаго холода... Но зато онѣ, точно бревна, лежали въ снѣгу, и онъ не могъ двинуть ими...

— Отморозилъ! мелькнуло у него въ головѣ. Но эта мысль тотчасъ исчезла и замѣнилась другой...

— Анютка!.. бормоталъ онъ, все болѣе и болѣе слабѣющимъ голосомъ. — Господи, Царь Небесный... Анютка!..

Ниже и ниже клонилась на грудь обнаженная голова, вся занесенная снѣгомъ... Дядя Егоръ засыпалъ — и ему становилось теплѣе... И снится ему: вдругъ что-то сильно ему сдавило грудь... Въ глазахъ завертѣлись красные и зеленые круги...

— Господи Боже мой!.. послышался чей-то крикъ. — Завалило!.. Андрюшка!.. Лука!.. Фадѣй!.. Лопаты скорѣй, — отгребайте!.. Вò, вò, еще разъ! еще разъ!.. За ноги его бери,

Сенька, за ноги!.. Живъ никакъ еще? Живъ, дышетъ!.. Слава те, Господи!..

Страшная боль въ груди, страшная боль въ поясницѣ... Дядя Егоръ открылъ глаза... Вокругъ него стояли его товарищи по работѣ... Вотъ и Фадѣй Бурлакъ, худенькій мужичекъ, съ какимъ-то землистымъ цвѣтомъ лица и впалою грудью... Вотъ и Андрей, Лука, Сидоръ... Лица у нихъ у всѣхъ блѣдныя, перепуганныя. А тамъ, шагахъ въ пятишести отъ него — канава, засыпанная землей... Трое сутокъ, вшестеромъ, рыли они эту канаву, рыли утромъ, и днемъ, и вечеромъ... Сколько тутъ было труда!.. Ныли руки, ныли грудь и спина... Эта вода проклятая то и дѣло накоплялась на днѣ... Сколько ея ни отливали — она все тутъ какъ тутъ!.. Да вѣдь какая холодная, — такъ и жжетъ!.. — Да, рыли, рыли канаву, а теперь ее вдругъ засыпало... Опять рыть придется!..

— Ну, что, каково тебѣ? спрашиваетъ Лука и низко, низко наклоняется къ дядѣ Егору.

— Тяжко, Лука Кузьмичъ!.. Смерть подходитъ!.. чуть слышно отвѣчаетъ тотъ: — Помру, — у насъ побывай, въ Мавринѣ... Скажи Марфѣ Даниловнѣ, женкѣ моей, что за Семеномъ четыре съ полтиной... Къ зимѣ отдать обѣщалъ... Да тутъ вотъ у меня, въ кошелѣ, найдешь послѣ, — два пятіалтынныхъ, да три копѣйки... Отдай Марфѣ... А это вотъ крестикъ... — и онъ силится снять съ шеи мѣдный, потускнѣвшій крестъ: — Анюткѣ его передай, да скажи ей...

— Поправишься еще, Богъ дастъ! говоритъ Лука.

— Куда ужъ!.. Грудь совсѣмъ раздавило...

Потомъ дядя Егоръ впалъ опять въ забытье...—И вотъ, съ холщевымъ мѣшкомъ за плечами, съ палкой въ рукѣ, босой, идетъ онъ по пыльной, почтовой дорогѣ, въ Маврино... Жарко; потъ крупными каплями выступаетъ на его загорѣломъ лицѣ... Кругомъ, куда ни посмотришь — поля и поля... И что за чудная, за роскошная рожь!.. — Не безъ зависти поглядываетъ дядя Егоръ по сторонамъ.

— Эхъ, кабы да у насъ благодать такая!.. говоритъ онъ. — Помирать не надо бы!.. Счастье же этимъ мироновцамъ: хлѣба у нихъ не проворотишь!..

А вотъ и Маврино... Наконецъ-то!.. Дядя Егоръ страшно усталъ... Зорко глядитъ онъ туда, гдѣ стоитъ его дымная, покосившаяся на бокъ избушка, — и улыбается... Онъ знаетъ, что Анютка выбѣжитъ встрѣчать его... Да, такъ и есть... Вонъ, вонъ бѣжитъ она, въ одной рубашенкѣ, босая... Пыль только столбомъ летитъ изъ подъ ея маленькихъ ногъ... Добѣжала, — повисла къ нему на шею...

— Татка, татка голубчикъ!.. говоритъ дѣвочка и ласкается, жмется къ отцу. — А гостинчика мнѣ принесъ?..

— Есть и гостинчикъ... Натка вотъ!.. И дядя Егоръ досталъ изъ-за пазухи медовый пряникъ и два калача... — Анютка прыгаетъ, скачетъ отъ радости...

— А у меня макъ распустился на грядкѣ, таточка! вдругъ сообщаетъ она. — Пойдемъ, покажу! И тащитъ его въ огородъ.

Макъ точно чудесный: такой ярко-красный, махровый!

— Куклу я себѣ сшила, татка, говоритъ дѣвочка. — Вотъ погоди-ка!.. Она стрѣлой уносится въ избу, и черезъ минуту возвращается оттуда, съ «Дуняшкой» въ рукахъ...

— Сама, все сама сдѣлала! не безъ гордости разсказываетъ она. — Чернила мнѣ дѣдушка Афонасьичъ далъ, — я и глаза ей, и ротъ, и носъ расписала... Гляди-ка!..

— Важная кукла, важная!.. говоритъ дядя Егоръ. — Онъ съ любовью смотритъ на дочку, и ему такъ хорошо!..

. . . . . .

— Замерзъ, ваше благородіе, закоченѣлъ весь, — не дышетъ! сообщалъ околодочному городовой.

Дядя Егоръ лежалъ на тротуарѣ, въ снѣгу, блѣдный и неподвижный. На его морщинистомъ лицѣ, бѣломъ теперь отъ мороза, застыла улыбка. И это была та улыбка, ка-

кой улыбался онъ тамъ, въ вагонѣ, гладя Анютку по головѣ...

— Гм... Да... процѣдилъ околодочный. А погляди-ка, что у него тамъ, въ рукѣ?

— Кукла, ваше благородіе! усмѣхнулся городовой.

И точно, въ рукѣ дяди Егора была «Дуняшка»...

Послѣдній концертъ.

Какъ сладко льются пѣсенъ звуки,
Какъ чудно слышать ихъ!
Въ нихъ есть и радости, и муки,
Есть много чувствъ святыхъ...

Громадная театральная зала... Сотни свѣчей въ люстрѣ, разливаютъ кругомъ яркій, ослѣпительный свѣтъ... Всѣ мѣста заняты разнокалиберной публикой... Вонъ, въ ложахъ бенуара бархатъ, атласъ, кружева; точно капли росы, при лучахъ солнца, горятъ брилліанты въ ушахъ разодѣтыхъ дамъ... Въ креслахъ первыхъ рядовъ сидятъ важные, солидные господа, во фракахъ и военныхъ мундирахъ. А тамъ, дальше, въ самыхъ заднихъ рядахъ, выглядываютъ скромныя личности, въ сюртукахъ и пиджакахъ.

Всѣ съ нетерпѣніемъ ждутъ звонка, всѣ смотрятъ на высокую, обтянутую краснымъ сукномъ, эстраду, съ пюпитромъ, освѣщеннымъ двумя канделябрами.—А, вотъ, наконецъ, и звонокъ. Публика затихла, притаила дыханіе. Высокій, сѣдой старикъ, со звѣздою на фракѣ, все время покашливавшій и лорнировавшій ложи, умолкъ. Лорнетъ выпалъ изъ его рукъ...

— ...овъ!.. — ...овъ! послышался шопотъ въ заднихъ рядахъ креселъ, — и, вдругъ, вся громадная зала дрогнула отъ рукоплесканій...

На эстраду взошелъ, опираясь на руку молодой дѣвушки, блѣдный, худой человѣкъ, лѣтъ 50, во фракѣ, со скрип-

кой въ рукѣ. Длинные, съ сильной просѣдью, волосы вились по его узкимъ, угловатымъ плечамъ; какимъ-то лихорадочнымъ блескомъ горѣли черные, глубоко впалые глаза.

— Брраво,—...овъ!.. брраво!.. раздалось опять въ залѣ.

Артистъ поклонился, вытянулъ вооруженную смычкомъ руку, и стукнулъ имъ слегка по пюпитру...

Глубокая тишина воцарилась въ залѣ... Ярко горитъ люстра, озаряя блестящіе уборы разряженныхъ дамъ... Душно... Потъ въ три ручья льетъ съ «верхней» публики; «нижняя» тоже обмахивается вѣерами, платками.

И вдругъ... блѣдный, худой человѣкъ, съ длинными волосами, провелъ смычкомъ по струнамъ... Всѣ замолкли и обратились въ слухъ...

Длинная, печальная нота пронеслась подъ сводами залы; затѣмъ другая, третья, четвертая!.. И вотъ полилась чудная музыка...

— Господи! Что же это такое? пробормоталъ кто-то.

Въ душу,—да, въ самую душу, лились эти волшебные звуки; слезы невольно навертывались на глазахъ... Вонъ тамъ, «на верху», блѣдный молодой человѣкъ, очень бѣдно одѣтый... Онъ плачетъ... Слезы ручьями текутъ на обитый обшарканнымъ плисомъ барьеръ, на афишу... Не музыку слышитъ онъ жалобы, вопли страдальца... Онъ даже видитъ его, какъ-будто... Пропала громадная, залитая огнями, зала, публика, пропалъ чародѣй-музыкантъ... Онъ видитъ передъ собой человѣка больного, блѣднаго, изможденнаго... — Вотъ еще пронеслась въ воздухѣ невыразимо-тоскливая нота, — и театръ опять дрогнулъ отъ рукоплесканій...

Молодой человѣкъ очнулся, протеръ глаза... Господи, что это вдругъ сдѣлалось съ публикой!.. Куда дѣвались эти равнодушныя, холодныя лица, эти натянутыя улыбки!.. Чуть не всѣ плакали, иные,—навзрыдъ...

Артистъ раскланивался... По страшно блѣдному, высокому лбу его текли крупныя капли пота... — Онъ самъ былъ сильно взволнованъ... Смычекъ дрожалъ у него въ рукѣ...

Но вотъ громъ рукоплесканій началъ понемногу стихать и, наконецъ, совсѣмъ смолкъ: публика успокоилась...

Артистъ выпилъ стаканъ воды, отеръ съ лица потъ и снова взялся за скрипку...

И опять полились чудные, волшебные звуки волшебнаго инструмента... Это не скрипка, нѣтъ, — это живой человѣкъ: она плачетъ, стонетъ, смѣется... Невольно какъ-то смягчается и самое черствое сердце; спокойно, ровно и мѣрно бьющееся, какъ часы, и оно начинаетъ биться сильнѣе... Просыпается въ немъ что-то давнымъ-давно уснувшее, что-то хорошее, теплое... Невольно впадаешь въ какое-то забытье, полусонъ, забываешь все окружающее и переносишься въ другой міръ, вмѣстѣ съ этими звуками...

Да, это не скрипка,—это живой человѣкъ. Онъ поетъ длинную, чудную пѣсню... Это повѣсть, разсказъ изстрадавшагося, наболѣвшаго сердца... Какою-то силою чаръ, звуки превращаются въ краски; воздухъ, въ которомъ они дрожатъ, переливаются и звенятъ — въ полотно... И вотъ проходитъ передъ вами цѣлый рядъ чудныхъ картинъ, живыхъ, ясныхъ, отчетливыхъ, хотя и грустныхъ, печальныхъ...

Плачетъ и стонетъ скрипка,—и вы переноситесь, вмѣстѣ съ этими стонами, точно на крыльяхъ, въ жалкую хижину бѣдняка... Вы видите грязь, сырость; убогихъ и оборванныхъ, голодныхъ людей; слышите плачъ ихъ и стоны...

Да, это не скрипка плачетъ — плачутъ бѣдные, голодные люди... Сердце сжимается болью, тоской; слезы навертываются на глазахъ,—вы сами плачете... Да...

Но вотъ замираетъ, мало-по-малу, эта пѣсня горя и слезъ... Картина голода, нищеты подергивается какою-то дымкой... Вотъ звуки совсѣмъ замолкли... Вы вздрагиваете,

протираете затуманенные глаза, — и передъ вами опять та же театральная зала, публика, артистъ на эстрадѣ... Вамъ больно, грустно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и досадно, что вы такъ скоро «проснулись»: вамъ жалко этого волшебнаго *сна*...

Но вотъ опять полились чудные звуки, и ужъ не грустные теперь они — радостные, веселые... Слезы высохли у васъ на глазахъ, вы улыбаетесь: на̀ сердцѣ такъ легко, такъ отрадно...

Все громче и лучше поетъ инструментъ, — и вотъ вы опять забываетесь, опять впадаете въ заколдованный сонъ... Опять проносятся передъ вами картины. Вы видите зеленѣющій лугъ... Видите капли росы на травѣ, какъ бриллі̀анты, сверкающіе подъ лучами яркаго солнышка... Вы видите въ отдаленіи церковь, толпу разряженнаго народа, съ веселыми довольными лицами; слышите заливной праздничный звонъ...

. . . . . .

Громадная зала чуть не рушилась отъ грома рукоплесканій... Восторгъ публики зашелъ за предѣлы возможнаго.., Всѣ, безъ различія званій неистово хлопали, стучали ногами и стульями. Въ воздухѣ, точно исполинскія бабочки, мелькали платки... Вонъ кто-то бросилъ цвѣтокъ; вонъ другой, третій, четвертый, — и цѣлый дождь ихъ посыпался на эстраду...

— Брраво!.. брра-во-о!.. ревѣла въ изступленіи публика.

Артистъ, блѣдный, какъ полотно, раскланивался на всѣ стороны... Онъ съ трудомъ стоялъ на ногахъ...

— Да, это... это... что-то невыразимое!.. говорилъ на театральномъ подъѣздѣ сѣдой генералъ своей спутницѣ, маленькой дамѣ.

— Конечно, я не слыхалъ Паганини, но не думаю, чтобы онъ лучше игралъ... Ты не повѣришь, Nadine: я просто не зналъ, что со мной, гдѣ я...

Дама молчала. На раскраснѣвшихся отъ волненія и духоты щечкахъ ея еще не высохли слезы...

— Простите! Бога ради, простите!.. говорилъ блѣдный молодой человѣкъ, наталкиваясь на какую-то старушку въ салопѣ, и чуть не сшибая ея съ ногъ. — Я просто въ какомъ-то чаду...

Но та, повидимому, не обратила на него никакого вниманія. Крупныя слезы градомъ текли по сморщеннымъ, желтымъ щекамъ... Она ихъ отирала платкомъ...

Но вотъ наконецъ публика разошлась и разъѣхалась... На крылечкѣ показался виновникъ всѣхъ этихъ восторговъ и слезъ—артистъ... (Онъ былъ одѣтъ совсѣмъ не по зимнему. На улицѣ трещалъ морозъ, градусовъ въ двадцать, а на немъ было только старенькое осеннее пальто, съ мѣховымъ воротникомъ, застегнутое на всѣ пуговицы...) Опираясь на плечо молодой дѣвушки, онъ съ трудомъ передвигалъ ноги...

— Совсѣмъ я боленъ, дитя мое, шепталъ онъ,—совсѣмъ боленъ...

Дѣвушка глубоко вздохнула.

— Музыку надо бросить, папочка... Сколько разъ говорили, она слишкомъ вредна тебѣ... Однако ты чуть идешь... Извощика взять?..

— Да вѣдь не далеко тутъ!..

— Нѣтъ, надо... Извощикъ! крикнула дѣвушка. Въ гостинницу «Лондонъ!..»

— Пожалуйте!

Въ маленькомъ номерѣ провинціальной гостинницы, бѣдно меблированномъ полинялой мебелью, горѣла лампа подъ абажуромъ. На столѣ весело кипѣлъ самоваръ; стояли

стаканъ и чашка; тутъ же, на подносѣ, возвышалась горка булочекъ и сухарей...

На диванѣ лежалъ, вытянувшись во весь ростъ, блѣдный, худой чѣловѣкъ, съ длинными, вьющимися по плечамъ, волосами. Это былъ — ...овъ, артистъ-композиторъ, часа два-три назадъ возбуждавшій въ N—скомъ обществѣ такой громадной восторгъ... Яркій свѣтъ лампы падалъ прямо на его худое, мертвенно-блѣдное лицо, съ закрытыми глазами... Не подымайся тяжелымъ дыханіемъ впалая грудь,— трудно было бы думать, что это живой человѣкъ...— Молодая дѣвушка сидѣла за самоваромъ... Вотъ налила она стаканъ чаю... Тишина въ комнатѣ нарушалась только чиканьемъ карманныхъ часовъ на столѣ, да тяжелымъ дыханіемъ музыканта...

— Ты спишь, папочка? тихо спросила дѣвушка.

— Я?—Нѣтъ... Что, милая?—Артистъ очнулся, открылъ глаза.

— Стаканчикъ чаю, голубчикъ, не хочешь-ли?—Выпей. Ты теперь слабъ такъ...

— Спасибо, Варенька, не хочу... А, впрочемъ, дай, пожалуй...

Онъ приподнялся. Дѣвушка подала стаканъ.

— Уснуть тебѣ надо, папочка, говорила она,—покрѣпче уснуть...

— Э, все равно, милая! пробормоталъ артистъ, и горькая усмѣшка пробѣжала по губамъ его.—Сегодня... *послѣдній* концертъ...

— Полно, голубчикъ мой! Зачѣмъ ты такъ говоришь? Зачѣмъ эти предчувствія?

— Нѣтъ, не предчувствія, Варенька... Скоро отправится папка твой въ путь-дорогу... Далёко, далёко туда, гдѣ нѣтъ ни печалей, ни воздыханія...

Слезы сверкнули на глазахъ дѣвушки.

— Да, трудно мнѣ, очень трудно, дитя мое! грустно продолжалъ онъ.—Господи! Что будетъ съ тобой Варенька?

На кого ты останешься?.. Онъ застоналъ, заворочался на диванѣ. — Чѣмъ будешь ты жить, Варенька?..

Опять наступило молчаніе... Часы чикаютъ на столѣ; самоваръ поетъ свою пѣсенку... Тяжко дышетъ артистъ...

Невыразимою болью, тоской сжимается сердце дѣвушки... Смотритъ она на ярко-освѣщенное лампой лицо отца, блѣдное, изнуренное... Слезы сильнѣй и сильнѣй льются изъ ея глазъ... Но вотъ она отвернулась, поспѣшно отерла ихъ...

— А какъ сегодняшній сборъ, папочка? спрашиваетъ она и напрасно старается придать голосу спокойный, даже веселый тонъ. Нѣтъ, голосъ дрожитъ, выдаетъ ее...

— Сегодняшній сборъ? Да вотъ онъ. Артистъ приподнимается слегка съ дивана. — Пять... десять... двадцать пять... пятьдесятъ... — выбрасываетъ онъ изъ кармана кредитки.—Считай!..

— Шесть сотъ двадцать! говоритъ дѣвушка.— Да это вѣдь...

— Деньги... да, деньги! усмѣхнулся онъ.—Долго можно на нихъ прожить, только не намъ...

— Но почему же?

— Да потому... Развѣ ты не знаешь нашихъ расходовъ?

Дѣвушка замолчала, потупилась.

— Триста рублей отдать Унзеру. Это разъ... Сто рублей Ѳомину. Два... Сто двадцать пять — Волкову. Три... Сколько же это?—Пятьсотъ двадцать пять... Только девяносто пять рублей и останется...

— Да что же это за долги, папочка? Право, я что-то не помню...

Артистъ молчитъ...

— Нѣтъ, прежде мы какъ-то лучше жили, задумчиво говоритъ дѣвушка.—Да вотъ хоть бы въ О...—Комнатка маленькая, чистенькая... Такъ хорошо въ ней было, уютно!.. Столикъ рабочій, кушетка... цвѣты на окнѣ... Ахъ, какъ

я любила цвѣты, папочка!.. Помнишь тогда: фукція, желтофіоль, резеда... Какъ я ухаживала за ними!..

— Да, мы тогда лучше жили! повторяетъ она.—Положимъ, средствъ у насъ было меньше: концерты твои шли плохо,—сборъ былъ самый маленькій... (Впрочемъ, и общество тамъ какое-же! Что они понимаютъ!..) Но, все-таки, лучше было какъ-то, спокойнѣе... Ты не хворалъ тогда...

Артистъ стиснулъ руками голову и застоналъ.

— Что съ тобой, папочка? испугалась она. — Тебѣ дурно?

— Нѣтъ, нѣтъ, дитя, — ничего... Зачѣмъ только вспомнила ты о прошломъ?.. Прошлое... О, Господи, Боже мой!..

Дѣвушка, робко и съ удивленіемъ взглянула на него.

— Папочка! заговорила она.—Милый, голубчикъ!.. Зачѣмъ ты скрываешь отъ меня это прошлое? Оно тяжело было? Да?.. Сколько разъ спрашивала я тебя... Ну, скажи, сдѣлай милость,—скажи!..

Молчаніе. Только глубокій, подавленный вздохъ вырвался изъ груди артиста.

— Скажи, наконецъ, куда идутъ наши деньги? Какіе долги платишь ты? Зачѣмъ даешь столько бѣднымъ? — Голубчикъ! вѣдь много ихъ, этихъ бѣдныхъ... У насъ тоже средства не Богъ вѣсть какія,—а ты сколько разъ давалъ по десяти рублей, по пятнадцати...

Артистъ приподнялся съ дивана. Ярко блеснули его черные, глубоко-впалые глаза. Онъ укоризненно покачалъ головой.

— Ахъ, Варенька! Варенька! проговорилъ онъ. — Такъ тебѣ жаль этихъ денегъ?—Нѣтъ, милая, еслибъ ты знала только, что я самъ испыталъ въ жизни, что перенесъ,—ты не жалѣла-бы ихъ...

— Да, я не знаю, папочка...

— Ну, такъ слушай...

— Вотъ, какъ сейчасъ, помню, началъ артистъ слабымъ голосомъ. — Стоитъ мнѣ только закрыть глаза, — вижу я этотъ маленькій домикъ... Онъ не красивъ былъ снаружи, не красивъ и внутри... Стѣны — кривыя, голыя, нештукатуренныя; два-три стула, столикъ, сундукъ съ разнымъ хламомъ,—и все тутъ...

Жила здѣсь большая семья... Отецъ, далеко не старый еще человѣкъ, но уже сгорбленный, сѣдой весь отъ заботъ и лишеній; мать, блѣдная, худая женщина; пятеро ребятишекъ, малъ-мала менѣе... Зналъ я этого худого, сгорбленнаго человѣка, — да и еще-бы не знать!.. Онъ былъ чиновникъ, Варенька,—такъ, очень, очень мелкій чиновникъ... Поздно, часу въ шестомъ вечера, возвращался онъ со службы домой, садился обѣдать... — Перехвативъ на-скоро чего-нибудь и отдохнувъ съ полчаса, чиновникъ раскладывалъ на столѣ кучу бумагъ и усаживался за работу...

Помню я, какъ сейчасъ... Осень... На улицѣ темень, хоть глазъ выколи; вѣтеръ воетъ, дождь мороситъ... Въ комнатѣ сыро, холодно... Лежатъ на полу, подъ кучей разныхъ лохмотьевъ, пятеро ребятишекъ... Не спится имъ... Тускло горитъ сальная свѣчка; чиновникъ сидитъ за столомъ и пишетъ, пишетъ... Изрѣдка остановится онъ, потретъ сморщенный лобъ, бумагами пошуршитъ,—и опять заскрипѣло перо... Пѣтухи давно ужъ пропѣли; того и гляди, разсвѣтъ скоро,—а все еще сидитъ за работой чиновникъ.— Холодно ребятишкамъ: слиплись глазенки... Въ комнатѣ точно туманомъ какимъ-то подернулось, и только поблескиваетъ еще сквозь этотъ туманъ огонекъ свѣчки, да виднѣется у стола фигура отца... Но теперь перо его уже не такъ бойко бѣгаетъ по бумагѣ... Онъ останавливается все чаще и чаще; трясетъ онѣмѣвшей рукой, дуетъ на пальцы...—Но вотъ и утро забрезжило... Глянули въ запотѣвшія стекла окна тусклые лучи осенняго солнца... Въ домикѣ уже давно всѣ на ногахъ... Отецъ допиваетъ стаканъ чая, надѣваетъ старенькій, заштопанный вицъ-мундиръ, и на

рысяхъ бѣжитъ въ судъ... Мать отправляется въ кухню, печку затапливаетъ, а мы, ребятишки... Вѣдь ты догадалась, Варенька, про кого я говорю?..

— Да, догадалась,—грустно говоритъ дѣвушка и глубоко вздыхаетъ.

— Мы, ребятишки, за ней... И, Господи, что̀ за радость была для насъ, что̀ за праздникъ, когда были дрова!.. (А они далеко не всегда были, Варенька̀: жалованье отецъ получалъ крошечное, и мы перебивались изо дня въ день). Какъ весело было стоять намъ у ярко пылающей печи! Какое тепло охватывало наши дѣтскія тѣльца!.. Мы не бѣсились: не бѣгали, не скакали по комнатамъ, — нѣтъ, намъ не до игръ было... Мы объ одномъ только думали: какъ бы погрѣться... Да... ну, а потомъ поѣсть бы чего-нибудь, хоть хлѣба кусочекъ, червячка заморить...—Зимой бывало еще хуже... Вода мерзнетъ въ кухнѣ; закоченѣешь весь; паръ клубомъ валитъ изо-рта... Ну, вотъ тогда учиняли мы бѣготню, да и то не для игры вовсе, а чтобы согрѣться... — Артистъ замолчалъ, перевелъ духъ... Грудь его тяжело подымалась...

— Да, много вынесли мы, продолжалъ онъ, послѣ нѣкотораго молчанія.—Все было, милая: и голодъ и холодъ... На улицѣ морозъ страшный, чуть птицу не бьетъ на лету, — а ты бѣжишь въ школу, въ старенькомъ материномъ капотикѣ; изъ сапоговъ пальцы выглядываютъ... Придешь въ классъ,—и тамъ—не радость—смѣются мальчишки, подтруниваютъ... «Гляньте-ка, говорятъ, братцы,—въ какую онъ шинель нарядился!.. Гдѣ покупалъ? Почемъ аршинъ бралъ?— Эхъ, ты, сморчокъ этакій!.. А еще батька чиновникъ... И сапоги вонъ тоже, смотрите-ка: каши просятъ!.. «Молчишь, какъ убитый; слезы только кулакомъ отираешь... Скверно!..

— Негодяи... безсовѣстные!.. чуть выговорила сквозь слезы дѣвушка.

— Вернешься домой: холодно, грязно... Мать мечется изъ угла въ уголъ, какъ угорѣлая,—объ обѣдѣ хлопочетъ...

Отецъ также бьется, какъ рыба объ ледъ: корпитъ надъ бумагами... — Да, тяжело было, Варенька, о-ой, тяжело!.. Господи! думаешь, иной разъ. Чѣмъ бы помочь имъ? Какъ бы помочь имъ? Какъ бы такъ сдѣлать, чтобы хоть дрова-то всегда въ домѣ были?—Да какъ тутъ поможешь? чѣмъ?

— И вы долго такъ жили, папочка?

— Долго, милая, долго... Знаешь только: не прерывай ты меня... Тяжело вспоминать, — да ужъ началъ разъ, — все разскажу по порядку, если... если только силъ хватитъ...

— Лѣтомъ намъ лучше было, продолжалъ онъ.—Да и еще бы: теплынь, благодать: ни дровъ не надо, ни платья лишняго... Ѣли даже сытнѣй, а иной разъ и рубликъ—другой оказывался въ запасѣ...

Рѣчка тутъ протекала, отъ насъ недалёко;—узенькая, помню, такая, глубокая... Берега ивой всѣ поросли, ракитою... Встанешь это, бывало, еще до солнышка; удочки возьмешь, сачки, ловушки для раковъ, — да и на промыселъ... Посидишь до обѣда, — глядь ужъ на уху и наловлено, да и раковъ съ полсотни вытащишь... А иной разъ, не только самимъ на обѣдъ, и на продажу хватало: все гривенникъ какой выручишь, пятіалтынный... А тамъ грибы опять, ягоды... Всѣмъ семействомъ въ лѣсокъ пойдемъ, бродимъ въ немъ чуть не до ночи... Да, лѣтомъ хорошо было! повторилъ онъ и даже слегка улыбнулся...

— Помню, вотъ какъ теперь... Вечеръ... тепло... Точно зеркало стоитъ гладко и неподвижно наша Проворка... сидишь подъ ракитой, глазъ съ поплавка не сводишь... Вонъ легкій блескъ: рыба метнулась; рябь пробѣжала легкая, круги, — и опять тихо, спокойно... Вотъ ужъ и темнѣть слегка стало... Вдругъ, тамъ, за рѣчкой, соловей свистнулъ; еще разъ, еще... Господи, что за чудо, за прелесть!.. Все позабудешь: и рѣчку, и поплавки, и мать, что ждетъ тебя къ ужину... Какъ заколдованный, сидишь ты, и все слу-

шаешь, слушаешь... Вотъ и совсѣмъ стемнѣло; звѣзды зажглись на небѣ; луна выглянула изъ-за лѣса... Точно, какъ окунулась она въ почернѣвшую воду рѣчки, да такъ и осталась тамъ, тихая, неподвижная... Вотъ огонекъ мелькнулъ: лодка плыветъ... Это дѣдушка Агафонъ, старый рыбакъ, поѣхалъ острогой лучить рыбу... Тутъ только вздрогнешь, очнешься... Соберешь удочки — и домой...— Дома отецъ сидитъ за столомъ, работаетъ; въ кухонкѣ печь затоплена; мать хлопочетъ, ставитъ котелокъ съ водой, для ухи; сестренка окуней, ершей пойманныхъ чиститъ... А въ окно такъ и льются снопы луннаго свѣта, серебромъ заливаютъ они покосившійся полъ... И точно веселѣй какъ-то выглядитъ нашъ старый, убогій домишко.

Поздно ужъ, — ночь; всѣ спять давно; даже отецъ,— и тотъ легъ, — а ты все не спишь, ворочаешься съ боку на бокъ,—душно... Встанешь, высунешься въ окно, дышешь ночнымъ, свѣжимъ воздухомъ, слушаешь чудную пѣсню... А соловей, какъ нарочно, все лучше поетъ, — заливается... Забудешься, да тутъ же, на подоконникѣ и уснешь...

— Ну, а музыка, папочка? опять перебила дѣвушка. — Когда ты учиться сталъ?

— А вотъ, погоди, сейчасъ... музыка... да... задумчиво проговорилъ онъ.—Много горя я перенесъ съ этой музыкой... Жизнь она мнѣ дала, міръ какой-то новый открыла,— чудный, волшебный, невѣдомый... И перенесся я, Варенька, въ этотъ міръ, душой всей отдался, все забывалъ...

— Да, повторилъ онъ съ какимъ-то отчаяніемъ, — *все* забывалъ... Но, постой, слушай...— Исполнилось мнѣ тринадцать... нѣтъ, впрочемъ, — четырнадцать лѣтъ, — я кончилъ училище... Куда было дѣваться?—Вѣдь не сидѣть же на шеѣ у бѣдной, семьи, надо самому хлѣбъ зарабатывать... — И вотъ помѣстилъ меня отецъ въ тотъ самый судъ, гдѣ самъ тридцать лѣтъ корпѣлъ за бумагами...

Сыро, холодно, грязно; пахнетъ какой-то плѣсенью... За столами сидятъ блѣдные чиновники, дурно одѣтые,

и что-то строчатъ... Сидишь и ты между ними, въ какомъ-то капотикѣ, перешитомъ изъ отцовскаго вицъ-мундира, въ дырявыхъ, истоптанныхъ сапожонкахъ, и тоже строчишь... Чиновники, то и дѣло, ворчатъ на тебя, а секретарь Павелъ Петровичъ (сердитый старикъ) нѣтъ-нѣтъ да и наградитъ подзатыльникомъ... Пишешь, — самъ не знаешь, что̀ пишешь, портишь бумагу, бланки... Выводишь что-то такое, а у самого на умѣ: славно бы теперь въ лѣсу посидѣть, гдѣ-нибудь, подъ деревомъ, птичекъ послушать, грибковъ посбирать... И зачѣмъ, думаешь, эти бумаги? Куда ихъ столько?.. Скука, тоска!.. Отецъ ворчитъ, сердится: безмозглый ты, говоритъ, какой-то, понять ничего не можешь!.. — И точно, — не понималъ... Одно только и утѣшало: все, думаешь, хоть какую-нибудь пользу семьѣ приносишь... Жалованья мнѣ назначилъ полтинникъ въ мѣсяцъ...

Дѣвушка не могла скрыть улыбки.

— Смѣшно? — Да, смѣшно, ну, а все же... Все въ мѣсяцъ дня на два голодныхъ меньше... — Служу я два мѣсяца, три, четыре... Вдругъ только, разъ какъ-то... О, я никогда не забуду этого дня! — Иду я по улицѣ... Вечеръ осенній былъ; холодно, дождикъ накрапывалъ... Иду, кутаюсь поплотнѣе въ пальтишко, дрожу... А сапоги такъ и чавкаютъ: грязь, лужи непроходимыя... И, вдругъ, меня точно ударилъ кто,—остановился я какъ вкопанный... Что же это такое? — Звуки какіе-то, чудные звуки, лились изъ отвореннаго окна одного дома... Замеръ я, — слушаю... А звуки все лучше и лучше: такъ и дрожатъ, звенятъ, переливаются... «Соловей это?» — Нѣтъ, соловей такъ не можетъ пѣть... Что же это такое?...

— Я понимаю, папочка, скрипка...

— Да, скрипка, Варенька... Только я никогда прежде не слыхалъ скрипки: у насъ въ городѣ ея ни у кого не было... Такъ, гитара, гармоника, да у исправника еще клавикорды, на которыхъ никто не игралъ: половины

струнъ не было.—Стою, слушаю... Вдругъ звуки замолкли... Жду... Холодно; дождь полилъ, какъ изъ ведра; промокъ я до нитки, продрогъ... Да не до холода было мнѣ... Жду я, жду... Нѣтъ, — окно вдругъ захлопнулось, огонь погасъ... Ужъ и не помню я, какъ пришелъ домой, какъ раздѣлся и легъ... Всѣ думали, что я пьянъ...

— А дальше я знаю, папочка: ты сталъ учиться...

— Да, милая, я сталъ учиться... Я познакомился съ нимъ... Онъ былъ простой музыкантъ, — итальянецъ, и игралъ гдѣ-то, въ театральномъ оркестрѣ, первую скрипку... Какъ онъ попалъ въ нашъ бѣдный, заброшенный городишко, — Богъ его знаетъ. Онъ никогда не любилъ объ этомъ разсказывать... Теперь онъ умеръ, — давно ужъ, очень давно, гдѣ-то, въ глуши, и умеръ чуть ли не съ голоду... — Нѣтъ, никогда мнѣ его не забыть, Варенька. Говорятъ, — я талантъ, крупный талантъ... мнѣ апплодируютъ, букеты, вѣнки подносятъ... Но что я, въ сравненіи съ нимъ?!.. Такъ, ученикъ просто... Мнѣ кажется, всѣ эти знаменитые скрипачи, всѣ эти Сивори, Маркети, Меркаданте, Петрелло, Пачини — не были лучше его... Онъ не талантъ былъ — геній!.. Самъ Паганини призналъ бы его опаснымъ соперникомъ... — И такъ я познакомился съ нимъ... Я не стану тебѣ говорить, о чемъ мы толковали, т.-е. онъ толковалъ, а я слушалъ (онъ очень порядочно говорилъ по русски). Скажу только — я сталъ учиться!.. — «Я даромъ васъ буду учить, говорилъ онъ, — вы только скрипку купите». — Да, легко сказать: скрипку купите! На какія средства купить ее? Гдѣ? — И вотъ я сталъ копить деньги. Но *какъ* копить?.— Я бралъ переписку бумагъ, по три копѣйки съ листа, пакеты клеилъ для лавокъ; гвозди, желѣзо ржавое на улицѣ подбиралъ; кости сбиралъ, тряпки, стекло битое... Я по копѣйкамъ оттягивалъ у голодной семьи изъ жалованья своего и отцовскаго... Да, вотъ какъ копилъ!.. — Прошелъ безъ малаго годъ, — и тогда только я могъ выписать изъ губернскаго города скрипку въ десять рублей...

Артистъ опять замолчалъ и страшно закашлялся. И безъ того мертвенно-блѣдное лицо его поблѣднѣло еще больше; на лбу выступилъ потъ... Все тусклѣй и тусклѣй свѣтила догоравшая лампа; часы чикали на столѣ... Вся раскраснѣвшаяся отъ волненія, дѣвушка глазъ не сводила съ отца...

— Нѣтъ, никогда не забыть мнѣ эти шесть лѣтъ, — опять продолжалъ онъ, — эти послѣднія шесть лѣтъ подъ родительской кровлей... Ты не можешь представить, Варенька, что перечувствовалъ я въ это время, что перенесъ!.. — Отецъ и слышать не хотѣлъ о музыкѣ; онъ называлъ ее пустой, безполезной забавой... Выкинь ты изъ головы эту дрянь! не разъ говорилъ онъ. — Опомнись!.. Взгляни на меня... Всю жизнь я бился изъ-за куска хлѣба, всю жизнь работалъ, — а что нажилъ? — Видишь! Не долго ужъ мнѣ небо коптить: не сегодня, завтра умру. На кого же тогда мать-то останется? На кого останутся твои маленькіе братишки, сестренки? — Или тебѣ по-міру ихъ пустить хочется? — Что жъ, зачѣмъ дѣло! Пусть поютъ Лазаря по подоконьямъ... Вотъ ты говоришь, что изъ тебя, можетъ быть, музыкантъ выйдетъ; можетъ, ты средства будешь имѣть большія... Вздоръ! Все это журавли въ небѣ... Оставь свою скрипку и займись службой... Вѣдь ты теперь что дѣлаешь? — Ты по два дня, иной разъ, въ судъ не являешься, — пропадаешь, Богъ знаетъ гдѣ... А и придешь, — что въ томъ толку? — Ты ни одной бумаги правильно не напишешь, — все переврешь... Павелъ Петровичъ ворчитъ... А что, какъ онъ прогонитъ тебя? Куда ты? Собакамъ сѣно косить... — Горько мнѣ это было, Варенька, охъ, какъ горько!.. Я понималъ, что въ словахъ отца было много правды. Но согласиться съ нимъ я не могъ. Я не могъ бросить музыку: я пристращался къ ней все больше и больше... — Случалось нерѣдко, лѣтомъ: отецъ въ судъ пойдетъ, а я потихоньку, скрипку подъ мышку, да какъ воръ, крадучись — въ лѣсъ... Заберусь тамъ въ самую глушь,

подъ деревомъ сяду... Тихо, тепло... Свѣжій воздухъ такъ и льется тебѣ въ грудь... Небо ясное, чистое... Солнышко свѣтитъ, птички поютъ... Легкій вѣтерокъ наноситъ къ тебѣ запахъ сосновой смолы, цвѣтовъ... Сядешь, скрипку возьмешь, играешь, — и легче тебѣ, какъ будто, станетъ нà сердцѣ... Придетъ иногда и учитель... Жалуюсь я ему, горе свое высказываю... — Э, ничего, говоритъ, не унывайте: все перемелется — мукà будетъ... Даромъ ничто не дается... Бѣдность... Что жъ дѣлать, — терпите!.. Есть въ васъ что-то такое... талантъ есть... Учитесь, развивайте его... какъ знать, — можетъ васъ слава ждетъ, состояніе... Многіе, говоритъ, такъ начинали... — И я слушалъ, Варенька, слушалъ... Онъ говорилъ о знаменитыхъ ученыхъ, поэтахъ, артистахъ... Ихъ жизненный путь далеко не всегда былъ усыпанъ розами, — о, нѣтъ, напротивъ!.. Большинство изъ нихъ вышло изъ бѣдныхъ, простыхъ классовъ народа... Родители ихъ были грубы, невѣжды и не могли понять, что въ ихъ дѣтяхъ есть искры таланта, генія, которыя Господь Богъ даетъ лишь немногимъ смертнымъ... Они не могли понять, что, кромѣ обыденной, повседневной жизни, заботъ о кускѣ насущнаго хлѣба, — еще есть кой-что другое, возвышенное, что такъ благотворно дѣйствуетъ нà сердце, нà душу человѣка, дѣлаетъ его лучше, мягче, добрѣе, отзывчивѣе на людскія скорби, страданія и возвышаетъ, облагораживаетъ его, приближаетъ къ Богу... Не понимали они, что не тушить надо эти святыя искры, а раздувать, раздувать ихъ: пусть превратятся онѣ въ огонекъ, въ цѣлое пламя... Они дѣлали все, что могли, чтобы загасить ихъ: пускались въ ходъ просьбы, мольбы, угрозы... И многіе не выдерживали, — склонялись... Гасли святыя искры, и человѣкъ, въ сердцѣ котораго тлѣли онѣ, становился простымъ дюжиннымъ человѣкомъ... А вѣдь онъ цѣлой головой могъ бы стоять выше толпы, и могъ бы такъ хорошо, такъ благотворно на нее дѣйствовать!.. — Да, были такіе, и много... Но и такихъ

не мало бывало, которые все выдерживали до конца... Не зарывали, не прятали они свой талантъ въ землю, — о, нѣтъ!.. Всю жизнь они отдавали ему, всю жизнь шли за голосомъ божественнаго призванія... И тяжела часто была эта жизнь... На каждомъ шагу — горе, нужда, заботы, лишенія... Не розы, а терніи встрѣчались имъ на пути, камни острые... Но они шли и шли... Иглы вонзались имъ въ ноги, камни рѣзали ихъ... Но они знали, что тамъ, дальше, ихъ ждетъ отдыхъ, покой... — Да, много онъ мнѣ чего говорилъ, Варенька, — онъ былъ очень умный, начитанный человѣкъ... Я слушалъ, — и мнѣ дѣлалось какъ-то легче, спокойнѣй на сердцѣ... Я забывалъ все: и отца, блѣднаго, исхудалаго, ночи просиживающаго надъ работой; и мать, и братишекъ и сестренокъ, оборванныхъ, полуголодныхъ; я забывалъ нашъ сѣрый и холодный домикъ... Мнѣ представлялось, что и я одинъ изъ тѣхъ, въ комъ горятъ эти святыя искры, и предо мною лежитъ путь, тяжелый, тернистый... И я иду, бодро иду по немъ... Что мнѣ за дѣло до этихъ нуждъ и лишеній, до горя родныхъ: вѣдь тамъ дальше есть блаженная страна... Тамъ тишина и покой... Пусть же плыветъ мой челнокъ и борется съ бурями... Я вѣдь, пловецъ, силенъ душой и «вынесутъ его волны» въ эту страну... И поселится онъ тамъ, вмѣстѣ съ родными, вознаградитъ ихъ за все горе, лишенія, непріятности... И всѣмъ будетъ такъ хорошо, всѣ будутъ рады, довольны и счастливы... — Я даже сны на яву видѣлъ, Варенька... Мнѣ представлялась. громадная зала, вся залитая огнями; блескъ кругомъ... Публика... Разодѣтыя дамы... Крики восторга... апплодисменты, цвѣты... море цвѣтовъ... букеты... вѣнки... Я на эстрадѣ, со скрипкой въ рукахъ... Чудная музыка льется изъ инструмента... Звуки, чарующіе, волшебные, проникаютъ въ сердца и заставляютъ ихъ биться сильнѣе... И бьются они отъ радости, отъ восторга; сжимаются, замираютъ отъ горя... Я, — какъ волшебница-фея своей магической палочкой, — дѣлаю ихъ лучше,

добрѣе, отзывчивѣе къ людскому горю, страданіямъ... Грустныхъ, печальныхъ, я утѣшаю веселой мелодіей... Я заставляю ихъ забыть горе, нужду, — забыться хоть на мгновеніе и отдохнуть... Для тѣхъ, кто веселъ не въ мѣру, кто всю свою жизнь порхаетъ, какъ бабочка по цвѣтамъ,— играю я грустный мотивъ... Я заставляю ихъ вспомнить, что въ мірѣ не все одинъ смѣхъ да веселье, — а есть въ немъ много и горя и слезъ... — И музыка производитъ на нихъ свое волшебное дѣйствіе... А я... я такъ счастливъ, Варенька, такъ доволенъ: я чувствую себя человѣкомъ, который приноситъ пользу другимъ... — Да, вотъ какіе сны видѣлъ я на яву, Варенька!.. Я видѣлъ себя вполнѣ обезпеченнымъ, въ просторной квартирѣ... Вездѣ порядокъ, довольство... Живу я со своей семьей, такъ хорошо, славно, мирно... Мы любимъ другъ друга, ни въ чемъ никогда не нуждаемся... Отцу ужъ не надо корпѣть надъ бумагами, изъ-за куска хлѣба. Довольно ужъ поработалъ онъ, потрудился, пора отдохнуть... Пусть отдохнетъ и моя бѣдная мать: сколько приходится ей выносить!.. Сестренки, братишки... Не будутъ они больше ходить въ однѣхъ разорванныхъ, заплатанныхъ рубашенкахъ, голодать, холодать; не будутъ они зимой, въ морозы трескучіе, согрѣвать свои ручки дыханьемъ за неимѣніемъ въ домѣ дровъ, — нѣтъ!.. Всѣ будутъ сыты, одѣты, въ теплѣ; всѣ будутъ довольны и счастливы...

Артистъ опять замолчалъ и, съ трудомъ, перевелъ духъ. Дѣвушка глазъ не спускала съ него; грудь ея тяжело подымалась... Гдѣ-то тамъ, за стѣною, часы пробили три... Въ полуопущенную гардину окна слегка забрезжилъ утренній свѣтъ...

— Да, все это были сны, Варенька — опять говорилъ артистъ, — такіе сладкіе, сладкіе сны... А дѣйствительность, — Боже мой!.. — Возвращаешься домой такой довольный, веселый, такъ хорошо, такъ легко на сердцѣ... Только вошелъ, — бѣдность, нужда страшная, такъ и ударитъ въ

глаза... Холодно, сыро, грязно... мать накрываетъ на столъ: отецъ только что вернулся со службы, усталый, голодный... Подаютъ вчерашнія подогрѣтыя щи, да не такія щи, Варенька, какія мы ѣли сегодня, — нѣтъ, безъ говядины, — капуста кислая, лукъ, да такъ (больше для виду) плаваетъ въ нихъ кусочекъ свиного сала... Отецъ, точно волкъ, накидывается на ѣду; точно волчата кидаются на нее братья, сестренки... А я... да я такъ только ложкою поболтаю; мнѣ вовсе не хочется ѣсть, — кусокъ нейдетъ въ глотку... Сижу я глазъ не смѣю поднять на отца... Мнѣ стыдно... — Ну, что, *музыкантъ?* говоритъ онъ и такъ насмѣшливо улыбается. (Онъ постоянно звалъ меня музыкантомъ!.. Дразнили меня музыкантомъ и ребятишки уличные. Выйдешь, бывало: «а, музыкантъ, музыкантъ! Съиграй-ка намъ что-нибудь повеселѣе, а мы попляшемъ!») — Ну, говоритъ, музыкантъ, — развѣ не голоденъ? Усталъ вѣдь, поди, на прогулкахъ? — «Молчу я». — А Павелъ Петровичъ опять о тебѣ спрашивалъ. Что это онъ у васъ тамъ, говоритъ: на скрипкѣ все, что-ли, играетъ? Скажите-ка ему: вѣдь одно что-нибудь выбирать надо; или музыку, или службу. — Ну, что жъ ты молчишь, а? Русскимъ я тебя языкомъ спрашиваю: бросишь ты, или нѣтъ, скрипку? — «Молчу я.» — Ну, Николай, ни разу я еще тебя не ударилъ, — не можешь пожаловаться... а теперь придется. Не дѣйствуютъ на тебя ни ласки, ни просьбы, такъ вотъ, можетъ, ремень не подѣйствуетъ ли?

— Папочка! И тебя били?

— Пальцемъ не тронулъ, Варенька, — нѣтъ. Такъ только стращалъ... — Ну, говоритъ, буду бить — больно будетъ... — Заплачешь... Господи, Боже мой, что же мнѣ дѣлать! Я такъ люблю, такъ люблю музыку!.. — А, любишь музыку! Ну, а отца, мать, братьевъ, — не любишь? Нѣтъ? — Ну, конечно, что тебѣ въ нихъ, — наплевать!.. Пусть бьется отецъ какъ рыба объ ледъ, пусть бьется мать. Скоро умру я, — схоронятъ меня на счетъ благодѣтелей... Вѣдь у меня,

знаешь, гроша мѣднаго за душой нѣтъ... А мать тамъ, сестренки, братишки... Ну, что жъ, — пусть корзинки надѣнутъ на руки, да пойдутъ канючить: милостинку, Христа ради! Туда и дорога!.. Они по подоконьямъ будутъ ходить, а ты имъ на скрипкѣ наигрывай: все же оно веселѣй такъ-то»...

Артистъ опять замолчалъ и страшно закашлялся.

— Папочка! бросилась къ нему дочь. — Ты усталъ, голубчикъ... Оставь! Не надо говорить много...

— Все равно, доскажу. Началъ, такъ ужъ надо докончить... Ты только воды дай мнѣ стаканчикъ.

Онъ выпилъ глотка два-три; отеръ со лба капли пота.

— Прошло года два, Варенька, — продолжалъ онъ. — Умеръ отецъ... — Да, правду онъ говорилъ: въ домѣ гроша мѣднаго не было, схоронить нечѣмъ... Нашлись добрые люди: кто рубль, кто полтинникъ, двугривенный, — коекакъ насбирали... — Снесли мы на кладбище этотъ простой, некрашенный гробъ, спустили его въ мерзлую землю... Мать моя... О, какъ она убивалась, бѣдная!.. Рыдала, волосы рвала на себѣ... Съ трудомъ оттащили ее отъ могилы... А я нѣтъ, я не плакалъ, Варенька... Я не могъ плакать... Слезы ключемъ накипали въ груди, давили, душили меня, но не хотѣли литься... И какъ же больно, какъ тяжело было мнѣ!.. Я чувствовалъ себя виноватымъ... Казалось, что я былъ причиной смерти отца... Да это и правда, отчасти... Не манкируй я такъ службой, трудись, работай побольше, не огорчай его такъ, какъ я его огорчалъ, — вѣдь, можетъ, онъ еще прожилъ бы года два... Ну, да что сдѣлано, того не поправишь... — Осталась семья, нищая и голодная, и я одинъ былъ кормилецъ этой семьи... И вотъ, Варенька, я принялся работать, трудиться — Богъ одинъ знаетъ, сколько чего передѣлалъ я въ эти три года; сколько было безсонныхъ ночей... Усердно, изо-дня въ день, ходилъ я на службу, все дѣлалъ тамъ что ни приказывали... Мной были довольны, прибавили жалованья... Я бралъ переписку

бумагъ; опять сталъ сбирать разный мусоръ: кости, тряпки, стекло битое, и продавалъ ихъ; рыбу, раковъ ловилъ; птичекъ училъ пѣть, ходилъ даже читать псалтирь по покойникамъ, и, иной разъ, за это кое-что перепадало, а ужъ особенно отъ богатыхъ купцовъ... Да, я работалъ, какъ волъ, до упаду, — и порядочно зарабатывалъ... И еще бы! Вѣдь у меня была цѣль впереди... Я думалъ ѣхать туда, за границу, въ консерваторію, и тамъ учиться...

— А мать твоя, папочка, братья?

— Молчи, молчи, Варенька! — Онъ застоналъ. — Не растравляй ты эту старую рану: болитъ еще она до сихъ поръ... — Я *обворовывалъ* свою мать, своихъ братьевъ и сестеръ... Да, я, кормилецъ, опора, надежда семьи, — я ее *обворовывалъ!*.. По прежнему, не доѣдали, не допивали мы; по прежнему, ходили въ заплаткахъ... Вѣдь я копилъ деньги. Ты понимаешь, — копилъ!.. Себѣ всегда и во всемъ отказывалъ, — грошъ прибавлялъ къ грошу, копѣйку къ копѣйкѣ, — да заставлялъ отказываться и другихъ... — Э, да лучше молчать ужъ... Такъ тяжело вспоминать... Не буду тебѣ говорить, чего мнѣ все это стоило: всѣ эти сборы въ дорогу, прощанья, слезы, упреки... Скажу только одно: я уѣхалъ... Да, прошло три года со смерти отца, и я навсегда покинулъ свой родной домикъ, свою мать, братьевъ, сестеръ, покинулъ Россію, и въ одинъ прекрасный весеній день очутился въ Парижѣ...

— Парижъ — городъ большой, очень большой, Варенька, — куда больше Москвы, Петербурга... Но онъ не произвелъ на меня особенно пріятнаго впечатлѣнія... Меня поразилъ сперва этотъ блескъ, эти громадныя зданія, магазины, вѣчный шумъ, суетня, снованіе взадъ и впередъ... Разумѣется я передъ всѣмъ останавливался, разѣвалъ ротъ и разъ двадцать, по крайней мѣрѣ, чуть не былъ раздавленъ колесами экипажей, еще въ первый же день по пріѣздѣ... —

Квартиру я нанялъ въ одномъ изъ громадныхъ, шести-этажныхъ домовъ, въ улицѣ Риволи.

— А по-французски ты научился, папочка?

— Да, только очень мало, дитя мое... Меня училъ итальянецъ... Какъ говорятъ — я почти все понималъ, но объяснялся плохо... И такъ я нанялъ квартиру въ улицѣ Риволи... Это была крошечная мансарда, подъ самой крышей, сырая, холодная. Зимой въ ней было почти такъ же холодно, какъ и въ нашемъ домишкѣ; лѣтомъ — духота нестерпимая... — Представь себѣ комнатку, Варенька, съ голыми, каменными стѣнами, по которымъ, тамъ и сямъ, расплылись пятна отъ сырости... Въ единственное окошечко виднѣлся небольшой клочекъ неба, да крыша сосѣдняго зданія... Въ комнаткѣ столъ трехногій; на немъ груда нотъ; скрипка въ футлярѣ; два стула, кровать желѣзная, съ жидкимъ матрасомъ... Ну, вотъ и все тутъ... Да, впрочемъ, забылъ: камина не было (а тамъ вѣдь вездѣ камины; русскихъ печей нашихъ нѣтъ), его замѣняла жаровня... — Вѣдь ты читала, Варенька, «Les misérables» Гюго? Помнишь, какъ тамъ описывается жизнь пробивающаго себѣ дорогу писателя, Марія?— Онъ покупалъ котлетку и ѣлъ ее три дня, подъ рядъ: въ первый день онъ ѣлъ мясо, во второй жиръ, а въ третій обгладывалъ кость... На завтракъ онъ покупалъ себѣ яйцо, или хлѣбецъ въ одинъ су, смотря по деньгамъ... — Я жилъ, пожалуй, еще скромнѣе, чѣмъ онъ... Да вотъ, приведу я тебѣ одинъ день на выдержку, и по нему ты можешь судить о моей жизни. А эти дни были почти всѣ одинаковы... — Вставалъ я и зимою и лѣтомъ, часовъ въ 6 утра, и тотчасъ же усаживался за работу, при тускломъ свѣтѣ маленькой лампочки... — Денегъ, что я скопилъ тамъ, на родинѣ, едва достало мнѣ только на путешествіе, да на первые 5 — 6 дней жизни въ Парижѣ... А вѣдь жить чѣмъ-нибудь надо было, кормиться и платить за уроки въ консерваторію... Я взялся переписывать ноты у одного, извѣстнаго въ то время, композитора. Моя работа ему понравилась, и онъ рекомен-

довалъ меня еще нѣсколькимъ музыкантамъ. Такимъ образомъ, я былъ почти заваленъ работой и кое-что доставалъ (артисты мнѣ платили недурно). — И такъ, въ 6 часовъ я садился за переписку. Поработавъ часа 2 — 3, не разгибая спины, я разводилъ жаровню и поджаривалъ себѣ хлѣбъ къ завтраку. Послѣ завтрака я отправлялся въ консерваторію... Я не буду тебѣ описывать, Варенька, какъ я учился, — это было бы слишкомъ долго разсказывать. Скажу только, что уроки мои шли превосходно. Я живо постигъ теорію музыки, весь механизмъ скрипичной игры,— и взялся за практику. Профессора были мною очень довольны, особенно одинъ,—какъ теперь помню, — это былъ красивый, стройный мужчина, съ высокимъ, открытымъ лбомъ,—онъ находилъ во мнѣ талантъ и сулилъ блестящую будущность... — Ты можешь себѣ представить, Варенька, какъ это меня поощряло!.. И я работалъ, работалъ... — Домой я возвращался ужъ поздно вечеромъ... Идешь, иной разъ... Холодно; дождь мороситъ; сквозь легкій туманъ, окутавшій улицы, какъ звѣздочки, блестятъ фонари. Идешь, ногъ подъ собой не чувствуешь... Въ ушахъ все еще раздаются эти чудные звуки, что слышалъ тамъ, въ консерваторіи. Идешь, точно въ чаду какомъ-то, и ничего не видишь кругомъ, не слышишь, то и дѣло наталкиваешься на прохожихъ и экипажи... И что за дѣло тебѣ до всей этой толкотни, этого шума! Не замѣчаешь ты разодѣтыхъ дамъ, кавалеровъ, куда-то спѣшащихъ въ своихъ роскошныхъ коляскахъ, запряженныхъ кровными рысаками... Какой рѣзкій контрастъ съ этими лэди и джентльменами представляетъ твоя собственная фигурка, жалкая, въ старомъ пальтишкѣ, въ заплатанныхъ сапогахъ, со скрипкой подъ мышкой!.. Не замѣчаешь ты этихъ, залитыхъ огнями, зеркальныхъ стеколъ, изъ-за которыхъ горятъ и сверкаютъ брильянты, выставленные тамъ на приманку взоровъ жадной толпы... Какое мнѣ дѣло до всего этого!.. Какое дѣло, что у меня, съ утра, крошки во рту не было, и мой же-

лудокъ почти такъ же пустъ, какъ и мой карманъ... Идешь, самъ не знаешь, куда, — тебя просто сила тянетъ какая-то... И вотъ оказываешься у себя, у подъѣзда этого шестиэтажнаго дома... — Обѣдъ мой немногимъ отличался отъ завтрака. Къ поджаренному хлѣбу я прибавлялъ ломтики сыру, или ветчины, яйцо въ смятку. Изрѣдка покупалъ пару телячьихъ котлетъ и самъ жарилъ ихъ на жаровнѣ...

— И ты голодалъ, папочка?

— Нѣтъ, не скажу, милая,—не голодалъ. Такъ, просто, какъ-то не до ѣды было... Съѣшь свою скудную порцію и сытъ... Музыка отвлекала... Ты представь себѣ, Варенька... (Онъ приподнялся; въ глазахъ его блеснулъ огонекъ; на блѣдныхъ щекахъ выступилъ легкій румянецъ). Ты представь: крошечная, сырая каморка; лампочка тускло горитъ... Въ отворенное настежь окно врывается свѣжій, сырой, ночной воздухъ... Луна глядитъ изъ-за тучъ; ярко горитъ синяя звѣздочка тамъ надъ самою крышей: дрожитъ, переливается ея свѣтъ, точно мигаетъ... Слышится шумъ еще не уснувшаго города; стукъ экипажныхъ колесъ... И вотъ я, усталый, измученный перепиской, сажусь на подоконникъ, со скрипкой въ рукахъ, и играю... О, Боже, какъ хорошо!.. Волнами льются изъ-подъ смычка звуки; звенятъ они, серебромъ разсыпаются въ воздухѣ... То слышится радость въ нихъ, тихая, мирная, мягко, какъ бархатъ, звучатъ эти ноты, переходятъ отъ *allegro* къ *piano, adagio*... То, вдругъ, эта тихая, и скромная радость смѣняется какимъ-то бурнымъ весельемъ: *piano* замѣняетъ *forte fortissimo*... Но вотъ все тише и тише... Веселый мотивъ замѣняется вдругъ грустнымъ, печальнымъ. Звуки дрожатъ, чуть слышно звенятъ въ воздухѣ... Точно усталъ человѣкъ смѣяться, — горе какое-то посѣтило его: грустно ему, тяжело на сердцѣ, — и вотъ звуки *con anima, con dolore... Con anima*... Да... Всю душу, все сердце влагалъ я, Варенька, въ инструментъ... Я самъ и смѣюсь и хохочу... У меня вдругъ является какой-то припадокъ веселья,

безумной радости... И вотъ льется бравурная арія... А то опять грустно... Такъ грустно и тяжело... Играешь, играешь, а слезы такъ и бѣгутъ изъ глазъ ручейками и падаютъ на деку скрипки... Веселой, бурно веселой музыки я не любилъ, Варенька... Да мнѣ и не до нея было... Я вспоминалъ мать, отца, братишекъ своихъ, сестренокъ, — а сколько тамъ было горя и слезъ!.. Мнѣ приходили въ голову и тѣ картинки бѣдности, крайней нищеты: оборванные и голодные мать и отецъ, оборванные и голодные дѣти... И сколько я видалъ въ своей жизни такихъ картинокъ!.. И мнѣ такъ грустно, такъ тяжело дѣлалось, Варенька... И плакалъ я и скрипка плакала...—Но вотъ опять вспоминалъ я, что ни все же въ мірѣ горе да слезы,— есть въ нихъ и радость, веселье, тихое, мирное... Но есть же и сытые, довольные люди... Они одѣты, они въ теплѣ; они ни въ чемъ не нуждаются... Мирно, спокойно и безмятежно идетъ ихъ жизнь: они всѣмъ довольны и счастливы... Любятъ они всѣхъ своихъ близкихъ, дорогихъ сердцу, пекутся о нихъ, заботятся... Любятъ они и всѣхъ другихъ своихъ ближнихъ: они рады сдѣлать для нихъ все, что могутъ; рады помочь имъ, утѣшить, облегчить ихъ горе, страданія... Да, счастливо, тихо и безмятежно идетъ жизнь этихъ людей... Эта жизнь — огонекъ, не сильный, но вѣчно яркій и ровный... Всегда одинаково, неизмѣнно горитъ онъ: всегда свѣтитъ и согрѣваетъ... — И мнѣ такъ хорошо, такъ отрадно дѣлалось, Варенька, такъ легко на̀ сердцѣ... И моя скрипка играла и пѣла... Мягкіе, нѣжные звуки лились изъ-подъ смычка: *piano... adagio...* Да, это тѣ звуки, которые я всегда больше другихъ любилъ и люблю... Въ нихъ нѣтъ ничего грустнаго и печальнаго,—нѣтъ, въ нихъ слышна тихая, мирная радость, довольство и счастіе... И эти звуки сильнѣе другихъ дѣйствуютъ и должны дѣйствовать на человѣческія сердца. Они говорятъ человѣку, что онъ весь созданъ для мирнаго и тихаго счастія, мирной и тихой любви...

Артистъ опять замолчалъ и перевелъ духъ. Лампа совсѣмъ догорѣла,—погасла. Въ комнатѣ было свѣтло: солнечный лучъ пробился сквозь полу-опущенною гардину и легъ на полу... Онъ освѣтилъ и лицо больного, и это лицо, худое, мертвенно-блѣдное, съ высокимъ лбомъ, покрытымъ каплями пота, казалось еще блѣднѣе, при дневномъ свѣтѣ...—Артистъ приподнялся, выпилъ воды и продолжалъ...

— Сидишь и играешь, Варенька, говорилъ онъ.—Свѣжій, предъутренній воздухъ врывается въ комнату, шелеститъ нотами на столѣ...— Въ другое время, ты весь перезябъ бы, продрогъ: этотъ холодъ пробирается тебѣ за сюртукъ, за разстегнутый воротъ рубашки и охватываетъ все тѣло... Но теперь ты ничего не чувствуешь... То есть, нѣтъ,—ты много и много чувствуешь, но только не этотъ холодъ... Тебѣ тепло, очень тепло, хорошо такъ... Сидишь—играешь... Утро ужъ скоро... Городъ давно успокоился: смолкъ этотъ уличный шумъ, этотъ говоръ, стукъ экипажей,—и все и всѣ спятъ... Тихо... Только одни звуки скрипки дрожатъ и звенятъ въ воздухѣ... Но вонъ тамъ, въ сосѣднемъ домѣ, отворилось окно, и изъ него выглянула головка молодой дѣвушки... О, Боже, какъ она хороша!.. Такое славное, милое, доброе личико; свѣтлые, сѣрые глазки, маленькій ротикъ... Ея распущенные, золотистые волосы слегка растрепались: вѣтеръ чуть-чуть ихъ колышетъ... Она оперлась локтемъ о подоконникъ и слушаетъ... Я отвернулся, не вижу ее... Но я чувствую, что на меня смотрятъ: чувствую этотъ пристальный, задумчивый взглядъ... И я играю, Варенька,—и мнѣ такъ хорошо,—я счастливъ...

Артистъ глубоко вздохнулъ. Улыбка на мигъ освѣтила его лицо.

— Да, хороша была эта дѣвушка! продолжалъ онъ.— Такъ хороша и умна... Она такъ любила, такъ беззавѣтно, преданно любила меня; у нея было такое чудное сердце!..

И эта дѣвушка — была твоя мать, Варенька... Черезъ два года я женился на ней...

— Какъ, папочка, моя мать? Не русская?

— Нѣтъ, не русская... Въ твоихъ жилахъ течетъ французская кровь... О, еслибъ ты знала, Варенька, что за женщина была твоя мать! что за чудная женщина!.. О, дай Богъ, моя милая, дорогая, чтобъ ты всегда и во всемъ на нее походила... Она такъ горячо любила меня... Она такъ же любила музыку; такъ же, какъ я, понимала, какое чудное, благотворное дѣйствіе производитъ эта музыка на людей... Она, какъ и я, любила всѣхъ бѣдныхъ и угнетенныхъ. Она безъ слезъ не могда смотрѣть на голоднаго нищаго,—дѣлила съ нимъ послѣдній кусокъ хлѣба... И вотъ я женился, Варенька...

— И вы поселились съ ней въ той же квартирѣ, въ мансардѣ?

— О, нѣтъ, дитя мое, — нѣтъ!.. Въ то время я уже имѣлъ средства: я жилъ уроками музыки и зарабатывалъ до 300 франковъ въ мѣсяцъ... Мы поселились съ ней въ очень чистенькомъ и хорошенькомъ домикѣ, въ Монмартрскомъ предмѣстьѣ... Маленькій такой домикъ, какъ дача. Три комнатки, чистенькія, свѣтлыя, просто, но хорошо меблированныя... Подъ окномъ маленькій садикъ... цвѣты... Она тоже любила цвѣты, Варенька...—И вотъ мы зажили съ нею вдвоемъ, въ этомъ чистенькомъ, хорошенькомъ домикѣ... Мы были такъ счастливы... Мирно, тихо, спокойно текла наша жизнь... Точно ручей свѣтлый бѣжалъ по камешкамъ,—и никогда, ни разу даже зыбь мелкая не появлялась на немъ... Мы были довольны и обезпечены... Да, обезпечены, но не совсѣмъ только... Тѣхъ 300 франковъ, что я получалъ за уроки, вполнѣ достало бы на двоихъ,— но насъ было не двое...

— А, трое, папочка? Я родилась?

— Нѣтъ, милая, и не трое... Тебя еще не было въ то время на свѣтѣ... — Вѣдь я говорилъ тебѣ, что за сердце

было у твоей матери, какъ горячо любила она всѣхъ бѣдныхъ и угнетенныхъ... Да, впрочемъ, постой... Я не сказалъ тебѣ: ровно сто франковъ я удѣлялъ каждый мѣсяцъ и отсылалъ ихъ на родину моей матери... Частенько таки я получалъ письма оттуда, и не скажу, чтобы онѣ были радостныя, веселыя... О, нѣтъ! Съ болью въ сердцѣ вскрывалъ я ихъ, съ болью въ сердцѣ читалъ... Мать вѣчно жаловалась на недостатки, на бѣдность. Она писала, что съ трудомъ сводитъ концы съ концами... Два брата учатся въ школѣ, въ которой и я учился,—и за нихъ платить надо... Сестренки... Старшую взялъ тамъ купецъ какой-то на воспитаніе, вмѣсто дочери, а младшая дома — на рукахъ матери... «Вѣдь мнѣ четверыхъ содержать надо», писала она,—«одѣть, обуть, накормить... Откуда мнѣ взять?»

— Такъ вотъ, — продолжалъ онъ,—сто франковъ я отсылалъ на родину... Значитъ, еще 200... Изъ нихъ — квартира, столъ, то, другое, — все это кое-что стоило... А тамъ дня не пройдетъ, бывало, чтобы мы, съ твоей матерью, не удѣлили что-нибудь бѣднымъ (вѣдь ихъ такъ много въ Парижѣ!), мы все давали, что могли (франки, сантимы такъ просто и плыли изъ рукъ), платьемъ, лекарствами... Кушанье мы каждый день готовили человѣкъ на шесть, на семь... Ну, деньги и выходили... Многаго не хватало даже... Я сталъ должать. Кредитъ мнѣ былъ вездѣ безусловный: я «входилъ въ моду» и мнѣ всѣ пророчили славу и груды золота... Долги росли и росли... Потомъ ты родилась, Варенька... Еще стало больше заботъ, попеченій... Прибавилось и расходовъ...

— Да что расходы! — продолжалъ онъ. — Мнѣ не до нихъ было!.. Я былъ такъ счастливъ, такъ безмятежно счастливъ!.. Мы такъ горячо любили другъ друга... Я продолжалъ учиться и развиваться, совершенствовать свой та-

лантъ; давалъ уроки... Она, моя дорогая, мой ангелъ-хранитель, заботилась о нашемъ довольствѣ, комфортѣ... Она весь день съ утра и до вечера была на ногахъ и все и всегда успѣвала... Она такъ заботилась обо мнѣ: угадывала, предупреждала мои малѣйшія мысли, желанія, — и я тоже угадывалъ ея желанія, предупреждалъ... Но вѣдь все это были такія скромныя желанія, Варенька!.. Да, она была мой ангелъ-хранитель, и я ее всегда такъ называлъ... Но, нѣтъ, впрочемъ, не я одинъ: всѣ называли ее «ангелъ-хранитель», — она всѣхъ любила, о всѣхъ заботилась.., Въ Монмартрскомъ предмѣстьѣ, гдѣ жили мы, не было ни одного ребенка, ни одного взрослаго, который бы не любилъ ее, какъ мать, какъ сестру... О, да, мы были счастливы, Варенька... Мы много работали, но мы также и отдыхали...

— Вотъ, какъ сейчасъ помню... Лѣто... — Вечеръ; тихо, тепло... Вѣтерокъ легкій, чуть-чуть замѣтный, доноситъ къ намъ ароматъ розъ и левкоевъ изъ садика... Въ растворенное настежь окно глядитъ небо, ясное, голубое, — нигдѣ ни малѣйшаго слѣда облачка не видно на немъ... Сидимъ мы съ ней у окна... Я ей читаю тамъ что-нибудь. (Читать она очень любила. Читали мы съ нею Диккенса, Байрона, Шиллера, Гете, Гюго). Сидимъ у окна... Солнце заходитъ... Заревомъ точно какимъ-то залило всю окрестность; стекла домовъ горятъ, — даже глазамъ больно... А тамъ, вдали, звонки слышны, тихіе мелодичные: это стада возвращаются домой... Солнце все ниже и ниже... Ночь спустилась на землю... Ярко вспыхнули въ небѣ синія звѣздочки; мѣсяцъ такъ величаво выплылъ... Мы лампу зажгли... Я все читаю. Она сидитъ слушаетъ, — работа въ рукахъ... Вонъ бабочка залетѣла изъ садика: вьется, кружится надъ лампой... Она махнула платкомъ: «сгоришь, дурочка!» — Такъ тихо, тепло; пахнетъ цвѣтами... А вонъ соловей свиснулъ... Еще разъ, еще... И по-

лилась въ воздухѣ чудная пѣсня... Забылись мы, чтеніе бросили... Да, хорошо было, Варенька, хорошо...

— Но вотъ мы уѣхали изъ Парижа,.. — продолжалъ онъ. — Я далъ тамъ свой *первый* концертъ и меня встрѣтили съ восторгомъ, съ энтузіазмомъ... Мы отправились путешествовать. Мы были въ Англіи (Лондонъ, этотъ вѣчно туманный и шумный городъ ей не понравился). Были въ Швейцаріи; жили тамъ съ мѣсяцъ на берегу Женевскаго озера... Были въ Неаполѣ... Но тутъ, вдругъ... о, Боже мой!.. — Голосъ артиста дрогнулъ и оборвался. По блѣднымъ щекамъ его потекли слезы. — Она заболѣла... Я и теперь не знаю, что эта была за болѣзнь, да и никто не могъ точно опредѣлить ее... Я обращался ко всѣмъ знаменитостямъ. Они осматривали ее очень внимательно. Одинъ говорилъ то, другой — другое... Но всѣ, какъ одинъ человѣкъ, совѣтовали ей: «какъ можно больше движенія, развлеченій...» — И я дѣлалъ все, Варенька... Мы всю Европу изъѣздили; я тратилъ громадныя деньги. (Слава моя все росла, и деньги лились дождемъ; но и долги тоже росли и росли, Варенька). Но все было напрасно! Она слабѣла день ото дня... Я просто съума сходилъ съ горя, съ отчаянія... А она, моя бѣдная, ненаглядная... Она все старалась казаться веселой: она говорила, что ей легче, гораздо легче теперь, и что она скоро совсѣмъ поправится... Я... — Тутъ голосъ его опять оборвался: его заглушили рыданія...

— О, бѣдная, бѣдная матушка!.. Слезы ручьемъ хлынули изъ глазъ Вареньки и потекли по ея раскраснѣвшимся щекамъ. — И я ничего не знала о ней: вѣдь я была тамъ, въ пансіонѣ...

— Да, въ пансіонѣ. Ты прожила тамъ три года... Вѣдь ты родилась такой худенькой, слабенькой, — никто и не думалъ, что ты будешь жива... И какъ любила она тебя, Варенька, твоя бѣдная мать!.. Вѣдь еслибъ не мои просьбы, да не этотъ докторъ-старикъ, она бы ни

за что съ тобой не разсталась... Она и хотѣла остаться съ тобой въ Швейцаріи, но я долженъ былъ путешествовать, — и она всюду, какъ тѣнь, слѣдовала за мною... За мѣсяцъ только до ея смерти, мы были въ Женевѣ, пришли къ тебѣ, милая... И, Боже, какъ она горячо цѣловала тебя, какъ прижимала къ сердцу... Но ты не помнишь, Варенька: вѣдь тебѣ было только два года...

— Нѣтъ, папочка, нѣтъ! вздохнула дѣвушка.—Совсѣмъ не помню...

— И вотъ, умерла она, моя ненаглядная, умерла, говорилъ онъ, а слезы такъ и текли по его щекамъ. — Но и въ послѣднія минуты жизни она говорила только обо мнѣ, о моей славѣ, — о томъ, что меня ждетъ въ будущемъ, о тебѣ... Она говорила, что была такъ счастлива, и умираетъ совершенно спокойно... Она взяла съ меня слово заботиться о тебѣ, нашей дочкѣ, и о всѣхъ бѣдныхъ, которыхъ она такъ любила... «Ты будешь такъ славенъ, богатъ», говорила она. — «Смотри, незабудь же, что это богатство и слава не для тебя одного: ты можешь многихъ сдѣлать счастливыми... И ты сдѣлаешь, — дай мнѣ слово! Сперва ты долженъ сдѣлать счастливою нашу дочь, — о, непремѣнно! — а потомъ всѣхъ добрыхъ, хорошихъ людей, всѣхъ кто достоинъ быть счастливымъ...»—И я далъ ей это слово...

Артистъ замолчалъ и приподнялъ голову. Въ дверь постучались.

— Войдите!

Вошелъ трактирный лакей, съ громаднымъ подносомъ. На немъ лежала груда букетовъ и пять-шесть вѣнковъ.

— Сейчасъ принесли-съ, говорилъ онъ.—На столъ прикажете?

— Да.

Лакей поставилъ подносъ и ушелъ.

— Спасибо имъ! артистъ улыбнулся. И сколько горя, тоски было въ этой улыбкѣ?—Вѣдь это мнѣ на могилу...

— Папочка!..

— Тсс... тише, Варенька, я знаю, что говорю... Ну, такъ слушай же, милая, слушай, что было дальше... Я схоронилъ ее и самъ заболѣлъ опасно, — нервной горячкой... Долго я былъ совсѣмъ безнадеженъ, но, наконецъ, поправился... Доктора мнѣ совѣтовали бросить на время музыку...—Нервы вамъ укрѣпить надо, главное, говорили они.— Ѣздите, путешествуйте, старайтесь развлечься, разсѣяться... Свѣжій и чистый воздухъ, картины природы, разнообразіе впечатлѣній, — васъ вылечатъ, — но скрипку забудьте на время... Скрипку забудьте!.. Развѣ я это могъ, Варенька?—И вотъ я отправился путешествовать... Я былъ въ Испаніи, Греціи, даже въ Египтѣ,—пирамиды видѣлъ... Но горе не покидало меня... Всюду, всегда, слѣдовалъ за мною дорогой образъ моей ненаглядной... Я видѣлъ его и на яву и во снѣ... Я даже тебя тогда забылъ, Варенька, — вовсе забылъ... Концерты я всюду давалъ, въ каждомъ городѣ и городкѣ, гдѣ останавливался хотя на день,—и вездѣ меня встрѣчали съ восторгомъ... Меня буквально засыпали цвѣтами, лавровые вѣнки подносили... Деньги... О деньгахъ и говорить нечего. Еслибъ я только не сорилъ ими тогда направо-налѣво, — вѣдь ты бы теперь богата была, очень богата... Но я никому никогда ни въ чемъ не отказывалъ, Варенька. Ни одинъ бѣдный, несчастный не уходилъ отъ меня безъ помощи... Нерѣдко меня и обманывали, надували... Ну, да Богъ съ ними, — грѣхъ не на мнѣ... И вотъ все, что зарабатывалъ я смычкомъ, — уходило... А тамъ — долги и долги... Вѣдь я и теперь еще съ ними не расплатился...

— Да, слава моя росла, Варенька... Впрочемъ, и мудрено ли!.. Я самъ, порой, чувствовалъ, что игралъ дивно, чудесно... Вѣдь эта чудная музыка не могла быть не чудной: она лилась изъ души, изъ глубины сердца... Вѣдь всѣ эти мелодіи, всѣ картины, которыя я создавалъ, — я самъ такъ глубоко прочувствовалъ!.. — Ну, а потомъ... Потомъ,

Егоръ и Антипка.

Дядю Егора чуть не всѣ знали въ нашемъ уѣздномъ городѣ. Каждое утро онъ проходилъ то по той, то по другой улицѣ, съ заступомъ и лопатою на плечѣ, или съ топоромъ за поясомъ, или съ пилою, и скрывался въ калиткѣ чьего-нибудь дома.

Средняго роста, широкоплечій, съ сильно сѣдѣющей бородой, вѣчно—и осенью, и зимою, и лѣтомъ—въ одномъ худомъ, заплатанномъ армякѣ и облѣзлой мѣховой шапкѣ, дядя Егоръ выглядывалъ старикомъ, еще очень бодрымъ и крѣпкимъ... Опредѣленнаго ремесла у него не было: онъ занимался всѣмъ, чѣмъ придется. Онъ и дрова пилилъ и кололъ, и гряды копалъ, и парники дѣлалъ, и мусоръ очищалъ съ дворовъ. Работникъ онъ былъ хорошій. Одно вотъ только не нравилось его нанимателямъ: не разговорчивъ ужъ очень и вѣчно хмурый такой, съ насупленными бровями. Никто не видалъ, чтобъ онъ засмѣялся когда; даже не улыбался. Вотъ эта серьезность-то въ старикѣ и казалась многимъ изъ нашихъ обывателей подозрительной.

— Богъ его знаетъ, что у него тамъ на умѣ, говорилъ кто-нибудь.—Волкомъ какимъ-то смотритъ.

— Да, можетъ, горе у него въ жизни было какое?— вотъ онъ и сдѣлался вдругъ такимъ... Мало развѣ бываетъ?

— А по моему, такъ онъ себѣ на умѣ! говорилъ третій. — Молчитъ все, молчитъ, — да и выкинетъ штуку какую-нибудь!.. — Нѣтъ, мнѣ такіе люди не нравятся. Съ ними ухо востро держи: того и гляди,—обворуютъ.

— Это Егоръ-то? Господь съ вами! Да въ жизни я никогда не повѣрю! Вотъ ужъ онъ третій годъ у меня работаетъ, и — сохрани Богъ, — хоть бы какая нитка пропала.

— А вотъ подождите-ка до поры до времени!

Ну, и точно, эта «пора» случилась.

Разъ какъ-то дядя Егоръ копалъ гряды на огородѣ богатаго купца Никитина. Пришелъ онъ, какъ и всегда, чуть не съ восходомъ солнца, и вплоть до двѣнадцати часовъ проработалъ, не разгибая спины. Но тутъ его позвали обѣдать.

Дядя Егоръ, не торопясь, положилъ заступъ, отеръ рукавомъ рубахи крупныя капли пота и вошелъ въ кухню. Тамъ на столѣ ужъ дымилась огромная чашка щей, съ плавающими въ нихъ кусками жирной говядины, и за столомъ сидѣли: кухарка Матрена и ея давнишняя пріятельница, Ирина, молодая еще бабенка, съ черными, бѣгающими по сторонамъ глазками.

Дядя Егоръ перекрестился и усѣлся за столъ. Во время обѣда онъ, какъ и всегда, молчалъ; зато Ирина трещала безъ умолку. Кончили щи и кашу.

— Постой-ка я на погребъ сбѣгаю, да молочка принесу, сказала Матрена и вышла изъ кухни.

Дядя Егоръ, въ ожиданіи молока, отвернулся къ окну и смотрѣлъ на улицу. Онъ слышалъ, какъ Ирина вставала изъ за стола, подходила зачѣмъ-то къ печкѣ и опять сѣла. Но онъ не повернулъ головы. Пришла Матрена съ крынкою молока.

Пообѣдали, вышли изъ-за стола. Дядя Егоръ сталъ набивать трубочку. Ирина вдругъ встала и начала собираться домой.

— Да что тебѣ такъ загорѣлось? спрашивала Матрена.— Останься, чайку напейся...

— Нельзя, родная! Въ другой разъ зайду. Сегодня я обѣщалась... Марьѣ Ивановнѣ, къ двумъ часамъ... — И Ирина торопливо ушла.

Матрена собрала со стола и стала перемывать тарелки. Дядя Егоръ закурилъ трубочку и опять пошелъ въ огородъ, докапывать свои гряды.—Онъ ужъ вскопалъ грядки двѣ, остановился на минутку перевести духъ и принялся было за третью. Вдругъ показалось ему, что его кто-то окликнулъ. Онъ поднялъ голову, обернулся. Да, точно, Матрена звала его изъ окна кухни.

— Зачѣмъ тамъ понадобилось, пробормоталъ Егоръ и нехотя положилъ заступъ. Матрена встрѣтила его, блѣдная и взволнованная.

— Что съ тобой?

— Да вотъ, и сама не знаю, голубчикъ... Бѣда случилась... бѣда... Не знаю ужъ, что и подумать...

— Да что такое?

— Ложка серебряная пропала!.. Помню я: на шесткѣ была давеча... Хватилась,—нѣтъ!

— Завалилась куда-нибудь...

— Вотъ то-то, что нѣтъ, родной!.. Всѣ норки мышиныя перешарила, въ щелку каждую заглянула,—нѣтъ, какъ нѣтъ, да и все тутъ!.. Обѣдать сѣли,—была.

Дядя Егоръ нахмурился.

— Ирину-то ты хорошо знаешь? спросилъ онъ. — Давно?..

— Господи Царь Небесный!.. — И Матрена руками даже всплеснула.—Ужъ ты не на нее-ль думаешь?

— Я ничего не думаю... Думаю только то, что въ кухнѣ насъ двое было: она да я... Такъ кто-нибудь изъ

двоихъ, значитъ... — Голосъ дяди Егора дрогнулъ и морщинки на его хмуромъ лбу сдѣлались еще глубже и шире...

Матрена сконфузилась.

— Ужъ я и не знаю, право... забормотала она. — Дѣлать-то что—не знаю...

— Ну, а вотъ я такъ знаю! сурово отрѣзалъ Егоръ.— Идемъ къ хозяину!

— Да зачѣмъ Петровичъ?

— А вотъ увидишь, зачѣмъ.

Купецъ Никитинъ былъ въ высшей степени удивленъ, узнавъ о пропажѣ. Онъ говорилъ, что Ирину знаетъ давно и ни въ какомъ случаѣ не повѣритъ, что это она украла.

— Такъ, значитъ, я, укралъ?.. сумрачно заговорилъ Егоръ.—Ну, такъ смотри же!

И онъ сталъ раздѣваться.

— Да что ты! Не надо, не надо! замахалъ руками купецъ. — Я нешто тебѣ не вѣрю!.. — Но подозрительный взглядъ, какимъ онъ окинулъ сумрачную фигуру Егора, не говорилъ этого...

Платье перетряхнули, ощупали. Но ложки не оказалось.

— Господь же съ тобой, хозяинъ!.. Прощай!.. только и выговорилъ Егоръ и ушелъ.

И съ тѣхъ поръ его никто больше не видалъ въ городѣ.

Избушка дяди Егора была совсѣмъ сказочная—«избушка на куриныхъ ножкахъ». Ветхая, дымная, съ тусклымъ, вросшимся въ землю оконцемъ, покосившаяся на бокъ и подпертая двумя кольями, — она стояла на концѣ города, у самаго взморья. Мѣсто кругомъ было пустынное. Съ одной стороны пролегали жиденькія поля; вдали синѣлъ хвойный лѣсокъ; а съ другой—открывался широкій морской заливъ... Изъ тусклаго кривого оконца (разумѣется, если посчистить съ него наросшую грязь), виднѣлась прекраснѣйшая картина... Весной, еще задолго до открытія судоходства

когда вскрывалась рѣка, по этой широкой, волнующейся водной поверхности плыли цѣлыя массы льдинъ, увлекаемыхъ сильнымъ теченіемъ... Онѣ сталкивались другъ съ другомъ, нагромождались въ цѣлыя горы, опять распадались и уносились все впередъ и впередъ въ открытое море... А вотъ, послѣ прохода льда, открывалось и судоходство... Мимо избушки неслись въ близь лежащій портъ корабли и пароходы, то въ одиночку, то по два, по три и по пяти; иной разъ—цѣлою вереницей... Осенью корабли нагружались и плыли обратно... А вслѣдъ за ними, вмѣстѣ съ осенними непогодами и вѣтрами, неслись цѣлыя массы дровъ, съ разбитыхъ и затонувшихъ плотовъ и барокъ...

Дядя Егоръ вернулся домой въ одинъ лѣтній вечеръ, больше чѣмъ когда-нибудь, мрачный и угрюмый...—На грязномъ полу избушки сидѣлъ, поджавъ подъ себя ноги, мальчикъ на видъ лѣтъ 11—12, и усердно трудился надъ птичьими клѣтками. Весь полъ лачужки покрытъ былъ кучами матеріала. Тутъ были и сухіе куски дерева, и выструганные изъ него палочки, клей, проволока, зеленая и бѣлая краски... Тутъ же стояло съ десятокъ готовыхъ клѣтокъ и цѣлая горка зеленыхъ лѣсенокъ для цвѣтовъ... При входѣ дяди Егора, мальчуганъ поднялъ голову, съ растрепанными, падавшими на потный лобъ волосами, и вскинулъ на него бойкіе и умные глазки.

— А что такъ рано сегодня? спросилъ онъ.

— Да такъ, братъ, Антипка.—И дядя Егоръ опустился на лавку, отеръ рукавомъ лицо. — Случай тамъ вышелъ одинъ... Больше ужъ я не буду ходить къ нимъ работать... Господь съ ними!.. Въ воры, братъ, я попалъ!..—И горькая улыбка мелькнула на плотно-сжатыхъ губахъ Егора.

— Въ во-оры?—Антипка даже вскочилъ и вытаращилъ глаза.

— Ну, да...—И дядя Егоръ разсказалъ въ чемъ дѣло.

— Они на меня ужъ давно косо поглядывали, говорилъ онъ. — Вотъ и пойдетъ слава... Э-эхъ!.. махнулъ онъ рукой. — Они проживутъ безъ меня, да и я, Богъ дастъ, не умру съ голоду... Осенью вотъ ужо буду дрова ловить... Къ зимѣ-то мы ихъ вонъ какой запасъ сдѣлаемъ— продадимъ... Никто не скажетъ, небось, что украли!..

Антипка всю ночь глазъ не сомкнулъ. Уткнувшись въ холстинный, набитый сѣномъ, мѣшокъ, служившій ему вмѣсто подушки, мальчикъ то плакалъ съ досады и горя, то вдругъ впивался въ мѣшокъ зубами.

— Ложку укралъ!.. Егоръ-то!.. бормоталъ онъ. — Бога они не боятся!.. Стыдно имъ!..—И мальчику вдругъ вспомнилась одна зимняя ночь въ деревнѣ, далеко отсюда... Давно это было, лѣтъ восемь тому назадъ... Остался онъ послѣ отца сиротой круглымъ на свѣтѣ, и вотъ дядя Егоръ, самъ сирота (онъ потерялъ и жену и дѣтей въ холеру), пріютилъ мальчика. Жить въ деревнѣ трудненько стало,— неурожаи пошли,—и дядя Егоръ съ Антипкой отправились въ городъ, на заработки... Хмурый и молчаливый Егоръ любилъ Антипку, какъ сына родного, дѣляся съ нимъ послѣднимъ кускомъ. Да и Антипка въ огонь и въ воду готовъ былъ итти за своего благодѣтеля... Лѣтъ восьми, Антипка научился мастерить клѣтки и лѣсенки для цвѣтовъ; дядя Егоръ тоже работалъ поденно въ городѣ. И вотъ они зажили очень недурно... И вдругъ... Ну, да Господь съ ними!..

Прошло два года... Много воды утекло въ это время, много чего и случилось... Случилось, между прочимъ, и то, чего ни дядя Егоръ, ни Антипка и не ожидали.—Въ одно прекрасное утро въ избушку на взморьѣ пришелъ Никитинъ, очень смущенный, сконфуженный. Онъ Христомъ-Богомъ просилъ Егора простить его за его глупое подозрѣніе. Оказалось, что ложку украла, точно, Ирина. Уличили ее съ поличнымъ, и больше теперь къ воротамъ не подпускаютъ...

— Ну, вотъ, поди ты, — лукавый попуталъ!.. развелъ руками купецъ.—И затемяшилась же мнѣ этакая блажь въ голову!.. Ну, да ладно, ты не сердись, голубчикъ!.. Пусть будетъ у насъ все по старому... Я тебѣ, вмѣсто полтинника-то, шесть гривенъ дамъ!..

Но дядя Егоръ не согласился. Онъ отъ души простилъ «господина купца»,—ну, а насчетъ работы...

— Мнѣ, слава Богу, и безъ города здѣсь хорошо живется! говорилъ онъ. — Вонъ сколько съ осени дровъ-то наудилъ. Видѣлъ, чай?—Будетъ съ меня, довольно!..

И точно, передъ избушкой дяди Егора возвышалась цѣлая полѣнница дровъ, наловленныхъ въ бурныхъ волнахъ залива и выставленныхъ на солнышкѣ, для просушки.

— Дядя Егоръ! Гляди-тко-сь! Большое что-то плыветъ... Вонъ, видишь! Бревно, никакъ...

— Вижу!..—Дядя Егоръ быстро всталъ въ лодкѣ, порядкомъ ужъ нагруженной дровами, схватилъ багоръ и зацѣпилъ имъ плывущее мимо бревно. Съ трудомъ втащили они его вмѣстѣ съ Антипкой...

Ночь была бурная, вѣтеръ такъ и гудѣлъ; волны сильно качали лодку... Темень — зги не видать... Вотъ ужъ часа три, пожалуй, какъ выѣхали они на промыселъ. Еще часикъ, другой, — и можно будетъ домой вернуться: добыча, слава Богу, порядочная...

Дядя Егоръ съ Антипкой изрядно таки поработали и устали... Рѣзкій, пронзительный вѣтеръ имъ ни по чемъ; потъ въ три ручья льется у нихъ по лицамъ; имъ чуть не жарко... Сонъ только клонитъ что-то дядю Егора...

— Ты бы вздремнулъ! говоритъ Антипка.—Я и одинъ справлюсь съ веслами... Дровъ-то ужъ мы довольно наудили, — больше не надо... Бревно развѣ... Увижу, такъ разбужу...

— Да мнѣ совсѣмъ не хочется спать-то! говоритъ Егоръ, а самъ дремлетъ; глаза у него такъ и слипаются...

Антипка лѣниво работаетъ и вглядывается во мракъ...

И у него глаза тоже слипаются, но еще больше, чѣмъ у дяди Егора... А нагруженная лодка покачивается да покачивается на волнахъ...

Антипка проснулся и поднялъ голову. Прямо предъ нимъ, вдали, блестѣлъ огонекъ. Мальчикъ протеръ глаза...

— Наша избушка! пробормоталъ онъ.—Что же, насъ къ берегу несетъ, что ли?.. — И онъ заработалъ веслами, по направленію къ огоньку.

А огонекъ все ближе и ближе... Вдругъ весла выпали у Антипки, и онъ вскрикнулъ не своимъ голосомъ...

Дядя Егоръ очнулся, да такъ и замеръ на мѣстѣ... Ему точно сдавилъ кто горло... Лодку вдругъ сильно качнуло... Раздался трескъ... крикъ, раздирающій душу стонъ. — И пароходъ, вспѣнивая страшно воду, шумя колесами, промчался мимо, на всѣхъ парахъ...

Антипка уцѣпился за край бревна окоченѣвшими пальцами. Они скользили... Вотъ, вотъ,—и мальчикъ ключемъ канетъ ко дну... Егоръ ухватился за обломокъ лодки, саженяхъ въ пяти отъ бревна,—плыветъ...

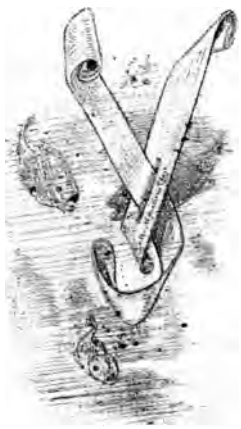
— Держись, Антипка! держись!.. кричитъ онъ. И вдругъ чувствуетъ, какъ судорога начинаетъ сводить ему ногу...

Антипка держится, сколько можетъ... Но вотъ силы окончательно покидаютъ его... Онъ выпускаетъ изъ рукъ бревно, вскрикиваетъ еще разъ и погружается въ волны...

— Держись, Антипка! Иду-у!..

И дядя Егоръ уходитъ вслѣдъ за Антипкой..

Въ пустой усадьбѣ.



сталый я возвращался съ охоты... По правдѣ сказать, мнѣ лучше бы и не ходить на нее. Во-первыхъ, стрѣлокъ я — изъ рукъ вонъ плохой и рѣдко когда что подстрѣливаю; во-вторыхъ, собаки у меня никакъ не могутъ ужиться: чуть заведешь, — или глупа и никуда не годится, или украдутъ. А безъ собаки ужъ какая охота!.. — Такъ и на этотъ разъ. Бродилъ я, бродилъ по болотамъ, — дичь попадалась, и даже порядочно, — но никого не убилъ. Промахъ за промахомъ, — право!.. Только усталъ не лучше собаки, и былъ въ самомъ сквернѣйшемъ расположеніи духа. А тутъ еще, какъ нарочно, погода вдругъ измѣнилась. Бѣлыя облака, которыя, я думалъ, разнесетъ вѣтромъ, — сгущались, сгущались и, наконецъ, превратились въ темныя тучи... Въ воздухѣ стало душно; собиралась гроза. До города оставалось еще верстъ десять, — и, какъ нарочно, на всемъ пути ни одной деревушки, ни одного домика — все лѣсъ и лѣсъ... — Дойду! думаю. Вскинулъ на плечо ружье и зашагалъ бѣглымъ маршемъ.

Но не прошелъ я версты, — дождевыя капли стали все чаще и чаще и, наконецъ дождь полилъ, какъ изъ ведра... Стемнѣло такъ, что я въ двухъ шагахъ ничего не видѣлъ... И

вотъ, вдругъ ярко блеснула молнія, зарокоталъ громъ... Опять и опять, и точно всѣ хляби небесныя вдругъ разверзлись: дождь лилъ ручьями, потоками... Ну, разумѣется, я моментально промокъ до нитки (кромѣ, конечно, ногъ, благодаря прекраснымъ охотничьимъ сапогамъ).

Ну, что тутъ прикажете дѣлать? До дому еще верстъ семь, если не восемь... И вдругъ въ головѣ у меня мелькнула мысль... Тьфу, ты!.. Я даже ударилъ себя кулакомъ по лбу... Ну, какъ она не пришла мнѣ раньше!.. Вѣдь стоило только свернуть на полверсты въ сторону, — и я какъ разъ буду въ старой, пустой усадьбѣ. Я такъ и сдѣлалъ, и черезъ четверть часа уже былъ передъ ветхимъ, полуразрушеннымъ домомъ.

Охотникъ, какъ я уже признался, я былъ плохой, но не могу сказать, чтобы былъ трусомъ. И этимъ не лишнее здѣсь похвастаться. Въ городѣ я не зналъ ни одного человѣка, который рѣшился бы въ темную ночь пройти мимо этой усадьбы. Былъ, правда, одинъ молодой человѣкъ, хвастунъ страшный. Онъ подержалъ разъ пари, что даже ночуетъ въ усадьбѣ. Но, разумѣется, хвастовство такъ хвастовствомъ и осталось. — Дурные слухи ходили у насъ про это заброшенное гнѣздо. Говорили, что въ немъ нечисто; что кто-то когда-то, проходя мимо, видѣлъ въ окнѣ фигуру, всю въ бѣломъ, и слышалъ стоны. Говорили, что послѣдній наслѣдникъ угасшаго рода не рѣшался жить въ этомъ нечистомъ мѣстѣ. И, разумѣется, все это были пустяки страшные. Наслѣдникъ не потому не жилъ въ домѣ, что боялся стоновъ и привидѣній, а потому, что домъ этотъ пришелъ въ страшную ветхость. Гораздо выгоднѣе было построить новый, — что онъ и сдѣлалъ.

Итакъ, черезъ четверть часа, я входилъ въ ворота усадьбы... Боже мой, что за страшное запустѣніе!.. Даже жалко смотрѣть!.. Ворота едва держались на ржавыхъ петляхъ и жалобно заскрипѣвъ чуть не упали, когда я толкнулъ ихъ... Оконные переплеты, почти безъ стеколъ,

мѣстами, тоже висѣли на улицу. Только въ одномъ изъ семи оконъ рамы еще уцѣлѣли, и даже уцѣлѣли въ нихъ стекла... Ступеньки крыльца заскрипѣли и зашатались, какъ фортепьянныя клавиши, когда я ступилъ на нихъ. И вотъ я въ темныхъ сѣняхъ. Вдругъ что-то пискнуло почти у самыхъ ногъ... Это я спугнулъ крысу... А темень, хоть глазъ выколи!.. Я запустилъ руку въ мою охотничью сумку, пошарилъ тамъ и вытащилъ... (я человѣкъ крайне предусмотрительный) небольшой фонарикъ, коробку спичекъ и съ полдюжины восковыхъ свѣчей. Всѣ эти освѣтительныя принадлежности я, обязательно, каждый разъ, беру съ собой на охоту...

Чиркнула спичка; фонарикъ зажженъ, — и я осмотрѣлся. Длинныя сѣни, съ прогнившими шатающимися половицами. Направо — двери, налѣво — двери. Опять что-то пискнуло, и мимо меня, точно стрѣла, промелькнула вторая крыса. Однако довольно ихъ здѣсь!.. Куда же итти?—Я отворилъ дверь налѣво. Какой-то чуланъ; въ углу куча чего-то. Что это? — А, прекрасно! Это куча старыхъ холщевыхъ мѣшковъ, должно быть изъ-подъ муки. Сырые, на половину сгнившіе, — но все же, изъ нихъ можно будетъ устроить постель. Я захватилъ съ собой эту рухлядь и дернулъ скобку у правой двери. Дверь подалась не сразу, — забухла. Но вотъ еще одно маленькое усиліе, — и я очутился въ большой кухнѣ, съ огромной, полуразрушенною плитой... И вотъ, блестящая мысль! Плита еще уцѣлѣла... Дровъ нѣтъ, — но развѣ нельзя превратить въ нихъ любую изъ половицъ? Да, развести огонь, погрѣться и обсушиться... Отъ мысли до дѣла недалеко. Отчасти руками, отчасти при помощи охотничьяго ножа, я вывернулъ три доски изъ пола и превратилъ ихъ въ дрова и растопку... Еще пятъ-десять минутъ, — въ плитѣ запылалъ огонь. Не буду ужъ говорить, что дыму было ужасно много, и я не только пообсушился и обогрѣлся, но даже и прокоптился.

Однако, взглянуть на другія комнаты; не найдется ли тамъ чего? — Ровнешенько ничего, кромѣ пыли, несмѣтнаго количества паутины и сырости... Когда-то бархатные обои — теперь превратились въ грязныя, сырыя лохмотья и висѣли со стѣнъ качаясь и шелестя отъ врывавшагося въ окна вѣтра... Да, пустота страшная, гниль, холодъ, сырость!.. — А вѣдь когда-то здѣсь жизнь кипѣла ключемъ... Одинъ изъ наслѣдниковъ стараго рода, какъ говорятъ, любилъ широко пожить... Балы здѣсь давались, обѣды... Вонъ съ этихъ, почти совсѣмъ разрушенныхъ хоръ гремѣлъ оркестръ собственныхъ музыкантовъ; по этой огромной залѣ кружились пары въ вихрѣ вальса, мазурки...

Гроза становилась слабѣй; молнія ужъ не такъ часто сверкала, дождь тоже переставалъ понемногу... А вотъ изъ-за тучъ выплыла вдругъ луна и освѣтила дворъ блѣднымъ, серебристымъ свѣтомъ... Я выглянулъ изъ окна, — и мнѣ, вдругъ, стало почему-то такъ грустно... Вонъ садъ, когда-то прекрасный, роскошный садъ, съ бесѣдками, гротами, ручейками, аллеями... Гдѣ все это?.. Куда дѣвалось? — Отъ бесѣдокъ не оставалось слѣда; ручейки затянуло тиной; весь садъ заглохъ, запустѣлъ, заросъ бурьяномъ, крапивой...

Однако всему свое время. Погрѣлся, пообсушился. Теперь не лишне и закусить маленько, да и улечься. Стрѣлки моихъ часовъ показывали четверть двѣнадцатаго. Ужъ я подыскалъ мѣстечко въ одномъ углу, гдѣ не очень сыро, и изъ щелей не дуетъ, — и сдѣлалъ себѣ постель изъ груды мѣшковъ... Вотъ только крысъ здѣсь ужасно много. Онѣ, то и дѣло, шмыгаютъ у меня подъ ногами... Компанія непріятная! Ну, да что жъ дѣлать!.. — Не безъ комфорта улегся я передъ топившеюся плитой, досталъ изъ сумки провизію: сыръ, колбасу, вареныя яйца, — и приготовился закусить. Вдругъ тамъ, въ сѣняхъ, послышались чьи-то шаги, кряхтѣнье; кто-то шарилъ, искалъ, очевидно, двери... — Кому тутъ быть въ этомъ мѣстѣ, въ такую пору? поду-

малъ я, и рука у меня невольно потянулась къ ружью. — Почему знать, что за люди... Мѣсто-то здѣсь глухое, пустынное... Э, пустяки!.. — Я отворилъ дверь и крикнулъ:

— Кто тамъ? Чего надо?..

— Пусти, кормилецъ, ради Христа!.. зашамкалъ вдругъ въ темнотѣ старческій голосъ. — Пообсушиться, погрѣться... До нитки промокли...

— Входи, входи, дѣдушка!..

Въ кухню влѣзъ дряхлый-предряхлый старикъ, въ заплатанномъ армячишкѣ, въ лаптяхъ, съ котомкою за плечами, съ длинной, сѣдой бородою. За нимъ стояла, робко выглядывая, маленькая дѣвочка, лѣтъ 9, въ пестрядинномъ сарафанишкѣ, бѣлокурая, голубоглазая...

— Садитесь вотъ тутъ, погрѣйтесь!.. говорилъ я.

Дѣвочка взяла старика за руку и подвела къ огню. Старикъ глядѣлъ на меня мутными, безъ всякаго выраженія, глазами и, очевидно, ничего не видѣлъ.

— Слѣпой онъ, что-ли?—шепнулъ я дѣвочкѣ.

Та вскинула на меня голубые глазки, и вдругъ, въ нихъ блеснули слезы...

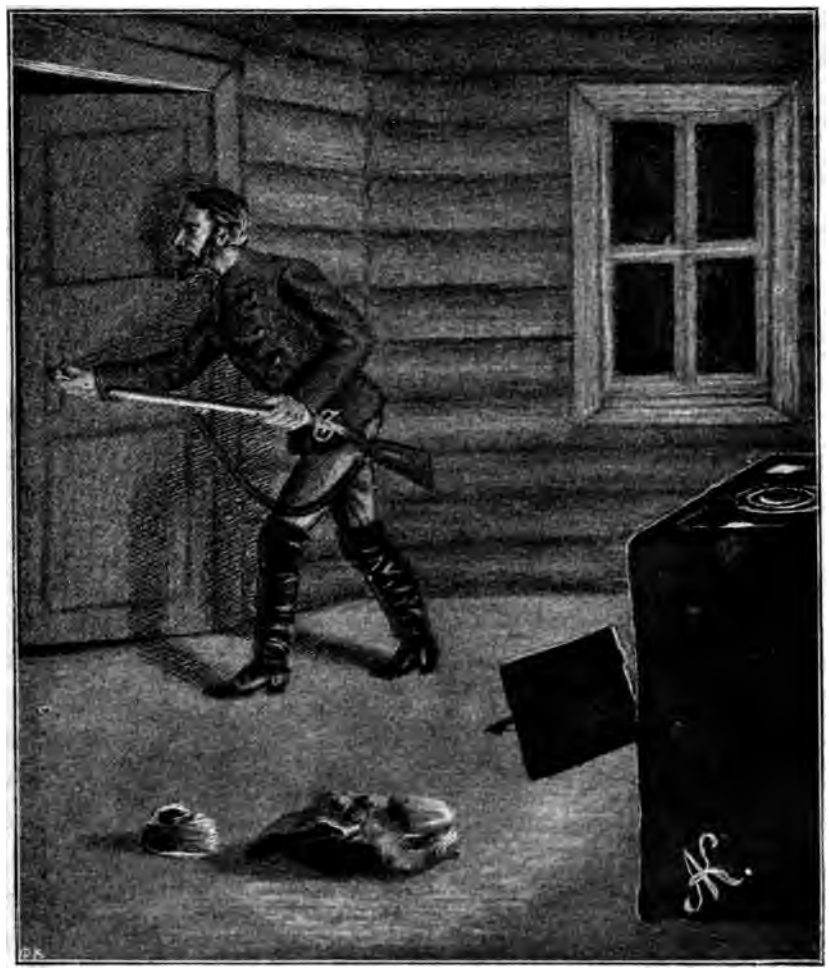
— Все видѣлъ... все видѣлъ... прошептала она. — Вотъ только о прошлой недѣлѣ...

— Ослѣпъ, кормилецъ, какъ есть — ослѣпъ! прошамкалъ старикъ, и сѣдая голова его грустно понурилась. — Богъ знаетъ, что, вотъ, попритчилось... Раньше-то я хорошо видѣлъ... Внучка-то, вотъ, въ городъ ведетъ меня, къ дохтуру... мы, вѣдь, не здѣшніе, — дальніе... Изъ Подберезина... Знаешь, чай?

— Нѣтъ.

— Верстъ будетъ сорокъ отсюда... Такъ вотъ, къ дохтуру, внучка-то...— На плотно сжатыхъ губахъ его мелькнула улыбка. — Думаетъ, что поможетъ... Да нѣтъ ужъ,— гдѣ тутъ!.. И онъ безнадежно махнулъ дрожащей, костлявой рукой.—И лѣтъ-то ужъ мнѣ много,—подъ восемьдесятъ..

— Полно, дѣдушка, — ты не думай! заговорила горячо дѣвочка. — Вылѣчитъ онъ тебя, какъ Богъ святъ, — вылѣчитъ... Опять будешь видѣть... Мнѣ, вонъ, и тетушка Анна сказала: еслибъ, говоритъ, давно ослѣпъ-то, такъ ужъ



ничего не подѣлаешь... Ну, а вѣдь, тутъ недавно... Вылѣчитъ!..

Дѣдушка глубоко вздохнулъ и потянулся рукой къ внучкѣ. И вотъ эта дрожащая, почернѣлая отъ работы рука стала гладить ея бѣлокурые волосы.

— Ну, ладно, Варюша... Никто, какъ Богъ!.. бормоталъ онъ.— Трудно оно, безъ глазъ-то, трудненько... Да ничего, попривыкну... Корзинки, вотъ, ужо буду плести, рогожки... Съ голоду не помремъ...

Я подавилъ вздохъ.

— Да вы закусить не хотите-ли? предложилъ я.—Яйца вотъ печеныя, колбаса.

— Спаси Господи тебя и помилуй, кормилецъ!.. Я то не хочу, пожалуй... А вотъ дѣвченочкѣ дай, сдѣлай милость,— проголодалась...

— Да я не хочу, дѣдушка... начала было Варюша.— Я давече закусила дома... — Но я замѣтилъ, какъ глазки ея жадно остановились на хлѣбѣ и яйцахъ.

— Ну, полно, поѣшь, голубушка. И я протянулъ ей провизію.

Старикъ весь дрожалъ и теръ окоченѣвшіе руки. Бѣднякъ до нитки промокъ. Съ длинной сѣдой бороды его еще и теперь падали капли.

— Вотъ гдѣ помѣстить-то васъ только? говорилъ я.— Нѣтъ ничего здѣсь такого, укрыться не чѣмъ... мѣшки вотъ развѣ... И я разсказалъ старику, какъ я попалъ сюда.

— Да ты не заботься, родимый, спасибо!.. говорилъ онъ. — Самъ-то, вотъ, ты гдѣ помѣстишься?.. А мы тутъ у огонька, прикурнемъ; обсохнемъ, уснемъ... Спаси тебя, Господи, и помилуй!.. Старикъ растянулся передъ огнемъ; дѣвочка крѣпко прижалась къ нему, обнявъ ручонкой его худую, костлявую шею... Я подбросилъ въ печку еще нѣсколько разломанныхъ половицъ и тоже улегся.

На улицѣ дождь все еще лилъ; въ окна глядѣла луна; въ плитѣ потрескивали дрова... Старикъ задремалъ; но мнѣ не спалось почему-то... Но вотъ усталость взяла свое, и глаза у меня стали смыкаться. И долго еще я слышалъ въ полудремотѣ, какъ дѣвочка что-то шептала все старику, а тотъ только вздыхалъ...

— Вѣдь еслибъ болѣзнь-то была запущена, доносился шопотъ. — А то недавно еще, вторая недѣля... Ничего, дѣдушка,—не безпокойся, не думай... Вылѣчитъ дохтуръ-то,— онъ, говорятъ, хорошій...

— Да я ничего... полно, голубка!.. Право, я ничего... шамкалъ дѣдушка. — Ну, посѣтилъ Господь, — воля Его святая... были глаза,—ладно; нѣту—рогожки буду плести, корзинки, лёски, вотъ, тоже, изъ конскаго волоса... Мало-ли что̀ найдется... Господь-то,—Онъ видитъ все, Батюшка... Знаетъ, что̀ дѣлаетъ... Съ голоду не помремъ... Спи-ка, вотъ, лучше, голубка моя... Спи спокойно!..

— Старикъ захрапѣлъ. Но дѣвочка долго не спала... И мнѣ казалось, сквозь полусонъ, что до меня долетали глухія подавленныя рыданія... Но вотъ я совсѣмъ заснулъ...

Проснулся я часовъ въ семь утра. Ни старика, ни дѣвочки уже не было.

Пѣгашка.

Въ избѣ дяди Савелья точно семейный праздникъ справлялся. Яркое солнышко лило потоки свѣта на чисто вымытый полъ; точно золото блестѣлъ самоваръ на полкѣ; блестѣли кастрюли... Тетушка Анна, жена дяди Савелья, вѣчно суетящаяся бабенка, съ широкимъ, лоснящимся отъ пота, лицомъ, весело улыбалась, катая тѣсто для пирога... Даже самъ дядя Савелій, высокій, ражій мужикъ, съ густыми бровями и темнорусою, съ легкой просѣдью, бородой, — и тотъ не могъ скрыть улыбки...

— Ну, тише вы, пострѣлята! ворчалъ онъ, напрасно стараясь придать голосу строгій тонъ.—Чего развозились-то? Ишь, пыль какую по избѣ подняли!

Но пострѣлята, что называется, и въ усъ себѣ не дули. Они катались и кувыркались по полу... Сенька оралъ и хохоталъ во все горло, а Яшка старался всѣми силами превзойти его въ этомъ искусствѣ... А вонъ тамъ, въ уголку, у печки, сидитъ на постелькѣ маленькій карапузъ, лѣтъ четырехъ не больше. Онъ очень худенькій, блѣдный: видно, недавно еще оправившійся отъ болѣзни. Но и онъ тоже веселъ; и онъ смѣется тоненькимъ, слабымъ смѣхомъ; и у него блестятъ глазенки.

Но въ чемъ же дѣло однако? — Что за веселье, за радость? Что сдѣлалось съ дядей Савеліемъ, добрымъ, но очень строгимъ и взыскательнымъ мужикомъ, передъ ко-

торымъ всѣ въ домѣ ходили по стрункѣ? Что сдѣлалось съ нимъ, что допустилъ онъ въ домѣ такую кутерьму.

А вотъ что: у гнѣдой кобылы дяди Савелія родился пѣгонькій жеребенокъ.

Дядя Савелій едва ли не самый богатый мужикъ въ деревнѣ Сухой Ручей. Домъ у него — чаша полная; добрая работящая женка, двое дѣтей, здоровыхъ и краснощекихъ мальчишекъ. Дядю Савелія и любятъ всѣ, и немного побаиваются, — но больше любятъ... Чѣмъ не житье! — Оно и было такимъ... Но, вотъ, съ полгода тому назадъ, веселая, говорливая Анна вдругъ стала грустной, задумчивой... Дядя Савелій ходилъ, словно темная туча, а два сынишки, Сенька да Яшка, баловни матери и отца, сорванцы, какихъ поискать въ деревнѣ, — вдругъ присмирѣли и стали тише воды, ниже травы... Что случилось? — А вотъ что: самый младшій, третій сынишка, карапузъ Петя, вдругъ заболѣлъ... Онъ и родился-то такимъ слабенькимъ, хрупкимъ, — думали и не выживетъ. Но онъ выжилъ и сдѣлался общимъ любимцемъ семьи... Да и еще бы! Вѣдь это былъ такой милый, такой умный ребенокъ!.. Онъ сталъ ходить еще раньше году и лепеталъ, точно птичка...

Случалось, порой, дѣла у дяди Савелья не клеились, мрачный, нахмуренный, сидитъ онъ на лавкѣ. Все его раздражаетъ: и крикъ и гамъ ребятишекъ на улицѣ, и лай собаченки, и даже жужжанье летающихъ мухъ... Но вотъ вдругъ подходитъ къ нему, ковыляя на своихъ худенькихъ, тонкихъ ножкахъ, карапузъ Петя, протягиваетъ рученки и говоритъ:

— А ты цего, тятька, серлитый такой!.. У-у!.. Возьми меня на лучки, да покацай!..

И точно солнышко вдругъ освѣтитъ суровое лицо Савелія; морщины исчезнутъ на лбу, и на полныхъ, румяныхъ губахъ его заиграетъ улыбка... Онъ схватываетъ карапуза мускулистыми руками, крѣпко цѣлуетъ его и начинаетъ подбрасывать къ потолку, сперва полегоньку, а тамъ

все выше и выше... Ребенокъ хохочетъ... Хохочетъ и дядя Савелій, и тетка Анна; хохочутъ и Сенька съ Яшкой... На улицѣ лаетъ Шарикъ; въ избѣ мухи жужжатъ... И всѣмъ весело, очень весело!..

И вдругъ этотъ общій любимецъ и баловень заболѣлъ... Дядя Савелій ѣздилъ въ городъ за докторомъ, привозилъ его; потомъ привозилъ другого. Оба они смотрѣли ребенка, покачивали головами, прописывали лѣкарства, — но карапузикъ не поправлялся. Онъ, съ каждымъ днемъ, становился все слабѣй и слабѣй и таялъ, какъ свѣчка... Дядя Савелій совсѣмъ одурѣлъ съ горя; про тетку Анну и толковать нечего: у той ни днемъ, ни ночью не подсыхали глаза; Сенька съ Яшкою пригорюнились и тоже нерѣдко плакали... Да, только теперь поняли отецъ съ матерью, какъ дорогъ былъ имъ этотъ слабый, больной ребенокъ!.. Они и прежде страстно любили его, — больше другихъ дѣтей, — и именно потому, что онъ былъ такимъ слабенькимъ, хрупкимъ. Но теперь они полюбили его еще больше... Дядя Савелій совсѣмъ потерялъ надежду... — И, вдругъ, случилось одно обстоятельство... Кто бы могъ знать, могъ подумать!..

— А у насъ, тятя, прибыль сегодня! — сообщилъ въ одно прекрасное утро Яшка отцу.

— А?.. Что такое? переспросилъ задумавшійся Савелій.

— Прибыль, я говорю... У гнѣдки-то жеребеночекъ... пѣгонькій... Я, знаешь, его принесу сюда, покажу Петюнькѣ...

— Ну, вотъ еще! заворчалъ отецъ. — До жеребенка ему теперь!.. — И сейчасъ-же прибавилъ:

— А принеси, пожалуй!..

Яшка ушелъ и вернулся съ жеребеночкомъ на рукахъ. Жеребеночекъ былъ прехорошенькій. Пѣгій, съ тонкими, стройными ножками, съ тоненькимъ хвостикомъ и синими глазками, — онъ выглядывалъ почти такимъ же слабенькимъ, хрупкимъ, какъ и Петюнька. Но только онъ былъ здоровъ, а тотъ — боленъ...

Петюнькѣ поднесли жеребенка. Весь день лежавшій въ жару, ребенокъ вдругъ весело засмѣялся и протянулъ ручки; мутные глазки его точно прояснились, заблистали... Онъ гладилъ и цѣловалъ пѣгашку; цѣловалъ его маленькую, гладенькую головку, ушки и лепеталъ что-то... Едва-едва взяли отъ него жеребенка.

— Онъ тоже поѣсть хочетъ, маленькій, говорила тетушка Анна. — Надо снести его, пусть пососетъ матку.

— А какъ поѣстъ, такъ опять сюда его, мамушка...

— Ладно, голубчикъ!..

Но Петя не дождался пѣгашки. Онъ крѣпко и спокойно заснулъ, и спалъ вплоть до завтрашняго утра. Проснулся онъ гораздо крѣпче, сильнѣе вчерашняго, съ легкимъ румянчикомъ на щекахъ, съ блестящими глазками...

— А лошадка, матушка, гдѣ? было его первымъ вопросомъ. — Пѣгашка?

— А вотъ, сейчасъ, родной, — принесу...

Прошла недѣля. Петюнька поправлялся все больше и больше. Вотъ ужъ онъ сталъ вставать и бродить по избѣ — Пѣгашка сдѣлался его любимцемъ. Онъ цѣлый день съ нимъ возился, гладилъ, ласкалъ, цѣловалъ его...

Пріѣхалъ докторъ, взглянулъ на ребенка и удивился.

— Да онъ, вѣдь, почти здоровъ! Что жъ это такое?..

— Да вотъ, баринъ... — И тетушка Анна сообщила врачу исторію съ жеребенкомъ.

Тотъ выслушалъ ее, улыбаясь.

— И превосходно! прекрасно! говорилъ онъ. — Теперь онъ непремѣнно поправится!..

Что жъ удивительнаго, если пѣгашка сдѣлался тоже общимъ любимцемъ. Даже дядя Савелій часто гладилъ его и говорилъ, что изъ него, современемъ, вырастетъ славный конекъ... Пѣгашка отлично понялъ, что онъ любимецъ и баловень. Онъ, безнаказанно, во всякое время дня входилъ въ избу, самъ отворяя дверь мордочкой и копытцами, бѣгалъ, задравши хвостъ, заглядывалъ во всѣ углы, и если

гдѣ замѣчалъ кусокъ хлѣба, то непремѣнно его утягивалъ. Понятно, что онъ каждый день находилъ такіе куски, нарочно для него положенные...

Былъ зимній, морозный вечеръ... Дядя Савелій сидѣлъ на скамьѣ и, при тускломъ свѣтѣ нагорѣвшей сальной свѣчи, разглядывалъ старую сбрую. Онъ думалъ, — нельзя ли ее какъ-нибудь починить, — но все болѣе и болѣе убѣждался, что сбруя никуда не годится, и, не сегодня — завтра надо покупать новую... Тетка Анна шила себѣ сарафанъ къ святкамъ. Ребята давно уже спали. Петюнька, теперь ужъ почти совершенно здоровенькій, тоже спалъ, съ красными, разгорѣвшимися щечками, и улыбался. Онъ что-то видѣлъ во снѣ.

Вдругъ дядя Савелій вздрогнулъ и сталъ къ чему-то прислушиваться.

— Что ты? спросила Анна.

— Да волки, никакъ... Слышь, воютъ?..

— Много ихъ тутъ нонѣ шляется... Третьяго дня, такъ я даже заснуть не могла, — такъ сильно выли, проклятые!.. Да и близёхонько, — точно, вотъ, у избы самой...— И тетка Анна опять склонилась надъ сарафаномъ.

Дядя Савелій всталъ и торопливо накинулъ на плечи полушубокъ.

— Куда ты?

— Молчи!.. прошепталъ онъ, схватилъ двустволку, топоръ и быстро вышелъ на улицу...

— Что это съ нимъ?.. Ошалѣлъ, что-ли?.. удивилась Анна.

И точно, дядя Савелій вдругъ ошалѣлъ. Взглянула бы Анна ему въ лицо, когда мужикъ отворилъ дверь конюшни и увидалъ, что пѣгашки тамъ не было!.. Блѣдный, какъ полотно, со стиснутыми зубами, онъ кинулся къ лѣсу...

Тетка Анна спокойно обшивала рубецъ... Вдругъ гдѣ-то вдали грянулъ выстрѣлъ... Еще... Жалобный, надрывающій

душу, волчій вой донесся вдругъ до нея. Она поблѣднѣла, вскочила, взглянула на спящаго Петю и кинулась къ двери.

— Савелій!.. Савелій!.. послышалось вдругъ въ тихомъ морозномъ воздухѣ. Господи!.. Что съ нимъ...

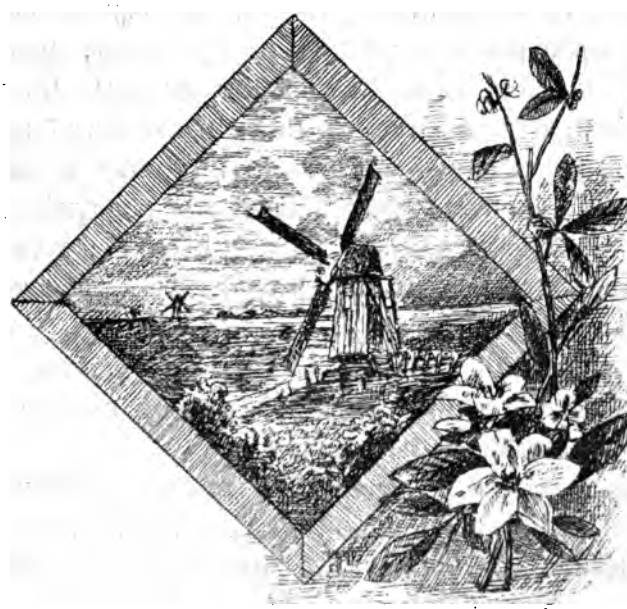
— Молчи!.. Иду!.. И мощная фигура мужа вдругъ, точно изъ подъ земли, выросла передъ ней. Савелій несъ подъ мышкой пѣгашку и тяжело дышалъ.

— На, вотъ, снеси его... задыхаясь говорилъ онъ и сунулъ ей въ руки дрожащаго жеребенка. — Н-ну, слава Богу, едва отбилъ!.. Тьфу, какъ я испужался!..

— Да что у тебя съ рукой-то? крикнула вдругъ Анна. — Въ крови она вся...

— Да искусалъ *онъ*... проклятый!.. И дядя Савелій тряхнулъ рукой. — Запри пѣгашку-то хорошенько... цѣлёхонекъ онъ, такъ только перепужался... Да Петькѣ, смотри, Боже тебя сохрани, ни гу-гу, — молчокъ! Слышишь?..

— Фу, точно гора съ плечъ!.. глубоко вздохнулъ онъ. — Этакій, вѣдь, дуракъ, остолопъ!.. Дверь позабылъ запереть!.. И дядя Савелій хлопнулъ себя кулакомъ по лбу.



На мосту.

емная, осенняя ночь; дуетъ рѣзкій, холодный вѣтеръ... На главныхъ улицахъ нашего города горятъ фонари, — и горятъ еще довольно свѣтло, — но тамъ, на улицахъ второстепенныхъ, — не говоря ужъ о разныхъ проулкахъ и переулкахъ, — тамъ совершенно темно. Темно и на этомъ длинномъ, широкомъ мосту... Рѣдко, кой-гдѣ, стоятъ на немъ фонари и освѣщаютъ небольшое пространство какимъ-то тусклымъ, печальнымъ свѣтомъ... Ихъ огоньки, дрожа, отражаются въ черныхъ волнахъ рѣки; отражаются въ нихъ и огоньки барокъ... И съ шумомъ и плескомъ бѣгутъ эти волны и бьютъ въ устои моста, дробясь, разсыпаясь въ воздухѣ мелкими брызгами... На баркахъ давно ужъ всѣ спятъ; только одни сторожа еще бодрствуютъ и изрѣдка перекликаются другъ съ другомъ:

— Погля-дывай!.. слышится съ одного конца.

— ...а-адывай!.. глухо доноситъ вѣтеръ съ другого.

Гдѣ-то на калѣнчѣ бьютъ часы.

— Семь... восемь... девять... считаетъ маленькая фигурка, показавшаяся на одной изъ глухихъ, отдаленныхъ улицъ. — Десять... одиннадцать... *Только* одиннадцать! вскрикиваетъ она. — Ну, куда-жъ мнѣ дѣваться?.. А холодище-то...

брр!.. Спать какъ хочется!.. И фигурка поплотнѣе закутывается въ старый, дырявый халатикъ и семенитъ босыми ногами къ мосту.

Это мальчикъ, на видъ лѣтъ двѣнадцати, маленькій, худенькій, съ блѣднымъ, замараннымъ грязью лицомъ, съ заплаканными глазами. Поярковая шляпенка, — очевидно, съ чужой головы,—нахлобучена у него на самый затылокъ, но упрямыя пряди волосъ лѣзутъ изъ-подъ нея во всѣ стороны, а вѣтеръ еще больше треплетъ и развѣваетъ ихъ... И не даетъ этотъ вѣтеръ ему покоя: войдетъ онъ въ одну дыру въ его ветхомъ халатишкѣ, выйдетъ въ другую, — и такъ и знобитъ, леденитъ худое, костлявое тѣло... Одну только услугу оказалъ вѣтеръ: осушилъ слезы... Онѣ ужъ теперь не текутъ по грязному личику; да и на личикѣ ужъ не видно горя... На немъ выражается просто покорность судьбѣ: ничего не подѣлаешь!..

И мальчуганъ торопливо пробирается по мосту, изрѣдка поглядывая по сторонамъ. Но нигдѣ ни души не видно... Вотъ онъ и бѣгомъ побѣжалъ... Босыя пятки его такъ и шлепаютъ по холоднымъ, сырымъ плитамъ... Онъ знаетъ: здѣсь есть мѣстечко одно, уютное, гдѣ можно провести ночь. Мѣстечко это, отчасти, защищено отъ вѣтра; на немъ есть скамья, не слишкомъ длинная и широкая, но все же такая, что можно, не безъ удобства, улечься на ней и даже протянуть ноги... Но, впрочемъ, ноги гораздо лучше поджать подъ себя; однимъ словомъ, свернуться калачикомъ. Такъ будетъ гораздо теплѣе. Ужъ онъ испыталъ разъ подобный ночлегъ подъ открытымъ небомъ, на этой самой скамьѣ...

Да вотъ и она... Но что же это такое? На лицѣ мальчика выразилась досада. Скамья оказалась ужъ занята. На ней лежала, тоже свернувшись калачикомъ, и тоже маленькая фигурка...

— Ну, ты тутъ чего растянулся? Пусти!.. хотѣлъ, было, крикнуть мальчикъ, да и не только крикнуть, а и грубо

толкнуть фигурку. Но онъ не крикнулъ и не толкнулъ... Досада исчезла съ его лица и замѣнилась совершеннѣйшимъ удовольствіемъ. Дѣло въ томъ, что фигурка оказалась лежащею подъ овчиннымъ тулупомъ...

«Вдвоемъ тутъ нельзя-ль пріютиться, подъ шубой-то?..» мелькнуло у него въ головѣ.

— Эй ты... какъ тебя тамъ... Тулупъ!.. вѣжливо, но и внушительно толкнулъ онъ фигурку.

Тулупъ зашевелился, и изъ-подъ него выглянула черноволосая голова мальчика, почти однихъ лѣтъ съ нимъ.

— Тебѣ чего надо?.. Чего толкаешься?.. вдругъ заоралъ онъ на нежданнаго посѣтителя.

Тотъ опѣшилъ.

— Пошелъ прочь, халатникъ!.. А не то, — вотъ я те задамъ!.. Онъ высунулъ крѣпко сжатый кулакъ и погрозилъ имъ. — Пошелъ, тебѣ говорятъ, пока не вздули!.. Не мѣшай спать!.. И голова опять скрылась.

— Да ты погоди .. Не лайся!.. Послушай, что я скажу... рѣшился вступить въ переговоры халатникъ.

— А наплевать, что ты скажешь!.. глухо послышалось подъ тулупомъ. — Пошелъ!.. Спать хочу!..

— Да я тоже, знаешь... страсть какъ хочу!.. Перезябъ весь! И онъ защелкалъ зубами.

— Ну такъ пошелъ и спи...

— Да негдѣ мнѣ спать-то... Слышишь ты?.. Меня тятька изъ дому прогналъ... Пьяный онъ пришелъ изъ кабака, мамку хотѣлъ бить, — а я и вступился за мамку-то... Онъ меня за вихры, да и выгналъ на улицу... Шапку едва успѣлъ захватить...

Тулупъ слегка шевельнулся. Съ одной стороны образовалось въ немъ небольшое отверстіе, и изъ него показался глазъ.

— Ну?..

— Къ сосѣдямъ толкнулся я, продолжалъ халатникъ. — Стучался, стучался — спятъ... Ну, я и пошелъ сюда, на

мостъ... Больше-то некуда... Я ужъ одинъ разъ ночевалъ здѣсь... Голосъ у него вдругъ задрожалъ; въ немъ послышались слезы. — Пусти, ради Христа, хоть не надолго, — погрѣться... Страсть перезябъ-то какъ... Такъ лихоманка и треплетъ!.. И онъ опять забарабанилъ зубами.

— Ну, ладно, нюня, иди! Тулупъ распахнулся. — Иди, говорятъ!.. Кланяться тебѣ, что ли?..

Но мальчуганъ не заставилъ кланяться и моментально юркнулъ. Тулупъ опять плотно закрылся, и наступила совершенная темнота.

— Вотъ такъ, братъ, важно... Теплынь-то, теплынь какая!.. въ восторгѣ крикнулъ халатникъ.

— Молчи!..

— У насъ, братъ, дома, на печкѣ, — ей-ей, холоднѣй будетъ!.. уже шопотомъ продолжалъ тотъ. — Оно и то правда: печку-то мы не каждый день топимъ...

— Тебѣ говорятъ, молчи! Спать мѣшаешь!..

Халатникъ умолкъ. Но соночлежникъ его и не думалъ спать. Онъ все что-то ворочался и покряхтывалъ.

— А тебя какъ звать-то? вдругъ спросилъ онъ.

— Меня-то? — Васькой... А тебя?

— Иваномъ Степановичемъ, не безъ гордости выговорилъ сосѣдъ.

Васька былъ удивленъ. Но, впрочемъ, онъ не спросилъ, почему такъ величаютъ, по имени и отчеству его ровесника, и только проговорилъ:

— Ишь ты!..

— Да... меня всѣ такъ дома зовутъ, пояснилъ сосѣдъ. — Пускай-ка попробуетъ кто назвать Ванькой!.. Да я его!.. И Иванъ Степановичъ заворочался подъ тулупомъ.

— Отецъ-то есть у тебя?

— Померъ отецъ-то... Теперь я въ домѣ одинъ хозяинъ... Тетка есть у меня. — Да тетка-то слова пикнуть не смѣетъ... Боится меня страсть какъ!.. Я, вѣдь, богатый:

тятька-то мнѣ десять тысячъ капиталу оставилъ; да пять лошадей, да коровъ — пятнадцать, да садъ фруктовый...

У Васьки даже дыханіе сперлось... Такъ вотъ съ какимъ богачемъ довелось ему встрѣтиться!.. И гдѣ — на мосту, подъ овчиннымъ тулупомъ!..

— Работниковъ однихъ у меня семеро, продолжалъ гордо Иванъ Степановичъ: — и всѣ, то-ись, передо мной по стрункѣ ходятъ!.. А тетка-то у меня бѣдная... Милостынку собирала... Попробуй-ка пикнуть — выгоню!..

— Однако ты, братъ, того... робко замѣтилъ Васька. — Да развѣ можно... родную-то... тетку-то?..

— А ты молчи!.. Не твое дѣло!

Васька умолкъ. Иванъ Степановичъ тоже молчалъ. Онъ, видимо, начиналъ дремать.

— Странное дѣло, подумаешь... разсуждалъ самъ съ собой Васька.— Въ толкъ не возьму никакъ... Богатый теперь человѣкъ... и какъ же, вдругъ, на мосту, подъ тулупомъ?.. Да нешто постоялаго двора нѣту.

— А ты молчи!.. огрызнулся Иванъ Степановичъ. — Молчи, коли ничего не смыслишь!.. Я въ городѣ-то еще здѣсь впервой, и никакихъ вашихъ постоялыхъ не знаю!.. Пріѣхалъ сюда вечеромъ я, часовъ въ шесть, съ Михѣемъ (это работникъ мой). Послалъ его разыскать одного человѣчка, а самъ на рынокъ пошелъ... И протолкался я тамъ, никакъ, до девятаго... Искалъ Михѣя, искалъ... (видно гдѣ въ кабакѣ загулялъ, — выгоню вотъ ужо!)... не нашелъ... А тутъ мнѣ спать захотѣлось... Ну, и прилегъ на мосту... Тепло оно, подъ тулупомъ-то... (А тулупъ-отъ у меня новый, съ иголочки, — пятнадцать рублевъ заплаченъ)!.. Да и заснулъ... Вотъ ты меня разбудилъ, халатникъ... У-у!.. И Иванъ Степановичъ толкнулъ Ваську кулакомъ подъ бокъ.

— А ты не толкайся!.. Что очень-то...

— Замолчи!.. Выгоню вотъ тебя... Проваливай, куда хочешь!.. Слышь?..

— Слышу! И Васька умолкъ.

— Та-акъ!.. заговорилъ опять онъ. — На мосту, подъ тулупомъ... прекрасно!.. А если городовой теперь?.. А?.. Объ немъ-то ты какъ полагаешь?..

Иванъ Степановичъ презрительно свистнулъ.

— Городовой-то? — Вотъ велика птица!.. Такъ и боюсь я его!.. А ты-то самъ?..

— Да они меня здѣсь, почитай, всѣ знаютъ!.. не безъ гордости сообщилъ Васька. — И ни одинъ никогда пальцемъ не тронетъ!.. А ужъ особенно этотъ, что здѣсь, на мосту, ходитъ,— Захаръ Прокофьичъ... Да еслибъ мнѣ давече только его увидать,— онъ бы сейчасъ мнѣ ключъ далъ отъ будки: «На, Васька, — ступай и спи!..» Онъ, братъ, душа-человѣкъ у насъ, Захаръ-то Прокофьичъ! Въ прошломъ году вотъ такъ-же... Случай вышелъ такой... Тятька пьяный домой вернулся, и къ мамкѣ драться полѣзъ... Ну, а я заступился... Онъ и въ зашей меня, за двери,.. Пошелъ я вотъ сюда, на мостъ... Погодка-то еще похуже была, чѣмъ сегодня... Сегодня-то вѣтеръ только, а тогда дождь былъ... Промокъ я чуть не до нитки... Лежу вотъ здѣсь, на этомъ на самомъ мѣстѣ, а Захаръ-то Прокофьичъ мимо идетъ и, будто, меня не видитъ... А онъ не только меня, мышку-бы разглядѣлъ... Зоркій!.. Ну, и заснулъ я... Вдругъ, слышу будитъ меня. — «Ступай», говоритъ, «Васька, въ будку... На, ключъ!.. Я скоро съ поста смѣняюсь, приду, — такъ вмѣстѣ чайку напьемся!..» Душа-человѣкъ!.. Дай ему Богъ здоровья! Спишь, что-ли, Иванъ Степанычъ?..

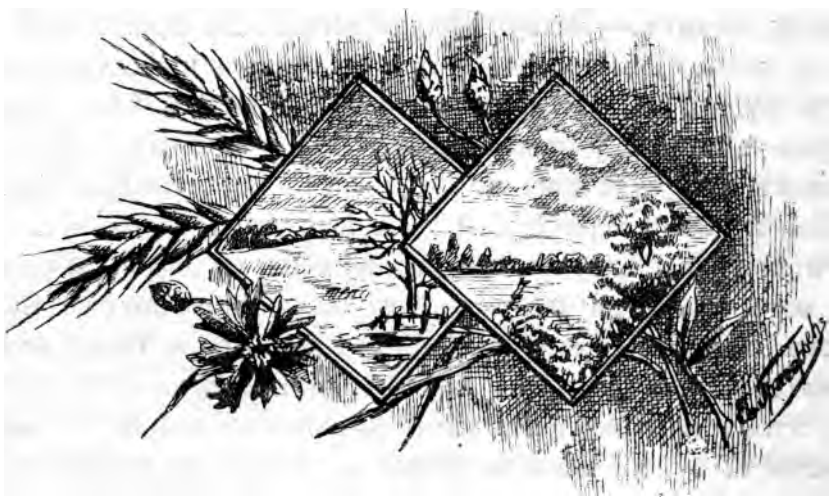
Иванъ Степанычъ отвѣчалъ храпомъ.

«Заснулъ!.. И чудеса, право!.. Богачъ теперь, — а на мосту... подъ тулупомъ!..»

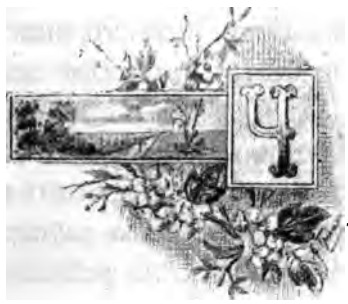
И долго еще размышлялъ Васька, но, наконецъ, тоже заснулъ.

Проснулся онъ отъ сильнаго холода, потянулся, открылъ глаза... Было часовъ пять утра; замѣтно свѣтало... Иванъ Степанычъ исчезъ куда-то, — пошелъ, должно быть, оты-

скивать своего работника,—а съ нимъ исчезъ и тулупъ... Васька вздохнулъ, но только не о своемъ соночлежникѣ, и опять свернулся калачикомъ...



Въ лѣсной избушкѣ.



истенькая избушка у дѣдушки Ермолая. Маленькая, точно игрушечка, съ кровлей, крытой простой соломой, съ низкимъ оконцемъ,—она чуть не вся спряталась въ густой зелени липъ. Крылечко, въ три-четыре ступеньки, съ рѣзными перильцами, — такъ и лоснится, такъ и бѣлѣетъ, точно по нему никогда не ходили.

Опрятна избушка снаружи, опрятна она и внутри. Стѣны тесовыя, не бѣленыя, картинки на нихъ кой-гдѣ наклеены, все больше духовнаго содержанія: «*Авраамъ, приносящій въ жертву Исаака*», «*Переходъ евреевъ черезъ Чермное море*», «*Моисей, извлекающій жезломъ воду изъ камня*» и пр. Только одна картинка свѣтская: генералъ въ красномъ мундирѣ скачетъ на темно-сѣромъ конѣ. — Въ углу образъ Спасителя, въ мѣдной, посеребреной ризѣ; лампадка предъ нимъ. По стѣнамъ широкія, чистыя лавки; полъ также чистый (и лавки и полъ дѣдушка Ермолай самъ моетъ каждую субботу). На стѣнѣ полочка съ книгами: Библія, Евангеліе и Псалтирь. Въ углу, у печки, старое, кремневое ружье. У окна, завѣшаннаго ситцевой занавѣской, — клѣтка съ чижикомъ.

Дѣдушка Ермолай — сѣдой, какъ лунь, но еще бодрый и крѣпкій старикъ, давнымъ давно живетъ здѣсь въ лѣсу. Еще баринъ, Яковъ Петровичъ, назначилъ его лѣсникомъ:

далъ ему ружье кремневое, пороху, дроби, опредѣлилъ выдавать ежемѣсячно по стольку-то муки и по стольку-то крупъ, и сказалъ: «Ну, Ермолай, — ты мужикъ честный! Никогда я тебя ни въ чемъ худомъ не замѣтилъ. Живи-же здѣсь, береги добро барское»!...

Давнымъ-давно умеръ баринъ; умеръ его наслѣдникъ; имѣніе купилъ какой-то купецъ, Андріановъ, — а дѣдушка Ермолай все еще живетъ въ Сивомъ Бору, и никто никогда не замѣтилъ, что онъ человѣкъ не честный и добро хозяйское не бережетъ.

Всѣмъ бы хорошъ былъ дѣдушка Ермолай, да вотъ только ворчать очень любитъ. На всѣхъ и на все онъ ворчитъ: и на внучка своего, десятилѣтняго, бойкаго, шустраго Гришу, страшнаго шалуна и проказника; и на ребятъ деревенскихъ: зачѣмъ, молъ, безъ толку, по лѣсу шляются да орутъ, — спать только мѣшаютъ; и на стараго, сѣдого кота, Дуная: то съ ласками, безъ пути, лѣзетъ, то на чижика что-то ужъ очень умильно поглядываетъ... — Но, впрочемъ, ворчаньемъ дѣдушки Ермолая рѣшительно никто не обижается; на него даже вниманія не обращаютъ. Гришуха все такъ же шалитъ; все такъ же, по цѣлымъ днямъ, съ ранняго утра и до ночи, пропадаетъ въ лѣсу, и возвращается домой исцарапанный, въ разорванной рубашонкѣ. Ребятишки все такъ же распѣваютъ пѣсни, орутъ еликовозможно... Даже старый Дунай, и тотъ, выслушивая дѣдушкину воркотню, только мурлыкаетъ, закрывши глаза, и отнюдь не перестаетъ ласкаться и поглядывать умильно на чижика...

— Не на кого ворчать старику, — такъ онъ на ружье ворчитъ.

— Гм... говоритъ онъ, развинчивая и снова завинчивая старый кремень. — Осѣчка опять... Что за напасть!.. Али старо ужъ стало, на покой пора? а? — Да нѣтъ же, постой! Развинчу я тебя, протру, маслицемъ смажу, — будешь служить хозяину!..

Но какъ ни ворчитъ дѣдушка Ермолай на ружье, какъ ни протираетъ, ни продуваетъ его, — а оно, все-таки, по прежнему, осѣкается и «отдаетъ», такъ что, послѣ каждаго выстрѣла, старикъ только сплевываетъ да потираетъ сильно ушибенную щеку...

Больше всѣхъ и всегда достается, конечно, Гришухѣ. Да и еще бы! Дѣдушка передъ иконой готовъ покреститься, что такого головорѣза, какъ этотъ «шельмецъ», онъ никогда не видалъ... И что за шалости у него! — Бѣлку, иной разъ, притащитъ, пуститъ ее по избѣ, да и гоняется за нею, какъ бѣшеный. Та мечется, прыгаетъ, на стѣну лѣзетъ, на печку, — того и гляди, лампадку уронитъ и разобьетъ... Шумъ, гамъ невообразимые...

— Ахъ ты, Господи, Боже мой!.. кричитъ дѣдушка Ермолай. — Да что это за наказанье!.. Гришка! Уймись!.. Нѣтъ, не сговоришь съ нимъ, ничего не подѣлаешь; надо, видно, за розгу приняться... — И старикъ направляется въ сѣни, гдѣ у него лежатъ вѣники. Гришуха улыбается только: онъ очень хорошо знаетъ, что дѣдушка розги не выдернетъ, а если и выдернетъ, то врядъ-ли ее въ ходъ пуститъ...

Просто хоть изъ дому бѣги!.. ворчитъ дѣдушка Ермолай. — Вотъ наказанье-то, Господи!.. Брось, тебѣ говорятъ, бѣлку, — бро-ось!..

Надоѣло Гришухѣ шалить, присмирѣлъ онъ. Дѣдушка Ермолай сидитъ у окна, съ лаптемъ въ одной рукѣ, съ кочедыкомъ — въ другой и раздумываетъ: будетъ-ли завтра дождь, али нѣтъ? — Поясницу опять что-то стало покалывать... Будетъ, пожалуй...

— Дѣдушка! говоритъ вдругъ Гришуха.

— Ну?

— Миленькій... голубчикъ!.. Дай ты мнѣ посмотрѣть...— Мальчикъ подходитъ къ старику и ласково заглядываетъ ему въ глаза. — Картинки дай посмотрѣть, въ той книгѣ-то... въ толстой...

— Карти-инки? протягиваетъ дѣдушка Ермолай. — Ну, нѣтъ, братъ, это ужъ дудки!.. Ты помнишь, что въ прошлый разъ съ этими картинками сдѣлалъ? Забылъ? Что ты сдѣлалъ съ *столпотвореніемъ вавилонскимъ?*

Гришуха молчитъ.

— Говори!

— Напакостилъ... Грязью замазалъ... Руки нечистыя были: лягушекъ изъ канавы таскалъ...

— То-то: лягушекъ... Ну, на вотъ... Смотри только...

Дѣдушка Ермолай снимаетъ съ полки старую иллюстрированную Библію и даетъ ее мальчику.

Гришуха залѣзаетъ съ ногами на лавку и начинаетъ разсматривать картинки. Но не долго онъ занимается ими, — надоѣдаетъ: картинки все такія засаленныя-презасаленныя, трудно и разобрать, что на нихъ намалевано. — Не проходитъ и четверти часа, глядь — Гришухи и слѣдъ простылъ...

— Въ лѣсъ опять убѣжалъ, сорванецъ!.. ворчитъ дѣдушка Ермолай. — Вотъ и жди его теперь до разсвѣта... Эхъ, парень, парень!..

Лѣто — благодать для Гришухи. Съ первыми лучами восходящаго солнца, просыпается онъ и тотчасъ-же пропадаетъ въ лѣсу. Ширь, приволье, просторъ!.. Утренній, свѣжій еще, воздухъ весь пропитанъ ароматомъ цвѣтущей липы... Свѣтло-желтые цвѣточки ея блестятъ, точно золото, подъ лучами іюльскаго солнца... Весело жужжатъ пчелы, перелетая съ цвѣтка на цвѣтокъ... Не вышелъ бы, кажется, изъ этого благоуханнаго, зеленаго моря!..

Бѣгаетъ, скачетъ Гришуха; какъ бѣлка, лазитъ по деревьямъ; гнѣзда раззоряетъ, яйца таскаетъ изъ нихъ...

Сидитъ дома дѣдушка Ермолай подъ оконцемъ: въ одной рукѣ лапоть, въ другой — кочедыкъ, и не думаетъ нисколько, не безпокоится, что Гришуха заблудится въ лѣсу. Знаетъ онъ, что мальчику знакомъ этотъ лѣсъ, какъ родная изба. Боится онъ только, какъ бы не попалъ парень

въ болото, въ трясину... Сохрани, Господи, и помилуй!.. Мало-ли бываетъ несчастій...

Долго, иной разъ, дожидается старикъ запоздалаго внука, и ужъ журитъ, журитъ его, когда тотъ вернется!..

Въ долгіе зимніе вечера, дѣдушка Ермолай, вдоволь набродившись по лѣсу, читаетъ Библію, или Псалтирь... — Тускло горитъ лучина, освѣщая склонившагося надъ ветхой книгою старика... Сидитъ онъ, съ трудомъ разбирая испачканныя, нечеткія буквы... Гришуха примостился на полу, у печки, и плететъ лапоть, или мастеритъ клѣтки для птицъ... Старый Дунай трется у его ногъ, мурлыкаетъ, выгибая спину, ласкается...

Дремлетъ Гришуха; бѣлокурая голова его нѣтъ-нѣтъ да и склонится на бокъ... — Но вотъ онъ вздрогнулъ и осмотрѣлся. Лучина почти догорѣла. Дунай протянулъ лапки,— спитъ... Дѣдушка Ермолай тоже дремлетъ, покачивается... Полная, молодая луна выглянула изъ-за тучки и, точно серебромъ, залила сѣдую голову старика...

— Дѣдушка! а, дѣдушка!.. говоритъ Гриша.

— А-а? — Дѣдушка широко раскрываетъ слипающія глаза.

— Въ голову мнѣ пришло... Лѣшій теперь, говорятъ, до Ерофеева дня не подымется... Правда?..

— Сказки однѣ. Никакого лѣшаго нѣту!..

— Какъ нѣту? сомнѣвается мальчикъ. — А болотнякъ, а болотница?

— Нѣту и ихъ... Тридцать лѣтъ здѣсь живу, а никакой нечисти не видалъ... — Ложись-ка, братъ, поздно!.. зѣваетъ старикъ.

Гришуха забирается на печь; дѣдушка растягивается на скамьѣ, у окна... Лучина потухла, и только блѣдные лучи мѣсяца слабо освѣщаютъ избу... Сверчокъ гдѣ-то потрескиваетъ за печкой. Черезъ минуту и дѣдушка и внучекъ уже спятъ...

— Карти-инки? протягиваетъ дѣдушка Ермолай. — Ну, нѣтъ, братъ, это ужъ дудки!.. Ты помнишь, что въ прошлый разъ съ этими картинками сдѣлалъ? Забылъ? Что ты сдѣлалъ съ *столпотвореніемъ вавилонскимъ*?

Гришуха молчитъ.

— Говори!

— Напакостилъ... Грязью замазалъ... Руки нечистыя были: лягушекъ изъ канавы таскалъ...

— То-то: лягушекъ... Ну, на вотъ... Смотри только...

Дѣдушка Ермолай снимаетъ съ полки старую иллюстрированную Библію и даетъ ее мальчику.

Гришуха залѣзаетъ съ ногами на лавку и начинаетъ разсматривать картинки. Но не долго онъ занимается ими, — надоѣдаетъ: картинки все такія засаленныя-презасаленныя, трудно и разобрать, что на нихъ намалевано. — Не проходитъ и четверти часа, глядь — Гришухи и слѣдъ простылъ...

— Въ лѣсъ опять убѣжалъ, сорванецъ!.. ворчитъ дѣдушка Ермолай. — Вотъ и жди его теперь до разсвѣта... Эхъ, парень, парень!..

Лѣто — благодать для Гришухи. Съ первыми лучами восходящаго солнца, просыпается онъ и тотчасъ-же пропадаетъ въ лѣсу. Ширь, приволье, просторъ!.. Утренній, свѣжій еще, воздухъ весь пропитанъ ароматомъ цвѣтущей липы... Свѣтло-желтые цвѣточки ея блестятъ, точно золото, подъ лучами іюльскаго солнца... Весело жужжатъ пчелы, перелетая съ цвѣтка на цвѣтокъ... Не вышелъ бы, кажется, изъ этого благоуханнаго, зеленаго моря!..

Бѣгаетъ, скачетъ Гришуха; какъ бѣлка, лазитъ по деревьямъ; гнѣзда раззоряетъ, яйца таскаетъ изъ нихъ...

Сидитъ дома дѣдушка Ермолай подъ оконцемъ: въ одной рукѣ лапоть, въ другой — кочедыкъ, и не думаетъ нисколько, не безпокоится, что Гришуха заблудится въ лѣсу. Знаетъ онъ, что мальчику знакомъ этотъ лѣсъ, какъ родная изба. Боится онъ только, какъ бы не попалъ парень

въ болото, въ трясину... Сохрани, Господи, и помилуй!.. Мало-ли бываетъ несчастій...

Долго, иной разъ, дожидается старикъ запоздалаго внука, и ужъ журитъ, журитъ его, когда тотъ вернется!..

Въ долгіе зимніе вечера, дѣдушка Ермолай, вдоволь набродившись по лѣсу, читаетъ Библію, или Псалтирь... — Тускло горитъ лучина, освѣщая склонившагося надъ ветхой книгою старика... Сидитъ онъ, съ трудомъ разбирая испачканныя, нечеткія буквы... Гришуха примостился на полу, у печки, и плететъ лапоть, или мастеритъ клѣтки для птицъ... Старый Дунай трется у его ногъ, мурлыкаетъ, выгибая спину, ласкается...

Дремлетъ Гришуха; бѣлокурая голова его нѣтъ-нѣтъ да и склонится на бокъ... — Но вотъ онъ вздрогнулъ и осмотрѣлся. Лучина почти догорѣла. Дунай протянулъ лапки,— спитъ... Дѣдушка Ермолай тоже дремлетъ, покачивается... Полная, молодая луна выглянула изъ-за тучки и, точно серебромъ, залила сѣдую голову старика...

— Дѣдушка! а, дѣдушка!.. говоритъ Гриша.

— А-а? — Дѣдушка широко раскрываетъ слипающія глаза.

— Въ голову мнѣ пришло... Лѣшій теперь, говорятъ, до Ерофеева дня не подымется... Правда?..

— Сказки однѣ. Никакого лѣшаго нѣту!..

— Какъ нѣту? сомнѣвается мальчикъ. — А болотняникъ, а болотняница?

— Нѣту и ихъ... Тридцать лѣтъ здѣсь живу, а никакой нечисти не видалъ... — Ложись-ка, братъ, поздно!.. зѣваетъ старикъ.

Гришуха забирается на печь; дѣдушка растягивается на скамьѣ, у окна... Лучина потухла, и только блѣдные лучи мѣсяца слабо освѣщаютъ избу... Сверчокъ гдѣ-то потрескиваетъ за печкой. Черезъ минуту и дѣдушка и внучекъ уже спятъ...

Сладко зѣвнулъ дѣдушка Ермолай, потянулся и открылъ глаза. Яркіе лучи іюльскаго солнышка пробились сквозь полуопущенную занавѣску, поиграли на мѣдномъ, ярко-вычищенномъ самоварѣ на полочкѣ, — и, точно золотомъ, залили всю избушку... Чижикъ въ клѣткѣ весело зачирикалъ... цѣлыя волны утренняго свѣжаго воздуха, пропитаннаго ароматомъ цвѣтовъ, полились въ окно... Гдѣ-то вдали, за лѣсомъ, прозвучалъ ударъ колокола; вотъ еще и еще...

Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ!.. проговорилъ старикъ, подымаясь съ лавки и осѣняя себя широкимъ крестомъ.— Попроспалъ я маленько: къ заутренѣ въ Марьинѣ зазвонили...

— Гриша! а, Гриша! вставай-ка! затормошилъ онъ Гришуху, свернувшагося калачикомъ у дверей. — Чего разоспался!

— Мм..., промычалъ тотъ и перевернулся на другой бокъ.

— Чай будемъ пить. Слышишь? — съ баранками...

— Съ баранками?.. — Гришуха вскочилъ и сѣлъ на полу, уставивъ на дѣдушку удивленные, заспанные глаза.— Да откуда ты баранковъ-то взялъ?

— А ужъ это мое дѣло — откуда, усмѣхнулся старикъ.— Вставай-ка-сь!

— А не врешь ты?

— Ну, вотъ еще! Самъ увидишь... — Вставай, да ставь самоварчикъ, а я, тѣмъ временемъ, клѣтку почищу...

Мигомъ поднялся Гришуха. Не прошло и пяти минутъ, какъ пузатенькій самоварчикъ весело зашумѣлъ... А вотъ и вскипѣлъ онъ... Заварилъ дѣдушка Ермолай чаю щепотку.

— Вотъ онѣ, баранки-то, — вотъ!.. говорилъ старикъ, вытаскивая изъ сундучка связку сухихъ, какъ камень, баранокъ. — Это я, братъ, еще отъ Святой ихъ припряталъ,— вотъ съ какихъ поръ!.. Все берегъ, тебѣ не показывалъ. Ну, а сегодня можно, для праздника... Садись-ка, на тебѣ чашку. А вотъ и сахару... — Онъ вытащилъ изъ того-же

сундучка кусковъ пять-шесть сахару, и одинъ изъ нихъ подалъ Гришухѣ. — Да береги, смотри, — безъ толку, не грызи!..

И началось чаепитіе. Дѣдушка Ермолай пилъ помаленьку, что называется, всласть, безпрестанно дуя на блюдечко и откусывая сахаръ крошечными кусочками. Гришуха — тотъ торопился: обжигался, кашлялъ, и нисколько не берегъ сахаръ: онъ такъ и хрустѣлъ у него на зубахъ...

— Еще налей, дѣдушка, говорилъ онъ, подвигая пустую чашку. — Да и сахару дай кусочекъ, — съѣлъ...

— А коли съѣлъ, такъ и безъ сахару пей... Вонъ его сколько осталось: всего четыре кусочка... Къ тому воскресенью приберечь надо. — И дѣдушка Ермолай заперъ сахаръ въ сундукъ. — Да и будетъ, кажися... Ты сколько выпилъ?

— Четыре.

— И за глаза! Я самъ только пятую пью... А баранки-то всѣ обработалъ?

— Всѣ, дѣдушка... Еще бы вотъ штучку... Дай!.. У тебя, вонъ ихъ сколько: разъ... два... пять штукъ!..

— Дудки, братъ!.. Это мы уже припрячемъ... — И баранки запираются, какъ и сахаръ, въ сундукъ.

Долго пьетъ дѣдушка Ермолай горяченькую водицу, слегка подбѣленную молокомъ, пьетъ до тѣхъ поръ, пока въ самоварѣ не остается ни капли. Потъ такъ и струится по лысому, загорѣлому лбу старика. — А Гришуха, тѣмъ временемъ, «штуку» придумалъ. Воспользовавшись случаемъ, что дѣдушка не обращаетъ на него никакого вниманія, досталъ онъ съ полочки ножницы, — и давай Дунаю шерсть подстригать. Коту эта операція не понравилась: замяукалъ онъ, зашипѣлъ и, вдругъ, до крови царапнулъ мальчика за щеку. Заревѣлъ Гришуха на всю избу...

— Аа! Попало!.. усмѣхается дѣдушка Ермолай. — Что, братъ, не будешь больше мучить кота? Что ты съ нимъ сдѣлалъ? а?

— Да я ему... я ему, дѣдушка, шерсть хотѣлъ маленько постричь... всхлипываетъ Гришуха.

— Ахъ, ты разбойникъ!.. Да развѣ кошекъ стригутъ? — И ножницы взялъ... Господи!.. Да въ кою пору ты ихъ стащилъ?.. Наказанье, ей Богу!.. Такъ у него, какъ на огнѣ, все и горитъ... Вотъ и винтикъ опять выпалъ изъ ножницъ... Ну, куда ты его задѣвалъ? Куда?.. — Нѣтъ, надо, видно, за розгу приняться!..

— Прости, дѣдушка, больше не буду! бормочетъ Гришуха и ласкается къ старику.—Ну, вотъ ей Богу, не буду!..

— Ни за что̀ не прощу, ни за что̀!..

Долго ворчитъ дѣдушка Ермолай, разсматривая изломанныя ножницы и покачивая головою.

— Э-эхъ! говоритъ онъ. — Наказанье мнѣ съ этимъ парнишкой!.. Все-то онъ вытащитъ, все сломаетъ... Вонъ ножницы теперь... Вонъ ручку у чашки... А чашка-то три года служила!..

«Не одна-то во̀ полѣ дороженька пролега-ала»... —

доносился вдругъ изъ чащи звонкій голосъ Гришухи.

— Эвона, куда его занесло! ухмыляется дѣдушка Ермолай. — Ужъ и парень!..

Покончилъ старикъ съ чаемъ, убралъ самоваръ, чашки и сталъ заряжать ружье.

— Побродить развѣ маленько, думаетъ онъ, чуть не по крупинкамъ засыпая порохъ на полку. — Не попадется-ли на обѣдъ дичинка какая? Куропатокъ, вонъ, видѣлъ вчера въ оврагѣ, да ружья, жалко, не было...

Замѣтилъ Дунай, что хозяинъ со двора собирается, — спрыгнулъ съ печки, хвостомъ замахалъ, замяукалъ; трется у ногъ старика, ласкается, въ глаза ему смотритъ...

— Ну, чего ты? Чего ты? говоритъ дѣдушка Ермолай. — Ѣсть хочешь? а? — Знаю, что хочешь... Погоди, покормлю, какъ вернусь... Ничего теперь нѣту... Отстань! Ишь, вѣдь: чуть не на голову вскочилъ... Брысь!..

Закидываетъ дѣдушка Ермолай ружье за плечи и выходитъ изъ дому. Дунай, какъ собачка, бѣжитъ вслѣдъ за нимъ. И далеко провожаетъ онъ старика, и еще дальше проводилъ бы, да соблазну кругомъ очень много: птички такъ и порхаютъ съ вѣтки на вѣтку, такъ и чирикаютъ. И вотъ Дунай тоже сбирается поохотиться...

Солнышко ужъ высоко стоитъ на небѣ, когда дѣдушка Ермолай возвращается домой, съ парой подстрѣленныхъ куропатокъ. Гришухи, какъ водится, нѣтъ... Тихо, душно въ избушкѣ. Чижикъ смирно сидитъ въ клѣткѣ, — нахохлился; мухи только, съ жужжаньемъ, носятся тамъ и сямъ, да Дунай, растянувшись у печки, съ трескомъ доѣдаетъ пойманнаго дрозда.

— Ужъ и дитятко-же уродилось!.. ворчитъ дѣдушка Ермолай, разводя въ печкѣ огонь и ставя на него котелокъ съ водой. — И куда это онъ запропастился опять? Сиди, вотъ, теперь, дожидайся!..

Давно ужъ доѣлъ дрозда старый Дунай и съ умиленіемъ поглядываетъ, какъ дѣдушка Ермолай потрошитъ только-что ощипанныхъ куропатокъ, — а Гришухи все нѣтъ... Небо, все утро ясное и чистое, начинаетъ хмуриться что-то... Гдѣ-то вдали прогремѣлъ громъ, сталъ накрапывать дождикъ... Вотъ онъ все крупнѣй и крупнѣй: капли его такъ и застучали по стекламъ. Въ избѣ становилось темно; огонекъ только вспыхивалъ въ печкѣ и освѣщалъ красноватымъ, дрожащимъ свѣтомъ дѣдушку Ермолая, склонившагося надъ котелкомъ... Вотъ ужъ и обѣдъ готовъ: куропатки и картошка сварились, хлѣбъ нарѣзанъ, — а Гришухи все нѣтъ, какъ нѣтъ...

— Будетъ онъ у меня безъ обѣда сегодня!.. ворчалъ старикъ, усаживаясь за столъ. — Ну, вотъ, ей-ей, ни кусочка не дамъ!.. «Святъ, святъ, святъ Господь Саваоѳъ!.. Слава Тебѣ Господи!», крестился онъ, откладывая въ сторону для Гришухи большія куски дичинки.

Ярко блеснула молнія, и страшный громовой ударъ чуть не до основанія потрясъ всю избушку. Дождь полилъ, какъ изъ ведра.

— Наконецъ-то, слава Тебѣ, Господи! говоритъ старикъ, заслышавъ въ сѣнцахъ знакомый голосъ. — Вернулось дитятко!.. Да съ кѣмъ это онъ тамъ, — не одинъ...

Дверь отворяется, и въ избу, тяжело дыша, вваливается Гришуха, усталый, промоченный до костей, а слѣдомъ за нимъ — штукъ пять ребятишекъ, малъ-мала меньше. Ни на комъ нитки сухой нѣтъ, — запыхались.

— Ахъ, вы, шалопаи безпутные! привѣтствуетъ ихъ дѣдушка Ермолай. — Ну, чего это вы шляетесь тутъ? чего?.. Ишь, сколько воды нанесли: лужа цѣлая у порога!.. У-у!.. Возьму, вотъ, вѣникъ хорошій, да вѣникомъ всѣхъ изъ избы...

— Не сердись, дѣдушка! говоритъ старшій изъ ребятишекъ, черноволосый мальчуганъ, лѣтъ двѣнадцати. — За ягодами пошли мы, — страсть нонѣ ягодъ! — да вотъ дождь и засталъ... Ужъ не сердись, сдѣлай милость, дай обсушиться!..

— То-то вотъ: обсушиться!.. — Э, да и ты тутъ, Паранька! обращается старикъ къ крошечной дѣвочкѣ, лѣтъ четырехъ, робко притаившейся за спиной мальчугана. — Ты какъ попала сюда? Съ ними тоже ходила? — Ишь, вѣдь, сорванцы, какого ребенка таскаютъ!.. Ты это все, озорникъ!.. говоритъ онъ черноволосому. — Вотъ погоди ужо, таткѣ скажу: сдернетъ онъ съ тебя рубашонку!..

— Да мы, дѣдушка, и не брали ее съ собой, оправдывается тотъ. — Сама увязалась...

— А, вотъ, погоди, погоди!..

Долго ворчитъ дѣдушка Ермолай, приговаривая, что всѣмъ имъ завтра батька порку задастъ; вѣниковъ даже свѣжихъ принести обѣщаетъ, — но, въ концѣ концовъ, раздѣваетъ ребятъ, развѣшиваетъ ихъ рубашонки передъ огнемъ, а самихъ усаживаетъ за обѣдъ. Ребята, какъ волчонки го-

лодные, накидываются на ѣду и, въ одно мгновеніе, убираютъ и куропатокъ, и хлѣбъ, и картошку...

— А съ тобой я раздѣлаюсь, — погоди! говоритъ старикъ внучку. — Вчера, вотъ, я еще вѣниковъ навязалъ два десятка...

Дождь пересталъ; небо прояснилось. Солнышко опять выглянуло изъ-за тучки...

— Спасибо, дѣдушка, спасибо, родимый! говорятъ ребятишки, обсушенные, накормленные и отдохнувшіе. — Прощай, добрый вечеръ! И гурьбой высыпаютъ всѣ за дверь. Черезъ минуту, въ лѣсу ужъ раздаются ихъ звонкіе голоса, ауканье, смѣхъ...

— Наказанье же съ этими шалунами!.. ворчитъ дѣдушка Ермолай. — Ничего-то они не боятся!.. И не думаютъ, что, Боже чего сохрани, — молнія... мало ли бываетъ случаевъ... Вотъ въ позапрошлое лѣто мельника Сидора брякнула, — и не охнулъ... Сохрани, Господи, и помилуй!..

Была зимняя ненастная ночь; на улицѣ бушевала вьюга... Тускло горѣла лучина въ избушкѣ дѣдушки Ермолая. Старикъ сидѣлъ у стола, за раскрытою Библіей; но онъ не могъ читать ее: буквы такъ и прыгали и сливались у него предъ глазами...

Еще съ утра чувствовалъ себя дѣдушка Ермолай нездоровымъ, а теперь и совсѣмъ разнемогся: голова у него страшно болѣла, кружилась; во всемъ тѣлѣ былъ жаръ, слабость какая-то... Чуть сидѣлъ на лавкѣ бѣдный старикъ, тяжело дыша и покачиваясь... Мысли, одна другой темнѣй и мрачнѣй, такъ и осаждали его, покоя ему не давали... Безпокоится онъ о Гришухѣ. Еще до обѣда, убѣжалъ мальчикъ въ лѣсъ къ полѣсовщикамъ, да такъ и пропалъ...

— Заночевалъ, видно, тамъ, успокаиваетъ себя дѣдушка Ермолай. — Не пойдетъ же въ такую мятель... — А что, если пойдетъ?.. приходитъ вдругъ ему въ голову, и, при одной этой мысли, холодный потъ выступаетъ на лбу старика.

— Господи! съ отчаяніемъ думаетъ онъ. — Заблудится парень, заблудится, — снѣгомъ его занесетъ!.. — И передъ глазами дѣдушки Ермолая вдругъ вырисовывается картина... Небо мрачное, черное, ни одной звѣздочки не видно на немъ... Съ воемъ носится вѣтеръ по лѣсу, клонитъ къ землѣ деревья, вздымаетъ снѣгъ цѣлыми тучами... Темень, зги не видать... Гришуха, измученный, окоченѣлый отъ стужи, плетется по занесенной дорогѣ и, чуть не на каждомъ шагу, вязнетъ въ глубокихъ сугробахъ... Но вотъ силы окончательно покидаютъ ребенка, падаетъ онъ, и его въ одно мгновеніе ока заноситъ мятелью... Сонъ клонитъ мальчика, но онъ борется съ нимъ: онъ знаетъ, что заснуть — умереть... И, вдругъ, тамъ гдѣ-то, вдали, раздается другой вой, жалобный, надрывающій душу, протяжный... Вотъ онъ все ближе и ближе — это стая волковъ... Точно горящіе угольки замелькали между деревьями. Жадно накидываются голодные хищники на теплое еще тѣло Гришухи...

— Тьфу ты! Съ нами крестная сила!.. вскакиваетъ дѣдушка Ермолай и отираетъ дрожащей рукою крупныя капли пота. — Что за блажь лѣзетъ мнѣ въ голову!.. И чего я тревожусь? — Сидитъ теперь, поди, Гришуха въ шалашѣ у Семена, — кашу хлебаетъ, али сказки, можетъ быть, слушаетъ; а не то и спитъ ужъ давно... Да и не отпуститъ его Семенъ одного въ такую мятель...

— А какъ самъ убѣжитъ? приходитъ ему опять въ голову. — И опять въ жаръ и ознобъ кидаетъ дѣдушку Ермолая. Вспоминается ему случай одинъ. Давно это было, лѣтъ десять назадъ. Пошла Дарья-солдатка въ лѣсъ, хворосту вязанку набрать, да и застала вотъ ее такая-же пурга... Такъ и не вернулась бѣдная старуха домой. Искали ее, искали цѣлой деревней, — и не нашли. По веснѣ только, Ѳомка-пастухъ набрелъ въ оврагѣ на чьи-то пожелтѣлыя кости...

Какъ отъ назойливыхъ мухъ, отмахивается дѣдушка Ермолай отъ мрачныхъ мыслей, крестится, молитву творитъ, читать пробуетъ, — да нѣтъ, не помогаетъ... Такъ и ноетъ, такъ и болитъ сердце у старика: бѣду чуетъ какую-то. Посидитъ, посидитъ дѣдушка, — вскочитъ и подойдетъ къ оконцу. Темень, — хоть глазъ выколи; вѣтеръ стонетъ, мятель бьетъ въ стекло...

Не вытерпѣлъ наконецъ дѣдушка Ермолай. Нахлобучилъ онъ на глаза овчинную шапку, палку въ углу отыскалъ и вышелъ на улицу. — Страшный порывъ вѣтра чуть не сбилъ его съ ногъ: онъ едва удержался, цѣлое облако снѣга залѣпило глаза... Долго стоялъ старикъ на крылечкѣ, всматриваясь въ темную даль, прислушиваясь къ завываньямъ мятели... Вдругъ онъ замѣтилъ вдали огонекъ. Точно звѣздочка, мелькалъ онъ между деревьями, то погасая, то опять вспыхивая...

— Это у полѣсовщиковъ, подумалъ старикъ. — Схожу я, провѣдаю... — И онъ отправился въ путь, съ трудомъ передвигая ослабѣвшія ноги и опираясь на палку.

Долго шелъ дѣдушка Ермолай, по направленію къ огоньку, часто останавливаясь и прислушиваясь... Холодныя, обледенѣлыя вѣтки хлестали его по спинѣ и лицу; снѣгъ кучами сыпался за воротъ худенькаго полушубка; рѣзкій вѣтеръ, точно иголками, кололъ его тѣло... Но ничего не замѣчалъ старикъ; онъ даже не чувствовалъ холода.

Пошатываясь, отдыхая чуть не на каждомъ шагу, шелъ онъ на огонекъ. Голова у него горѣла, кружилась... И вдругъ огонекъ исчезъ. Дѣдушка Ермолай остановился и, съ удивленіемъ, осмотрѣлся кругомъ.

Онъ стоялъ въ самой чащѣ какого-то незнакомаго лѣса. Толстыя, вѣковыя деревья со всѣхъ сторонъ; снѣжныя горы бѣлѣли, тамъ и сямъ, между ними: проходу не было ни взадъ, ни впередъ...

— Что за оказія! бормоталъ удивленный старикъ, осматриваясь и протирая глаза. — Да неужто я заблудился?..

Онъ усмѣхнулся даже отъ этой мысли. Однако, такъ или иначе, мѣсто было совсѣмъ незнакомое.

— Аль одурѣлъ я?.. Господи, Царь Небесный!..

Точно оцѣпенѣлый, стоялъ старикъ, рѣшительно ничего не понимая. Мысли путались у него въ головѣ... Порывомъ вѣтра снесло у него шапку, и длинныя, сѣдыя пряди волосъ развѣвались по воздуху... А мятель выла, стонала... Сугробы росли все выше и выше...

— Гришуха! закричалъ вдругъ очнувшійся дѣдушка Ермолай.—Гришу-уха!..

Но порывъ вѣтра заглушилъ его голосъ.

— Ау-у!.. послышалось вдругъ слабо вдали.

Старикъ вздрогнулъ, перекрестился...

Часа черезъ два, дѣдушка Ермолай, блѣдный, страшно усталый, больной, но съ радостной, счастливой улыбкою на губахъ, сидѣлъ у себя въ избушкѣ. Онъ смотрѣлъ, какъ Гришуха хлебалъ давно ужъ простывшія щи.

— Н-ну, напугалъ же ты меня, парень!.. говорилъ дѣдушка Ермолай.—А я, вѣдь, чего-чего только не передумалъ!..

— Да полѣсовщики... не пустили, дѣдушка, оправдывался Гришуха. — Ночуй, дескать, — завтра уйдешь... А я нѣ остался, пошелъ...

— То-то: пошелъ!.. А что, да если бы, сохрани Богъ!..— Но дѣдушка Ермолай не договорилъ и только покачалъ головою...

Подъ дождемъ.

оскливо глядитъ тусклое, свинцовое небо; рѣзкій, холодный вѣтеръ пронизываетъ до самыхъ костей; то жалобно, точно плача, загудитъ онъ, застонетъ въ трубѣ, то налетитъ вдругъ порывомъ: подыметъ съ сырой и грязной земли цѣлую кучу листьевъ и понесетъ ихъ по воздуху; то загремитъ вывѣской, закачаетъ ее... Точно изъ сита, сѣетъ мелкій, но частый дождикъ; иголками колетъ онъ тѣло бѣдныхъ прохожихъ... Темнѣетъ... На улицахъ, тамъ и сямъ, вспыхиваютъ огоньки фонарей... Вонъ гдѣ-то, вдали, послышались заунывные звуки шарманки... Все ближе, ближе... Жалобно прогудѣла въ холодномъ, сыромъ воздухѣ еще одна тоскливая нотка, — и инструментъ замолчалъ... Послышался гдѣ-то кашель, сухой и удушливый, точно простоналъ кто-то, — и вотъ изъ узкаго, грязнаго переулка показался виновникъ печальныхъ, заунывныхъ звуковъ — шарманщикъ...

Это былъ блѣдный, болѣзненный человѣкъ, худой, весь сгорбленный подъ тяжестью инструмента. Не то кафтанишка какой-то, не то долгополый сюртукъ, болтался, точно на вѣшалкѣ, на его угловатыхъ плечахъ. Бѣдняга до нитки промокъ и весь трясся, какъ въ лихорадкѣ... Костлявыя,

посинѣвшія отъ холода, руки его сильно дрожали. Съ трудомъ передвигалъ онъ ногами, останавливаясь чуть не на каждомъ шагу, дышалъ тяжело, и кашлялъ, поминутно кашлялъ. — Дѣвочка лѣтъ 9, шла за шарманщикомъ. Она тоже сильно устала, озябла. Да и еще-бы! — Ни шубки, ни даже бурнусишка: платьишко только одно, заплатанное, дырявое; на плечахъ — такой-же рваный платокъ; изъ худенькихъ башмачковъ выглядываютъ посинѣвшіе пальцы...

— Ахъ, Госцоди Боже мой! застоналъ вдругъ шарманщикъ. — Что за погода проклятая!.. Перезябъ весь, усталъ, какъ собака... Спина болитъ, кости болятъ... До дому-бы, радъ только добраться...

— Э-э, нѣтъ... остановился онъ, — не могу!.. Совсѣмъ идти не могу: грудь завалило... Бѣднякъ опять страшно закашлялся. — Присядемъ-ка вотъ тутъ, Дуняша... кхе!.. кхе!.. на панели, да отдохнемъ...

Тускло горятъ фонари у воротъ запустѣлаго парка... Печально глядятъ обнаженныя, сырыя деревья... При каждомъ порывѣ вѣтра, пронзительнаго, холоднаго, — цѣлая туча дождевыхъ капель сыплется съ ихъ поникшихъ вѣтвей.

Съ трудомъ свалилъ съ плечъ шарманщикъ свою тяжелую ношу, присѣлъ.

— Ну, вотъ, слава Богу! вздохнулъ онъ, — теперь и отдохнуть можно... Дуняша! Ты что тамъ? а? Садись милая!

Дѣвочка сѣла.

— Холодно, тятенька... Страсть перезябла!.. шептала она, дуя на окоченѣвшіе пальцы. — Погрѣться-бы...

— Гдѣ тутъ погрѣться!.. Вотъ погоди, посидимъ маленько, — домой пойдемъ...

— Да что домой... Нешто теплѣй тамъ?.. — Печку-то, вѣдь не топили сегодня... Развѣ забылъ, что дрова у тетушки Аграфены всѣ вышли?..

— Да, да, вспомнилъ шарманщикъ и грустно понурилъ голову. — Ну, ладно, тамъ какъ нибудь сдѣлаемъ... Что станешь дѣлать... Тулупъ можно у дѣдушки взять, — согрѣешься...

— Да вѣдь заложенъ тулупъ-то...

— Какъ такъ заложенъ? Когда?

— А на прошлой недѣлѣ. Забылъ? — Веселый еще такой пришелъ дѣдушка. Вотъ, говоритъ, не думалъ я, не гадалъ, что дадутъ столько... Разсчитывалъ гривенъ шесть получить, — а дали рубль съ четвертью...

— А, да, да... Ишь, вѣдь, у меня память какая!.. Точно, — заложенъ... Шарманщикъ опять схватился за грудь. — Тогда еще... кхе!.. кхе!.. двугривенный мы у него взяли...

— Вотъ то-то и есть...

Наступило молчаніе... Тускло горятъ фонари; вѣтеръ шумитъ; дождь то утихнетъ немного, то опять польетъ, какъ изъ ведра... Холодно, страшно холодно... Точно клубочекъ какой, скорчилась дѣвочка, ножки подъ себя поджала, дрожитъ... Напрасно закутывается она въ свое рваное платьеце, — вѣтеръ пронизываетъ ее до костей... Дрожитъ и шарманщикъ, кашляетъ поминутно...

— Не знаю: на ужинъ-то хватитъ-ли? хрипитъ онъ. — Врядъ-ли, Дуняша...

— А ты посчитай-ка...

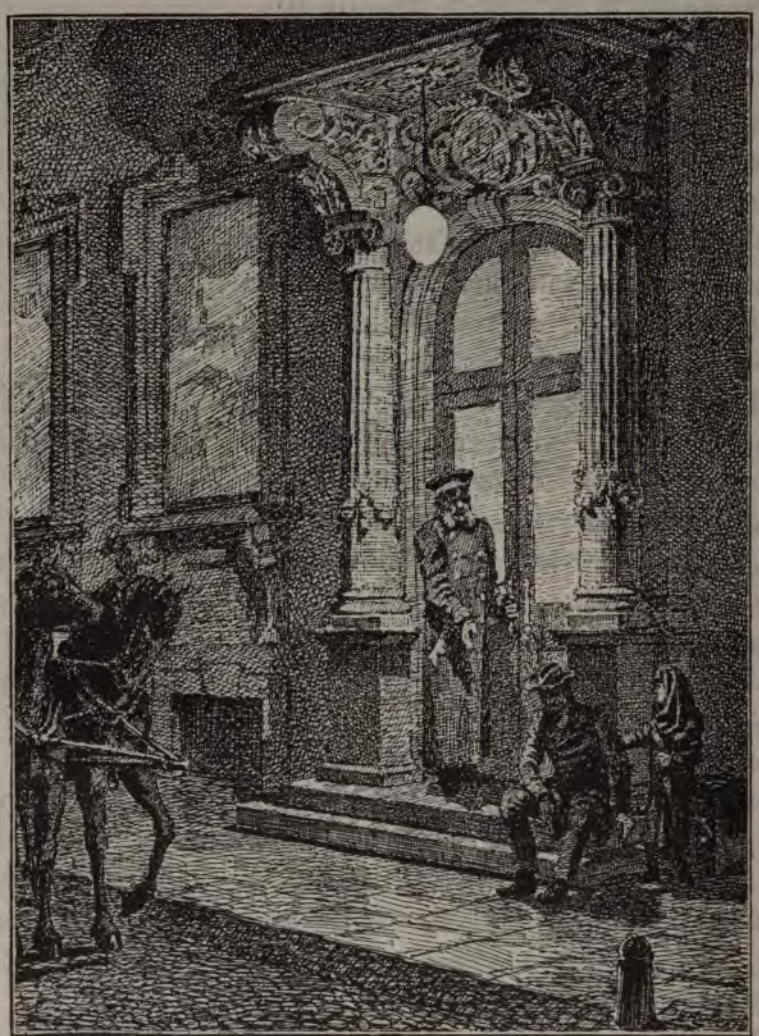
— Чего тутъ считать!.. Знаю — не густо... И гривенника, поди, нѣтъ... А надо поѣсть, голубка... Что давече ѣли? — Картошки, штукъ по пяти, да хлѣба краюшку...

— Однако идти пора!.. съ трудомъ приподнялся онъ. — Чего на дождѣ-то сидѣть? — О, Господи, Боже мой!.. Все тѣло болитъ, кости ноютъ...

Опять поплелись впередъ голодные, иззябшіе странники... Вотъ домъ, огромный, пятиэтажный каменный домъ, съ залитымъ огнями подъѣздомъ. Гремитъ бальная музыка; на спущенныхъ сторахъ виднѣются, тамъ и сямъ, тѣни танцующихъ. — Десятка два каретъ вытянулись вдоль тро-

туара... Кряхтятъ, ворчатъ кучера, похлопывая рука объ руку.

— Вотъ тутъ развѣ присѣсть, Дуняша, бормочетъ шарманщикъ. — Усталъ опять, о-ой, какъ усталъ!..



— Прогонятъ, тятенька...

— Богъ дастъ, не прогонятъ...

Не утерпѣла дѣвочка, заглянула въ стеклянную дверь... Господи, что за чудо, за роскошь!.. Лѣстница, съ бронзо-

выми, сверкающими перилами, вся устлана пушистымъ ковромъ, уставлена деревьями въ кадкахъ... Лампы горятъ... Откормленный, жирный швейцаръ читаетъ газету...

— Ну, что, другъ любезный? обратился къ бѣдняку кучеръ съ огромнѣйшей бородою. — Съ двугривенный-то набралъ? А?

Шарманщикъ только рукой махнулъ.

— Вотъ то-то и есть... Житьишко-же ваше, — не приведи Господи!.. Треплешься, съ утра до вечера, — голоденъ, холоденъ... Да... Дочка будетъ, аль такъ? указалъ онъ на дѣвочку.

— Дочка родная...

— Гм... Ишь скорчилась, бѣдная... Кучеръ вздохнулъ.— Зазябла? — Какъ не зазябнуть! Видѣлъ я разъ какъ-то — такой-же вотъ горемыка, какъ ты... Въ шарманку играетъ; дѣвчоночка пляшетъ, поетъ... Морозъ на улицѣ-то, а онъ въ визиткѣ одной, скорчился въ три погибели... А тамъ еще два малыша... Эхъ, горе, горе!.. Далеко живешь-то?

— Далеко, родной, — въ Муринской улицѣ...

— Гм... Такъ сборъ-то, значитъ — тю-тю?..

Шарманщикъ вздохнулъ только.

— А вамъ тутъ чего надо? послышался вдругъ грубый голосъ.

Шарманщикъ вздрогнулъ и обернулся. Въ растворенныхъ настежъ дверяхъ стоялъ жирный швейцаръ.

— Чего разсѣлись?.. Пошли вонъ!..

— Да мы на минутку, голубчикъ, — устали...

— Вотъ я тебѣ дамъ — устали!.. Ишь... Дармоѣды! бродяги!.. Убирай тутъ за вами... Шляетесь тутъ... Знаю я, зачѣмъ шляетесь: гдѣ-бы стянуть что...

— Сохрани Господи и помилуй!..

— Да ну-же, пошелъ!.. Есть когда съ тобой разговаривать!..

Еле-еле поднялся бѣднякъ, взваливъ на плечи шарманку.

— Пойдемъ, Дуняша, пойдемъ, голубушка, заговорилъ онъ. — Господь съ нимъ!.. Крыльца вишь ему жалко стало... Не унесли-бы, небось!..

И опять поплелись впередъ прозябшіе и голодные бѣдняки... Долго еще доносился, сквозь шумъ дождя и завываніе вѣтра, сухой, удушливый кашель, — но вотъ и онъ замеръ гдѣ-то вдали...

— Погодка-же, Господь съ ней!.. ворчалъ какой-то извощикъ и хлестнулъ лошадь кнутомъ. — Ну, милая пошевеливайся!.. Къ дому пора: поужинать да и спать!..

Миронъ Безпалый.

I.

нъ значился въ ревизскихъ сказкахъ подъ именемъ Мирона Иванова, но въ Подосиновкѣ его называли больше *Безпалымъ*.

Это былъ невысокаго роста, худенькій мужичокъ, лѣтъ за 40, съ узкой, впалою грудью и угловатыми плечами. На тощей, коричневой шеѣ сидѣла круглая, почти шарообразная голова, съ всклокоченными волосами, которые обладатель ихъ причесывалъ при помощи пятерни. Изъ-подъ косматыхъ бровей выглядывали небольшіе каріе глазки. Худое, морщинистое и крайне добродушное лицо украшалось рѣденькой, рыжеватой бородкой. Затѣмъ, если прибавить ко всему этому отсутствіе указательнаго пальца на лѣвой рукѣ, то портретъ одного изъ обитателей Подосиновки будетъ совершенно оконченъ.

Подосиновка — маленькая, бѣдная деревушка, десятка въ два курныхъ лачужекъ, разбросанныхъ въ безпорядкѣ по берегу узенькой, мутной рѣчки Болотной. Ранней весной, когда рѣка разольется, выступитъ изъ береговъ, своротитъ два-три овина и затѣмъ опять водворится на своемъ мѣстѣ— на улицѣ стоитъ непроходимая грязь. Лѣтомъ грязь чуть-чуть просыхаетъ; но за то осенью опять тоже, что и весной. Зимой деревушка почти совсѣмъ скрывается подъ сугробами снѣга, который обитатели ея даже и не безпокоятся расчищать.

Живутъ подосиновцы очень бѣдно. Землишка у нихъ плохая; почти совсѣмъ не родитъ. Плохо пришлось бы имъ, подъ-часъ, если бы не владѣлецъ сосѣдней усадьбы. Онъ вѣчно что-нибудь строилъ, копалъ канавы и, зачастую, поручалъ подосиновцамъ земляныя работы...

Однако вернемся къ Безпалому.

Человѣкъ этотъ обладалъ двумя качествами. Во-первыхъ, онъ былъ самый робкій и боязливый мужикъ на деревнѣ, и во-вторыхъ, — никогда рѣшительно не унывалъ. Какая бы бѣда ни сваливалась ему на голову, онъ не падалъ духомъ и не отчаивался.

— Никто, какъ Богъ! Ничего! утѣшалъ онъ себя въ затруднительныхъ обстоятельствахъ. — Авось-либо, какъ-нибудь, помаленьку...

Выдастся, иной разъ, годъ урожайный. Чуть не полный закромъ набьетъ Безпалый зерномъ, — и счастливъ, доволенъ...

— Слава Тебѣ, Создателю! крестится онъ. — И съ хлѣбомъ теперь, и съ деньгами!.. И корову можно будетъ купить... Лѣску тоже надо бы: избенка больно того...

Но, увы, мечты его такъ и остаются мечтами. Не успѣлъ онъ еще, какъ слѣдуетъ, хлѣбъ убрать, — глядь: идетъ къ нему мельникъ Степанъ Егоровичъ и требуетъ прошлогодній долгъ. Безпалый только въ затылкѣ почесывалъ, поглядывая на значительно опустѣвшій закромъ... А тамъ является работникъ отъ отца Симеона, и тоже требуетъ...

Смотритъ Безпалый — анъ въ закромѣ-то хлѣба чуть на донышкѣ, — врядъ-ли и самимъ на прокормъ хватитъ. Но Безпалый не унываетъ и разсчитываетъ на будущій годъ: авось-либо, никто, какъ Богъ!

— Справимся! говоритъ онъ.

II.

Безпалый проснулся съ сильной головной болью. Онъ потянулся, зѣвнулъ и свѣсилъ голову съ печи. Сквозь тусклыя, кой-гдѣ заклеенныя бумагою стекла иногда пробивались солнечные лучи. Они падали на грязный-прегрязный, Богъ знаетъ когда мытый полъ, на дымныя, покосившіяся стѣны, съ бѣгающими по нимъ вереницами таракановъ... На полу, у печки, кучка соломы, накрытая какимъ-то тряпьемъ. Изъ-подъ дыряваго армяка выглядываютъ: съ одной стороны, всклокоченная, бѣлокурая головенка, съ другой — такая же, русая, съ тоненькой, какъ мышиный хвостикъ, косичкой... Тощій, костлявый котъ растянулся тутъ же, въ ногахъ дѣтей и крѣпко, сладко спитъ.

Безпалый оглядывалъ избу, точно видѣлъ ее въ первый разъ. Его небольшіе, каріе глазки бѣгали по полу, по стѣнамъ: вездѣ замѣчалъ онъ трещины, щели, дыры какія-то ..

— Да, больно плоха избенка-то! думалъ онъ. — Безпремѣнно починить надо... Вотъ если-бы Антонъ Семеновичъ опять канавы рыть вздумалъ, — взялъ бы я у него рублей пять впередъ... Ну скажемъ: десять взялъ бы... На три лѣсу — за глаза будетъ... Корова... Ну, ту рублей за пять Андрей отдастъ... Сколько же это будетъ? — Восемь... Еще два рубля останутся... Хлѣба теперь...

Но тутъ глаза его останавливаются на маленькомъ деревянномъ шкапчикѣ — и Безпалый вдругъ начинаетъ чувствовать какую-то пустоту въ желудкѣ. Вчера вышла послѣдняя краюшка хлѣба. Вернулся онъ подъ вечеръ, отъ Ѳаддея, — и вдругъ ему такъ ѣсть захотѣлось!..

— Перекусить бы чего, Прокофьевна! робко обратился онъ къ женѣ.

— А я откуда возьму! — Много ты наживаешь? Пропивать только гораздъ!.. На, вотъ, гляди, — все тутъ!.. — И она бросила на столъ краюшку. — Ѣшь, коли ребятъ не жалко!.. Не ѣли сегодня они; маковой росинки во рту не было...

Безпалый искоса взглянулъ на краюшку. Она была маленькая-премаленькая.

— Да ты чего все ругаешься-то? говорилъ онъ. — Тебѣ и сказать ничего нельзя!.. Ну, что-жъ, и не надо!.. Давай-ка водицы, сольцы давай, — я имъ тюрьку сдѣлаю...

И онъ сталъ крошить хлѣбъ въ деревянную чашку. Ребята смотрѣли на него съ жадностью. У Безпалаго, что называется — «червякъ сосалъ». Не разъ являлось у него желаніе проглотить кусочекъ — но онъ удержался и легъ спать голодный. А Прокофьевна бранила его что есть мочи...

— И за что же это?.. обижается вдругъ Безпалый. — Житья мнѣ просто отъ бабы нѣтъ!.. Я-ль не стараюсь? Господи!.. Развѣ не понимаю я?.. Звѣрь я, что-ли?.. Развѣ не жаль мнѣ ребятъ? Агашки не жаль?..

И глаза его останавливаются на этой кучѣ соломы, съ разбросаннымъ на ней тряпьемъ... Вонъ дѣвочка потянулась. Грязная, худенькая ручонка высунулась изъ-подъ армяка. Въ ней что-то зажато. Это глиняный пѣтушокъ. Безпалый купилъ его своей дочуркѣ-любимицѣ еще въ прошломъ году у разносчика за двѣ копейки, — и дѣвочка, съ той поры, не разлучается съ нимъ ни днемъ, ни ночью...

— Да, развѣ Агашки не жаль мнѣ? говоритъ опять Безпалый и, вдругъ, чувствуетъ, что къ горлу у него подступаетъ что-то... Мозолистая рука сжимается крѣпко въ кулакъ и лѣзетъ къ глазамъ...

Но Безпалый не умѣетъ горевать долго. Не прошло и пяти минутъ, и этихъ слезинокъ на морщинистыхъ, смуглыхъ щекахъ какъ ни бывало!.. Опять въ сердцѣ его по-

явилась какая-то надежда; зароились въ головѣ разныя мечты, планы...

— Нѣтъ, безпремѣнно Антонъ Семеновичъ канавы опять рыть начнетъ! рѣшаетъ онъ вдругъ. — Вонъ и Егоръ Филатовичъ мнѣ говорилъ: опять говоритъ, кажись, затѣваетъ что-то... Десять рублей у него возьму! мечтаетъ Безпалый. — Дастъ!.. Ну, вотъ тогда я... — И онъ улетаетъ на крыльяхъ фантазіи. Ему мерещится починенная изба; сытая корова; даже лошадка... (А онъ ужъ давно собирается лошадку купить: пѣгашка-то еще въ третьемъ году околѣла).

— Да ты оглохъ, что-ли? раздался вдругъ знакомый голосъ.

А Безпалый точно съ облаковъ падаетъ. Откуда-то изъ угла поднимается оборванная, босая фигура Прокофьевны.

— Лежитъ себѣ на печи, прохлаждается,—точно баринъ какой! говоритъ она. — Буркалы въ полъ уставилъ!.. Чего валяешься-то? Вставай! Куда сегодня идти задумалъ?

— Да къ барину надо бы... — и Безпалый слѣзаетъ съ печи. — Денегъ хотѣлъ попросить впередъ.

— Денегъ? Да онъ дастъ нѣшто?

— Дастъ! увѣренно говоритъ Безпалый. — Работа у него безпремѣнно будетъ... Вотъ и Филатовичъ мнѣ говорилъ...

— А какъ не дастъ?

— Ну, тогда... тогда я въ Борки схожу, къ Степану Егоровичу, — мучки попрошу у него пудика два-три...

— То-то, смотри, съ пустыми руками не возвращайся... Въ домѣ-то хоть шаромъ покати!.. Таракану, и тому не найти крошки... Ребята голодны... Да Егоровичъ-то дастъ ли?

— Егоровичъ-то? — Дастъ!.. Этотъ-то безпремѣнно дастъ, потому я всегда ему въ аккуратѣ... Егоровичъ человѣкъ добрый...

— Да, знаемъ мы доброту-то ихнюю!.. Ну, ладно ступай!

Безпалый досталъ откуда-то изъ подъ лавки измятую войлочную шапчонку, нахлобучилъ ее на глаза и вышелъ.

III.

Отъ Подосиновки до усадьбы прямымъ путемъ было версты полторы, не больше. Но Безпалый почему-то пошелъ околицей. Дорога шла лѣсомъ. Солнце порядкомъ-таки припекало, и Безпалый, то и дѣло, отиралъ съ лица потъ. Чѣмъ ближе онъ подвигался къ Волошину (такъ называлась усадьба), тѣмъ больше овладѣвала имъ какая-то робость...

— А ну какъ не дастъ? думалъ онъ. — Прогонитъ? Ну, да ладно; никто, какъ Богъ!

Дворецкій Егоръ Филатовичъ сидѣлъ на крыльцѣ барскаго дома. Онъ былъ что-то не веселъ: какія-то мысли, и, должно быть, невеселыя мысли, приходили въ его лысую голову. Онъ то сдвигалъ свои щетинистыя густыя брови, то какъ-то сердито жевалъ губами.

— Порядки!.. пробормоталъ вдругъ Филатовичъ и закачалъ головой. — При старомъ баринѣ не того бы... Да, не того бы... Онъ бы далъ ходъ!.. А тебѣ здѣсь чего надо? зарычалъ онъ.

Передъ нимъ стоялъ, униженно кланяясь и держа шапку въ обѣихъ рукахъ, Безпалый.

— Чего тебѣ надо? Чего вы шляетесь? еще грознѣе зашипѣлъ Филатовичъ. — Денегъ опять, поди? Да что, у барина куры ихъ не клюютъ, что ли?..

Безпалый весь какъ-то съежился и робко поглядывалъ на старика.

— Денегъ? повторилъ тотъ.

— Я собственно... такъ сказать... бормоталъ Безпалый и мялъ, мялъ свою и безъ того ужъ перемятую шапку. —

Я собственно такъ сказать... насчетъ канавы, Егоръ Филатовичъ... Канаву если теперь...

— Въ канавы-то баринъ весь свой наслѣдственный капиталъ выѣвалилъ!.. желчно вдругъ крикнулъ старикъ и опять зажевалъ. — Роетъ все, строитъ что-то; зачѣмъ, для чего? — Господь вѣдаетъ!.. Нѣтъ у барина денегъ! отрѣзалъ онъ. — И не проси лучше, — не дастъ!.. Сердитый сегодня онъ, — не приведи Богъ!..

Безпалый грустно понурилъ голову.

— Женка... Егоръ Филатовичъ... ребята... Агашка теперь... Хлѣба ни крошки въ домѣ нѣтъ...

— Ребята... хлѣба ни крошки нѣтъ... Знаемъ мы эти пѣсни! ворчалъ старикъ, но ужъ не такъ грозно.—На той недѣлѣ зайди, — дастъ, можетъ...

— Да мнѣ хоть бы синенькую бумажку, Егоръ Филатовичъ... началъ-было Безпалый.

— И пятака теперь не получишь!.. Ступай!..

— Ну, дѣлать нечего!.. Прощенья просимъ, Егоръ Филатовичъ!.. — И Безпалый уныло побрелъ къ воротамъ.

— А вѣдь не выгорѣло дѣло-то, — эхъ!.. думалъ онъ, шагая по пыльной дорогѣ. Солнце пекло порядкомъ и жгло его обнаженную голову (онъ даже забылъ надѣть шапку). — На той недѣлѣ зайди... А если и тогда не дастъ?..

— Татка! А хлѣбца-то ты принесъ? послышался вдругъ тоненькій, дѣтскій голосъ. — Ѣсть охота...

Безпалый вздрогнулъ. Его даже въ потъ ударило... Мечтая, онъ незамѣтно дошелъ до Подосиновки, даже почти до своей хаты, — и передъ нимъ стояла Агашка, блѣдная, худенькая, въ дырявой, заплатанной рубашонкѣ...

У Безпалаго сильно заныло сердце. Онъ только теперь вспомнилъ, что въ домѣ крохи хлѣба нѣтъ, и что Прокофьевна приказала ему не возвращаться съ пустыми руками. Вспомнилъ и мельника Степана Егорыча...

— А ты погоди, Агашка, погоди маленько! дрожащимъ голосомъ заговорилъ онъ. — Хлѣбца-то я достану вотъ только въ Борки схожу...

— Да ты долго?

— Нѣтъ, зачѣмъ долго? — Мигомъ оборочусь... До Борковъ-то, вѣдь, недалеко... Ты потерпи, голубка! — И онъ погладилъ дѣвочку по головкѣ. — Да мамкѣ-то не сказывай, что меня видѣла... Слышь?

— Ладно!

— Въ минуту я сбѣгаю... Погоди!... — И Безпалый быстро зашагалъ по дорогѣ.

Мельникъ Степанъ Егоровичъ, высокій старикъ, съ сѣдой, окладистой бородою, сидѣлъ у себя въ горницѣ и сводилъ какіе-то счеты. Дверь отворилась, и вошелъ Безпалый.

— А, другъ мой, милый! привѣтствовалъ его старикъ. — Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались! Что скажешь?

— Да вотъ насчетъ мучки, Степанъ Егоровичъ, — пудика два у тебя хотѣлъ попросить...

— А... И больно она нужна, мучка-то?

— Какъ не больно, Степанъ Егоровичъ: ребятамъ вонъ ѣсть нечего...

— Нечего? Жаль мнѣ тебя, голубчикъ мой, жаль!.. А мучки-то я тебѣ не могу дать.

— Безпалый оторопѣлъ.

— Не можешь? протянулъ онъ, совсѣмъ пораженный неожиданностью. — Да какъ же это, Степанъ Егоровичъ?

Вѣдь ты мнѣ завсегда, кажется... Я въ аккуратѣ...

— Знаю, что въ аккуратѣ, голубчикъ; да дѣло-то въ томъ вишь, что порѣшилъ я никому больше не давать муки въ долгъ, — никому!.. Посчиталъ давече, — Господи Боже мой!.. Пудовъ четыреста роздалъ, а когда ихъ получишь — Богъ вѣсть!..

— Да я-то, Степанъ Егоровичъ...

— Да хоть и ты... Вонъ ты мнѣ еще за прошлый годъ долженъ пуда никакъ полтора-два...

— Отдамъ, вотъ-те Христосъ, — отдамъ! — И Безпалый перекрестился на образъ. — Самъ знаешь, неурожай былъ въ прошломъ году...

— Вотъ то-то и есть... А въ нонѣшнемъ-то, ты какъ полагаешь? Проходилъ я вчера мимо полей вашихъ, — больно не того рожь-то.

— Да... точно оно... согласился Безпалый. — Ну, да ладно, никто какъ Богъ!.. А мучка-то вѣ какъ нужна, Степанъ Егоровичъ! — И онъ провелъ себѣ пальцемъ по горлу. — Въ домѣ-то ни крохи нѣтъ, ребята совсѣмъ съ голоду помираютъ...

— Жаль мнѣ тебя, мой родной, больно жаль!.. Знаю я тоже, что значитъ нужда-то, — не приведи Господи! — Да не могу, понимаешь ты: не могу!..

— И пуда не дашь?

— Ни одного фунтика! — И Степанъ Егоровичъ опять взялся за счеты.

Безпалый стоялъ, переминаясь, на одномъ мѣстѣ, и исподлобья глядѣлъ на мельника.

— Такъ чтожъ мнѣ дѣлать, Степанъ Егоровичъ! съ отчаяніемъ заговорилъ онъ. — Вѣдь мнѣ и домой теперь нельзя возвращаться...

— А ужъ этого я не знаю, родной мой...

— И денегъ не дашь? Рублевку хошь...

— У самого нынче гроша нѣту, — въ долгахъ... Да ты вотъ что, голубчикъ, посовѣтовалъ онъ. — Толкнись-ка ты къ отцу Симеону. Хлѣба-то у него нонѣ много, — онъ дастъ.

Упавшій было духомъ Безпалый повеселѣлъ.

Отецъ Симеонъ далъ полпуда муки.

— Ну ладно, хоть что ни на есть, все-жъ оно... думалъ Безпалый, шагая съ мѣшкомъ на плечѣ въ Подоси-

— А ты погоди, Агашка, погоди маленько! дрожащимъ голосомъ заговорилъ онъ. — Хлѣбца-то я достану вотъ только въ Борки схожу...

— Да ты долго?

— Нѣтъ, зачѣмъ долго? — Мигомъ оборочусь... До Борковъ-то, вѣдь, недалеко... Ты потерпи, голубка! — И онъ погладилъ дѣвочку по головкѣ. — Да мамкѣ-то не сказывай, что меня видѣла... Слышь?

— Ладно!

— Въ минуту я сбѣгаю... Погоди!... — И Безпалый быстро зашагалъ по дорогѣ.

Мельникъ Степанъ Егоровичъ, высокій старикъ, съ сѣдой, окладистой бородою, сидѣлъ у себя въ горницѣ и сводилъ какіе-то счеты. Дверь отворилась, и вошелъ Безпалый.

— А, другъ мой, милый! привѣтствовалъ его старикъ. — Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались! Что скажешь?

— Да вотъ насчетъ мучки, Степанъ Егоровичъ, — пудика два у тебя хотѣлъ попросить...

— А... И больно она нужна, мучка-то?

— Какъ не больно, Степанъ Егоровичъ: ребятамъ вонъ ѣсть нечего...

— Нечего? Жаль мнѣ тебя, голубчикъ мой, жаль!.. А мучки-то я тебѣ не могу дать.

— Безпалый оторопѣлъ.

— Не можешь? протянулъ онъ, совсѣмъ пораженный неожиданностью. — Да какъ же это, Степанъ Егоровичъ? Вѣдь ты мнѣ завсегда, кажется... Я въ аккуратѣ...

— Знаю, что въ аккуратѣ, голубчикъ; да дѣло-то въ томъ вишь, что порѣшилъ я никому больше не давать муки въ долгъ, — никому!.. Посчиталъ давече, — Господи Боже мой!.. Пудовъ четыреста роздалъ, а когда ихъ получишь — Богъ вѣсть!..

— Да я-то, Степанъ Егоровичъ...

— Да хоть и ты... Вонъ ты мнѣ еще за прошлый годъ долженъ пуда никакъ полтора-два...

— Отдамъ, вотъ-те Христосъ, — отдамъ! — И Безпалый перекрестился на образъ. — Самъ знаешь, неурожай былъ въ прошломъ году...

— Вотъ то-то и есть... А въ нонѣшнемъ-то, ты какъ полагаешь? Проходилъ я вчера мимо полей вашихъ, — больно не того рожь-то.

— Да... точно оно... согласился Безпалый. — Ну, да ладно, никто какъ Богъ!.. А мучка-то вѣ какъ нужна, Степанъ Егоровичъ! — И онъ провелъ себѣ пальцемъ по горлу. — Въ домѣ-то ни крохи нѣтъ, ребята совсѣмъ съ голоду помираютъ...

— Жаль мнѣ тебя, мой родной, больно жаль!.. Знаю я тоже, что значитъ нужда-то, — не приведи Господи! — Да не могу, понимаешь ты: не могу!..

— И пуда не дашь?

— Ни одного фунтика! — И Степанъ Егоровичъ опять взялся за счеты.

Безпалый стоялъ, переминаясь, на одномъ мѣстѣ, и исподлобья глядѣлъ на мельника.

— Такъ чтожъ мнѣ дѣлать, Степанъ Егоровичъ! съ отчаяніемъ заговорилъ онъ. — Вѣдь мнѣ и домой теперь нельзя возвращаться...

— А ужъ этого я не знаю, родной мой...

— И денегъ не дашь? Рублевку хошь...

— У самого нынче гроша нѣту, — въ долгахъ... Да ты вотъ что, голубчикъ, посовѣтовалъ онъ. — Толкнись-ка ты къ отцу Симеону. Хлѣба-то у него нонѣ много, — онъ дастъ.

Упавшій было духомъ Безпалый повеселѣлъ.

Отецъ Симеонъ далъ полпуда муки.

— Ну ладно, хоть что ни на есть, все-жъ оно... думалъ Безпалый, шагая съ мѣшкомъ на плечѣ въ Подоси-

новку. — Все-жъ хоть ребята-то сыты будутъ... Ну, а тамъ справимся; никто, какъ Богъ!..

IV.

— Да ты ошалѣлъ никакъ! привѣтствовала его Прокофьевна. — Съ какой поры ушелъ, да до сихъ поръ шляется!.. Гдѣ ты былъ?

— Да вишь ты, милушка, — робко забормоталъ Безпалый, — мучки-то я еле-еле досталъ. Степанъ Егоровичъ не даетъ никому нонѣ; какъ ни просилъ, — нѣтъ, говоритъ... Отецъ Симеонъ далъ полпудика... На-ка вотъ! — И онъ свалилъ мѣшокъ на скамью. — Сдѣлай ребятамъ-то хошь лепешечекъ, что-ли, — голодны...

— То-то вотъ голодны! А самъ шляется, Богъ знаетъ гдѣ!..

Прокофьевна затопила печку. Ребята вертѣлись возлѣ мѣшка и разглядывали его, точно какое сокровище. Агашка расковыряла даже въ немъ пальчикомъ дырку и съ жадностью лизала муку.

— Брысь, ты! зыкнула на нее мать. Дѣвочка отскочила. — Успѣешь, не помрешь съ голоду!..

— А баринъ-то не далъ денегъ? обратилась она къ мужу.

— И на глаза не пустилъ...

То-то вотъ!.. Съѣлъ кукишъ съ масломъ! А еще говорилъ: да-астъ!.. передразнила она.

Прокофьевна наскоро замѣсила крутое тѣсто и надѣлала изъ него лепешекъ. Ребята жадно слѣдили за ней. Агашка не утерпѣла таки, — стянула кусочекъ тѣста и проглотила.

— Да подождешь ты, аль нѣтъ! закричала мать и дала ей подзатыльникъ. Дѣвочка заревѣла.

— За что ты ее! вступился Безпалый. — Вишь, она ѣсть хочетъ... Сегодня, вѣдь, у нея крошки во рту не было...

— Подь-ка сюда, Агашенька, подь сюда! поманилъ онъ ее пальцемъ. Та подошла и онъ сталъ гладить ее по головѣ, по лицу, шершавой, закорузлой ладонью. Въ глазахъ у него блеснули слезинки.

— Молчи, вотъ ужо, шепталъ онъ, — я тебѣ пряникъ куплю, — большой такой, пребольшой пряникъ... только деньжонками разживусь...

Но дѣвочку не соблазнялъ даже пряникъ... Она полными слезъ глазами слѣдила за матерью: какъ та катала лепешки и бросала ихъ въ горячую золу...

— А кто виноватъ? Кто? кричала Прокофьевна, все болѣе и болѣе возвышая голосъ. — Кабы не пьяница да не лѣнтяй былъ, небось бы не сидѣли ребята голодомъ!..

Безпалаго задѣло за живое, но онъ промолчалъ. Онъ гладилъ по головкамъ ребятъ и сулилъ имъ въ самомъ недалекомъ будущемъ: и пряниковъ, и леденцовъ, и сарафанчикъ, и башмачки для Агашки, и сапоги для Ваньки... Но ребятишки его, кажется, и не слыхали; ихъ мысли были всецѣло поглощены лепешками; да еслибъ и слышали, такъ не повѣрили бы: имъ слишкомъ часто приводилось слышать отцовскія обѣщанія безъ исполненій...

Но вотъ лепешки готовы, — и ребята набросились на нихъ, какъ волчата голодные... Безпалый, молча, слѣдилъ за ними, и у него тоже начиналъ разыгрываться аппетитъ: вѣдь онъ ничего не ѣлъ сегодня...

— На, ѣшь, что-ли! бросила ему лепешку жена, — муки-то еще на два дня хватитъ; ну, а тамъ-то опять какъ?

Безпалый только-что проглотилъ кусокъ, и онъ едва не сталъ ему поперегъ горла.

— Достанемъ... пробормоталъ онъ.

— Да гдѣ достанемъ-то? гдѣ? не унималась Прокофьевна. — Съ неба, что-ли, къ намъ упадетъ?

Безпалый молчалъ. Онъ пріунылъ не на шутку. У него даже и аппетитъ вдругъ пропалъ. Принявшись съ жадностью за лепешку, онъ еле-еле доѣлъ ее...

Въ избѣ было тихо... Только ребята, съ трескомъ, доѣдали лепешки...

V.

Безпалый сидѣлъ подъ окномъ на лавкѣ. Жгучіе лучи іюльскаго солнышка падали на его лохматую голову и порядкомъ таки припекали ее. Но это его нисколько не безпокоило. По его худому, морщинистому лицу разливалась блаженнѣйшая улыбка... Ребята возились въ углу съ тощимъ котомъ и такъ мяли и тормошили его, что онъ безпрестанно мяукалъ. Прокофьевна сидѣла немного въ сторонѣ отъ мужа и нашивала заплату на дѣтскую рубашонку. Ея, всегда мрачное и угрюмое, лицо теперь какъ-то прояснилось. Порой и на немъ появлялась веселая, радостная улыбка...

Да, эта вѣчно сердитая, вѣчно злая Прокофьевна улыбалась. Впрочемъ, оно и не мудрено было. Два дня тому назадъ, Безпалый вернулся домой поздно вечеромъ, и она, какъ всегда, накинулась было на него съ бранью. Онъ сталъ ей говорить что-то о томъ, что они теперь, слава Богу, поправятся, да еще и какъ поправятся-то! Въ —скую губернію рабочихъ требуютъ на чугунку и плату даютъ по рублю съ четвертакомъ въ день... Сперва она не обращала вниманія на его росказни, но потомъ стала прислушиваться внимательнѣе. Въ ея головѣ мелькнула мысль: а вѣдь почемъ знать, быть можетъ, онъ и не все вретъ, можетъ въ этомъ и правды есть капелька...

— Да ты откуда узналъ-то? спрашивала она.

— А солдатикъ одинъ тамъ, такъ сказывалъ...

— Вотъ оно что! насмѣшливо протянула Прокофьевна. — А вы и уши развѣсили!.. Да, можетъ, онъ

вралъ, солдатикъ-то?.. Выпить ему захотѣлось просто, онъ и оплелъ васъ...

— Ну, вотъ еще! испугался Безпалый.

Прокофьевна навела справки. Утромъ, чуть свѣтъ, она побѣжала къ сосѣдкѣ. Оказалось, что, точно, солдатъ сказывалъ о чугункѣ, и та сообщила то же самое, да еще прибавила, что Петруха ея бѣгалъ вчера въ волостное правленіе справиться насчетъ паспорта, и писарь говорилъ ему, что чугунку проводятъ: слышалъ молъ отъ батюшки отца Симеона, а тотъ тоже отъ кого-то слыхалъ. Наконецъ, вчера это извѣстіе окончательно подтвердилось. Вернулся волостной старшина Ѳедоръ Ивановичъ (онъ ѣздилъ по дѣламъ въ губернскій городъ) и сообщилъ, что народъ такъ и валитъ валомъ на чугунку, и платятъ тамъ по рублю съ четвертакомъ въ день...

Итакъ, Безпалый сидѣлъ подъ окномъ и радостно улыбался. Прокофьевна улыбалась тоже и торопливо нашивала заплатку на Ванькину рубашонку. Ребята возились съ котомъ въ углу.

— А рубашенокъ-то не того, кажись, у ребятъ-то... заговорилъ вдругъ Безпалый.

— Да ужъ чего тутъ!.. Вонъ у Агашки-то всего двѣ, да и то одну зашивать нельзя: такъ и рвется, такъ и рвется... Ужъ я клала заплаты-то...

— Заведемъ, милушка, заведемъ теперь! говоритъ Безпалый и улыбается. — И сарафанчикъ и башмачки...

— Отчего не завести, — заведемъ! соглашается Прокофьевна и улыбается тоже.

— И избу вотъ... Избу-то я думаю новую выстроить...

— Зачѣмъ новую? И эту еще починить можно...

— Нѣтъ, лучше новую... Эта — что рѣшето... Глянь-ка!..

Прокофьевна соглашается. Затѣмъ выступаетъ вопросъ о коровѣ. Безпалый находитъ, что корову лучше всего пріобрѣсти въ городѣ, у Ивана Семеныча, да подороже, такъ, рублей въ сорокъ...

— Ну, ужъ куда намъ такую! говоритъ Прокофьевна: — и въ двадцать хорошую купить можно...

— Нѣтъ, чего тутъ! Хватитъ! На все хватитъ!..

И Безпалый опять улыбается. Онъ совершенно счастливъ, какъ никогда въ жизни. Онъ счастливъ тѣмъ, что можетъ теперь поправить хозяйство и не морить ужъ семью голодомъ («всѣ будутъ сыты, одѣты!»); счастливъ тѣмъ, что и Прокофьевна весела и довольна, и не коритъ ужъ его, не ругается... Однимъ словомъ, на душѣ его такъ весело, такъ хорошо, — что, просто, хоть пѣсни пой!.. И солнышко-то свѣтитъ какъ-то особенно ярко и весело; и ребятишки не кажутся ему слишкомъ худыми и истомленными...

Агаша что-то больно давнула кота, и тотъ заревѣлъ на всю избу.

— Ты тамъ чего, баловница? ласково заворчалъ Безпалый. — Али хошь, чтобъ онъ тебѣ глаза выцарапалъ? Розгой тебя за это!..

Но онъ напрасно старается придать голосу строгій тонъ; напрасно старается глядѣть сердито. Дѣвочка улыбается.

— Подь-ка сюда, подь, голубка! говоритъ онъ ужъ совсѣмъ ласково. Та подходитъ. Онъ беретъ ее къ себѣ на колѣни и начинаетъ приглаживать ея свѣтлорусые растрепанные волосенки и треплетъ рукой по блѣднымъ, худенькимъ щечкамъ.

— Ты пѣтушка-то сломала, что ли? говоритъ онъ.

— Нѣтъ, татка, — вотъ! И Агашка показываетъ ему зажатаго въ кулачокъ глинянаго пѣтушка. — Ванюшка его у меня, было, отнялъ...

— Отнялъ? Да какъ онъ смѣлъ!.. Подь-ка сюда, Ванюшка!..

Ванюшка, мальчуганъ лѣтъ семи, годомъ старше Агашки, и такой-же блѣдный и худенькій, подходитъ къ отцу. Тотъ и его беретъ къ себѣ на колѣни.

— Вотъ ужо погоди, ребята! говоритъ онъ — Теперь я вамъ накуплю... всего накуплю!.. И пѣтушковъ глиняныхъ, и куклу Агашкѣ, и пряниковъ, и леденцовъ, и стручьевъ сахарныхъ...

— Охъ, ужъ молчалъ бы лучше! перебиваетъ его Агашка, и насмѣшливая улыбка озаряетъ ея личико.— Знаю, вѣдь, я тебя: наобѣщаешь, наобѣщаешь съ три короба, да обманешь!..

— Ну, ужъ теперь-то не обману; нѣтъ!.. и Безпалый улыбается во весь ротъ. — Теперь у меня денегъ-то куча будетъ... На все хватитъ!..

Но дѣвочка смотритъ на него недовѣрчиво...

VI.

Чуть не съ зарей поднялась Прокофьевна и стала снаряжать мужа въ дорогу. Не велики были сборы, но она что-то долго копалась. Ей было не весело...

— Безпалый всталъ въ одно время съ Прокофьевной. Онъ видѣлъ съ печи какъ она поднялась съ постели, слегка поохивая, и стала копаться надъ чѣмъ-то въ углу...

— Никакъ ужъ встаешь, Прокофьевна?—окликнулъ онъ.

— Да, надо кой-что тамъ... еще не управилась... А ты-бы еще уснулъ, Ивановичъ...

— Не спится что-то... И Безпалый слѣзъ съ печи.

Прокофьевна была съ нимъ какъ-то особенно ласкова. Положимъ, во всѣ эти дни, съ тѣхъ поръ, какъ онъ ей разсказалъ про чугунку, она ни разу не крикнула на него, ни разу не укорила; но сегодня ужъ какъ-то очень была она ласкова... Онъ удивился даже.

— Садись-ка, поѣшь, Ивановичъ! говорила она, ставя на столъ чашку съ холодной гороховой похлебкой. Безпалый взглянулъ на жену: въ ея голосѣ звучали какія-то особенныя, незнакомыя ему ноты.

— Я подорожнички-то тебѣ сейчасъ улюжу... Садись-ка, поѣшь, родимый!

Безпалый перекрестился и сѣлъ за столъ. Но ѣсть ему что-то не очень хотѣлось. Онъ отломилъ кусочекъ хлѣба, зачерпнулъ ложку похлебки и, вдругъ, почему-то остановился. Глаза его упали на кучу соломы у печки. На ней, подъ старымъ заплатаннымъ зипуномъ, спали его ребятишки. Безпалый долго, долго глядѣлъ на нихъ...

— Да ты чего не ѣшь-то, Ивановичъ? окликнула его Прокофьевна.

— А вотъ я сейчасъ... сейчасъ... И онъ торопливо проглотилъ ложку.

— Ребятъ-то побудить надо-бы, промолвила Прокофьевна. — Чего имъ спать-то? — Ванюшка! а, слышишь, Ванюшна: вставай! Пора ужъ — татка уходитъ скоро...

Ванюшка потянулся, зѣвнулъ. Агашка проснулась тоже.

— Оставь ихъ, Прокофьевна! говорилъ Безпалый. — Пущай поспятъ...

Но ребята уже поднялись и искоса поглядывали на похлебку.

— Садитесь-ка да поѣшьте! Похлебка важная, вкусная?

— А ты-то чего-же? спросила Прокофьевна.

— Да такъ, не охота что-то... И Безпалый вздохнулъ. Прокофьевна тоже вздохнула.

— Лаптишко вотъ еще доплести надо; вчера-то я не успѣлъ... И онъ усѣлся ковырять лапоть. Прокофьевна взялась за рубашку. Ребята поѣли и тоже чинно сѣли на лавкѣ. Они знали изъ разговоровъ, что татка уходитъ куда-то и уходитъ на долго,—и имъ тоже не по себѣ было. Они любили его: онъ никогда не бранилъ ихъ, не билъ.

Въ избѣ было тихо, такъ тихо, что даже жужжанье мухи, носившейся надъ головою Прокофьевны, показалось бабѣ чѣмъ-то ужъ очень громкимъ и рѣзкимъ. Она даже поморщилась и отмахнулась.

— А, что-бъ тебѣ!..

Безпалый поднялъ голову и, прослѣдивъ глазами, какъ муха, полетавъ взадъ и впередъ по избѣ, усѣлась, наконецъ, на печку, — опять взялся за лапоть. Долго длилось молчаніе. И Безпалому и Прокофьевнѣ тяжело было; разговоры какъ-то не шли имъ на умъ. Да и о чемъ говорить-то? Мало развѣ наговорились они въ эти два дня?.. Но вотъ, вдругъ, въ сѣняхъ послышались чьи-то шаги, дверь отворилась, и въ избу вошелъ Захаръ.

Это былъ парень, лѣтъ 30, единственный бобыль въ Подосиновкѣ, весельчакъ и балагуръ. Онъ жилъ себѣ не тужилъ, когда былъ сытъ, а когда и въ проголодь былъ, и вѣчно распѣвалъ пѣсни, шутилъ, балагурилъ. Онъ тоже шелъ съ подосиновцами на чугунку, но шелъ не изъ нужды, «а такъ, собственно, для компаніи».

— Ну, что, всѣ ли живы, здоровы? весело заговорилъ Захаръ, покрестившись на образъ. — Ты какъ, Ивановичъ, готовъ! Наши-то никакъ всѣ собрались. Скоро, пожалуй, и въ путь-дорогу...

— Да я-то готовъ... Чего тутъ... И Безпалый какъ-то безпокойно заерзалъ на лавкѣ. — Вотъ развѣ еще лапоть маленько...

— Аа...

— Мнѣ чего сбираться-то, — я сейчасъ... И Безпалый засуетился. Перво на перво, онъ заглянулъ въ холщевый мѣшокъ, который приготовила ему на дорогу Прокофьевна. Тамъ было все въ исправности: хлѣбъ, рѣдька, лукъ, картошка вареная; на самомъ же днѣ двѣ рубахи. Онъ сунулъ туда же только-что оконченные лапти и вдругъ засовался по избѣ, заглядывая въ углы, подъ лавки, подъ столъ...

— Чего ты? спросила Прокофьевна.—Аль потерялъ что?

— Шапчонку гдѣ-то засунулъ...

— Да вонъ она, на столѣ, — не видишь?

— Аа... Ну, Господи благослови, въ добрый часъ!—И Безпалый сталъ креститься на образъ. Долго, усердно мо-

лился онъ, широко размахивая закорузлой рукой и крѣпко прижимая ее ко лбу. Но вотъ, наконецъ, кончилъ.

— Ну, оставайся съ Богомъ! говорилъ онъ, обнимая Прокофьевну. — Въ случаѣ, коли тамъ что, — отпиши!.. Денегъ-то, вѣдь, у насъ... Гм... Сколько у тебя осталось?..

— Да два двугривенныхъ...

— Мало!.. Безпалый на минуту задумался. — Къ барину если теперь, — не дастъ, пожалуй... Ну, ничего... Приду — впередъ попрошу тамъ рублевъ пять, — вышлю съ первой оказіей...

— Ладно, кормилецъ... Прокофьевна старалась казаться спокойной, но это ей не совсѣмъ удавалось. Сердце у нея сжималось; слезы подступали къ горлу... Безпалый тоже крѣпился съ трудомъ: голосъ у него сильно дрожалъ, и его красныя, воспаленныя вѣки моргали...

— Ребятъ-то тоже не обижай! говорилъ онъ. — Ну, вотъ, чего разревѣлись? Полно!.. Вернусь — гостинцевъ вамъ принесу много-много...

Ребята, сперва молча смотрѣвшіе на эту сцену прощанья, вдругъ бросились къ отцу и, уцѣпившись за него ручонками, заорали на всю избу.

— Ну, полно, Агаша, полно!.. говорилъ Безпалый. — Ванюшка... И онъ гладилъ дрожащей рукой ихъ лохматыя, всклокоченныя головенки и чувствовалъ, какъ слезы все болѣе и болѣе подступаютъ у него къ горлу, душатъ, давятъ его... Но вотъ онъ еще разъ обнялъ жену и дѣтей, перекрестилъ ихъ еще разъ, перекрестился на образъ и пошелъ къ двери. Захаръ, все время смотрѣвшій въ окно, повернулся, тряхнулъ волосами.

— Ну, съ Богомъ! проговорилъ онъ. — Чего тутъ... Прощай, Арина Прокофьевна!..

Солнышко еще было не высоко, но въ тихомъ неподвижномъ воздухѣ уже чувствовался іюльскій зной. Надъ

гладкой, зеркальной поверхностью неглубокой рѣчки Болотной склонялись кусты ракиты, и ни одинъ ихъ листикъ не шевелился. Но и при этомъ ясномъ, голубомъ небѣ, при этомъ солнышкѣ, невесело глядѣли подосиновскія избушки: ветхія, дымныя, съ почернѣлой соломой на крышахъ... Не особенно весело выглядывали и бабы, дѣвки, старухи, вышедшія провожать своихъ мужей, братьевъ и сыновей на чугунку... Но зато подосиновцы сами глядѣли бодро и весело. Они чуть не всѣ шли въ —скую губернію; оставались дома только старый-престарый дѣдъ Елисѣй, два года ужъ не слѣзавшій съ печи, да пять-шесть подростковъ... Вонъ собралась ихъ цѣлая толпа... Слышится громкій, веселый говоръ, шутки и смѣхъ... Развѣ порой, изъ толпы женщинъ, донесутся невеселые звуки — плачъ, да и тѣ заглохнутъ вдругъ, затеряются въ оживленномъ говорѣ... Но вотъ дѣдушка Агаѳонъ первый снялъ шапку и, повернувшись въ ту сторону, гдѣ изъ-за лѣса чуть-чуть выглядывалъ позолоченный крестъ борковской церкви, — набожно перекрестился. Его примѣру послѣдовали и другіе; шапки полетѣли съ головъ и грубыя, закорузлыя руки замелькали въ воздухѣ...

— Ну, съ Богомъ, ребята, съ Богомъ! Чего ужъ валандаться!..

И подосиновцы тронулись въ путь...

VII.

Н — скій желѣзнодорожный путь — одинъ изъ наиболѣе бойкихъ путей въ Россіи. Круглый годъ ходятъ по немъ безчисленные пассажирскіе и товарные поѣзда, перевозя десятки и сотни тысячъ людей, и сотни тысячъ и милліоны пудовъ хлѣба и разныхъ товаровъ. Зимой движеніе нѣсколько уменьшается, но весной и особенно лѣтомъ оно увеличивается опять. Теперь на пути до Н — ска

вамъ попадаются довольно большія деревни и села на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такъ недавно встрѣчались крошечные, бѣдные поселки и деревушки, а нѣтъ — такъ и просто дикія, безлюдныя, болотистыя мѣста, поросшія кой-гдѣ мелкимъ кустарникомъ... Лѣтъ 10 — 12 тому назадъ, здѣсь пролегала обыкновенная почтовая дорога, тряская и ухабистая, какъ большинство нашихъ дорогъ, во всякое время года. По ней заливались колокольчики троекъ, тянулись одинъ за другимъ обозы съ товарами. Ландшафтъ былъ дикій, пустынный: болото, кой-гдѣ чахлый и мелкій лѣсокъ. Но вотъ нашли, что здѣсь очень выгодно было бы провести чугунку. И провели. Ландшафтъ, вдругъ, точно по волшебству, измѣнился. Куда дѣвалось болото, куда дѣвался чахлый, почти никуда негодный лѣсокъ!..

«Воля и трудъ человѣка
Дивныя дива творятъ!..»

Болото засыпали, вырубили лѣсокъ, сгладили эти кочки и рытвины, вывели полотно и проложили по немъ два ряда блестящихъ желѣзныхъ полосъ... И вотъ тамъ, гдѣ недавно еще раздавались ржанье и храпъ извозчичьихъ мужицкихъ лошадокъ, слышалось чмоканье и понуканье,—теперь, отъ зари до зари, раздаются свистки паровоза и лязгъ вагонныхъ цѣпей... Почтовый трактъ, положимъ, остался — онъ пріютился тамъ, въ сторонѣ отъ чугунки, — но рѣдко кто теперь ѣздитъ по немъ, рѣдко слышится этотъ «малиновый» звонъ и выкрики ямщиковъ...

Ненастное осеннее утро. Накрапываетъ мелкій дождикъ; вѣтеръ, рѣзкій, холодный, пронзительный, такъ и охватываетъ все тѣло и колетъ его, точно иголками... Мѣстность дикая и пустынная: справа и слѣва — тощій лѣсокъ, болото, кочки; вересковъ растетъ на нихъ, черника, морошка, брусника... И справа и слѣва — землянки какія-то, шалаши, частью изъ прутьевъ, частью на скорую руку и грубо сколоченные изъ досокъ... Живетъ здѣсь желѣзнодорожный

рабочій людъ — землекопы, плотники. Тамъ, дальше — постройки какія-то, что-то, въ родѣ бараковъ, тоже сооруженные на скорую руку, но только покрасивѣе и поудобнѣе. Помѣщаются здѣсь: подрядчикъ, приказчики и десятники; здѣсь же живетъ и фельдшеръ, въ больничномъ тоже на скорую руку построенномъ баракѣ...

А работа замѣтно идетъ впередъ. И еще бы! Съ ранняго утра да чуть не до ночи, здѣсь кипитъ лихорадочная дѣятельность. Сотни рабочихъ, съ заступами и лопатами, съ молотами и топорами, трудятся, не покладая рукъ, не разгибая спины... Потъ въ три ручья льется по ихъ смуглымъ лицамъ, прокладывая грязныя, узенькія дорожки; льется по груди и спинамъ, — рубахи мокнутъ и липнутъ къ нимъ... И что за дѣло рабочимъ до этого вѣтра, рѣзкаго и холоднаго, что пробирается за ворота ихъ разстегнутыхъ пестрядинныхъ рубахъ!.. Вонъ десятникъ, что наблюдаетъ за производствомъ работъ, — тотъ даже ёжится, жмется, хотя и одѣтъ въ новый овчинный тулупъ, а имъ тепло, чуть не жарко... И работа кипитъ... Тамъ роютъ канавы какія-то, а тамъ — засыпаютъ ихъ глиной, щебнемъ, пескомъ и крѣпко-накрѣпко утрамбовываютъ... Тамъ слышенъ звонъ топоровъ, лязгъ пилы — вырубаютъ и выпиливаютъ доски и шпалы... Вонъ, въ одномъ мѣстѣ, чугунка совсѣмъ готова: ровно и гладко выведено полотно и проложены по немъ рельсы. По нимъ ужъ ходитъ взадъ и впередъ, посвистывая, паровозъ и подвозитъ грузы камня, глины, песку на платформахъ... А вонъ, дорогу еще только проводятъ: выравниваютъ полотно; а тамъ ее и вовсе не начинали, — идутъ земляныя работы... Вездѣ, гдѣ ни взглянешь — цѣлыя кучи земли, глины, песку щебня; массы сваленныхъ въ груды шпалъ... И надъ всѣмъ этимъ копошатся, какъ муравьи, люди, съ заступами и лопатами, молотами, пилами, топорами...

Со всей Н—ской губерніи шли мужички на чугунку, да и изъ сосѣдней губерніи ихъ собралось тоже не мало. И

всѣмъ имъ нашлась работа: кто землекопами (бо́льшая часть), кто каменщиками, плотниками. Въ числѣ прочихъ, попали и наши знакомые подосиновцы. Ихъ приняли всѣхъ, исключая одного только дѣдушки Агаѳона. Ужъ очень дряхлымъ, болѣзненнымъ выглядывалъ этотъ старикъ, и былъ, разумѣется, забракованъ. И дѣдушка Агаѳонъ покорился. Онъ, впрочемъ, и самъ не очень-то разсчитывалъ попасть въ рабочіе, да и земляки ему говорили: «куда тебѣ, старому!..» — но онъ все-таки пошелъ, въ надеждѣ, что «авось либо...» Старикъ повздыхалъ немного, поохалъ и поплелся домой, пожелавъ своимъ всякихъ благополучій и унося отъ нихъ, въ свою очередь, цѣлую кучу поклоновъ...

И подосиновцы устроились на новомъ мѣстѣ и понемножку обжились. Они держались какъ-то особнякомъ, сторонились отъ другихъ рабочихъ. Ужъ нравъ ли у нихъ былъ такой необщительный, или что другое, — но только они даже и въ разговоръ неохотно вступали съ не земляками. Жили или, вѣрнѣе, тѣснились они въ шалашахъ, человѣкъ по пяти, по шести. Безпалый, напримѣръ, жилъ вмѣстѣ съ дядей Авдѣемъ, его старымъ другомъ-пріятелемъ, съ Захаромъ, долговязымъ и молчаливымъ Силантьемъ и лѣнивымъ и неповоротливымъ дядей Мирономъ. Но въ замкнутую среду подосиновцевъ какъ-то съумѣлъ втереться одинъ рабочій, не только не изъ ихъ деревни, но даже и не изъ ихъ губерніи. Сидо́рку недолюбливали и другіе рабочіе. Это былъ хитрый, пронырливый мужиченко, лѣтъ за 30, съ маленькими, бѣлесоватыми глазками. И эти, вѣчно бѣгающіе по сторонамъ глазки не останавливались ни на минуту на собесѣдникѣ, — вѣрный, какъ говорятъ, признакъ скрытности и лукавства. Сидо́рка былъ краснобай, говорунъ; умѣлъ разсказывать разныя диковинныя исторіи, умѣлъ подольстить. Но и не особенно проницательнымъ не трудно было замѣтить, что это мужикъ себѣ на умѣ, изъ тѣхъ, у которыхъ «на языкѣ медокъ, а на сердцѣ ледокъ». Да кромѣ того, рабочіе на чугункѣ замѣтили, что

Сидорка не чистъ на руку. То у того, то у другого стали вдругъ пропадать то копѣйка, то двѣ, то три...

— Что за чортъ! дивились рабочіе. — Кому бы это?..— Деньги они берегли крѣпко, держали ихъ, бо̀льшею частію, въ кошелькахъ, а кошельки носили у себя на шеѣ. И, вдругъ, что за оказія! Но вотъ разъ какъ-то подкараулили вора, — и имъ оказался Сидо̀рка. Схватили его въ тотъ моментъ, когда онъ, развязавъ кошелекъ у одного изъ спящихъ рабочихъ, выудилъ оттуда мѣдный пятакъ...

— А, такъ вотъ кто насъ обворовываетъ!.. Аа!.. Погоди же!.. Ты воровать?.. Воровать?!..

И какъ ни клялся, какъ ни божился Сидо̀рка, что это онъ въ первый разъ, что его лукавый попуталъ, и что онъ никогда, никогда больше, не будетъ—ему порядкомъ таки намяли бока.

И вотъ, съ той поры, копѣйки и пятаки, добытые по̀томъ и кровью, перестали пропадать у рабочихъ. Но за то отъ Сидо̀рки теперь всѣ сторонились, точно отъ гадины... Какъ зачумленный какой, онъ жилъ въ шалашѣ, въ сторонѣ отъ другихъ рабочихъ...

VIII.

Безпалый остановился и перевелъ духъ. Онъ проработалъ часа три, безъ отдыха, не разгибая спины, и у него даже кости заныли. Потъ въ три ручья лился по его худому, сильно завѣтрѣвшему лицу. Онъ быстро отеръ его рукавомъ рубахи, облокотился на заступъ и о чемъ-то задумался...

Вотъ ужъ два мѣсяца скоро, какъ Безпалый ушелъ изъ деревни, а еще, до сихъ поръ, ни онъ самъ не послалъ, ни отъ своихъ не получалъ никакой вѣсточки. Правда, между чугункой и Подосиновкой легло верстъ полтораста слишкомъ, и ни разу еще не представлялось никакой «оказіи»,—

но, все-таки, Безпалый, порой, не на шутку задумывался. Ему нерѣдко случалось, послѣ упорныхъ дневныхъ трудовъ, когда у него все тѣло ныло, болѣло, — еще подолгу ворочаться съ боку на бокъ въ своемъ шалашѣ и вплоть до разсвѣта почти не смыкать глазъ... Вотъ и вчера, напримѣръ. Усталъ онъ, хуже собаки, страшно прозябъ и продрогъ. Точно пластъ, повалился онъ на свой старый тулупъ. Тутъ бы, кажется и заснуть, какъ убитому, — нѣтъ... Давно ужъ храпѣлъ Захаръ; давно спали дядя Авдѣй, Миронъ и Силантій, — а Безпалый все ворочался съ боку на бокъ... Жалобно вылъ и стоналъ вѣтеръ; дождь моросилъ. Порой, холодная, ледяная струя врывалась сквозь щели досокъ и охватывала все тѣло, — Безпалый окутывался поплотнѣе тулупомъ, свертывался калачикомъ, но не могъ сомкнуть глазъ... И все разныя мысли ему приходили въ голову; все думалъ онъ о семьѣ... Какъ-то они теперь тамъ живутъ-поживаютъ?.. На два двугривенныхъ-то оно не того... не разгуляешься много... муки оставалось на донышкѣ, — тоже давнымъ давно ужъ вся вышла... А гдѣ ее взять, муки-то, откуда?.. Степанъ Егорычъ не даетъ, — къ тому лучше и не приступайся; отецъ Симеонъ тоже... Къ барину вотъ... Да нѣтъ, врядъ-ли и баринъ дастъ... И Безпалый тревожно ворочался подъ тулупомъ...

— Достанетъ Прокофьевна-то, — достанетъ!.. утѣшалъ онъ себя. — Не станутъ же голодомъ-то сидѣть!.. Но какъ достанутъ, откуда, — отчета онъ дать не могъ...

— Холодища теперь пошли эти! опять думалъ онъ.— Ребята-то, вѣдь, поди... — И ему представлялась его ветхая, изрѣшетившаяся избушка... На улицѣ дождь какъ изъ ведра льетъ, — и въ избѣ тоже: вода такъ и струится потоками сквозь щели на потолкѣ... На улицѣ вѣтеръ, и въ избѣ вѣтеръ: такъ и гуляетъ по ней, точно по полю; рвется сквозь щели оконца и все шевелитъ и старается вырвать этотъ кусокъ пакли, которымъ, еще въ прошломъ году, Безпалый заткнулъ большую дыру въ стеклѣ. На полу

стоятъ лужи цѣлыя... А ребятишки... Въ однѣхъ рубахахъ, съ поджатыми подъ себя ножонками, прижались они въ углу на лавкѣ, дрожатъ, посинѣли отъ холоду... Сердце больно сжимается у Безпалаго, и онъ опять ворочается подъ тулупомъ... Ему приходитъ мысль о дровишкахъ... Дровишки-то есть, пожалуй, да что въ нихъ толку: хоть цѣлый костеръ ихъ спали, — все не натопишь избы-то: вѣдь она что рѣшето!..

— Нѣтъ, безпремѣнно я избу, — безпремѣнно!.. опять думаетъ онъ. — Вотъ только вернусь, — сейчасъ же...

Но не всегда безпокоили его такія мрачныя мысли. О, нѣтъ! Дѣла у Безпалаго шли очень недурно. Получая по рублю съ четвертакомъ въ день, онъ проѣдалъ изъ нихъ какой-нибудь четвертакъ, — и проѣдалъ бы, конечно и меньше (въ Подосиновкѣ вся семья на эти деньги сыта была бы), да харчи на чугункѣ очень кусались, — приступу ни къ чему не было... По воскресеньямъ онъ позволялъ себѣ выпить стаканчикъ, — и только. Подъ штрафы Безпалый тоже ни разу не попадалъ, — и вотъ теперь у него въ кожаномъ кошелькѣ, на шеѣ, было рублей 60 денегъ... Господи, шестьдесятъ рублей!.. Да вѣдь на нихъ... И Безпалый былъ счастливъ, доволенъ, какъ никогда въ жизни... Какую избу разсчитывалъ онъ построить, какую корову купить?.. Вѣдь эта пачка рваныхъ, засаленныхъ ассигнацій казалась ему такимъ капиталомъ, какого и ввѣкъ не прожить...

— Поправлюсь теперь я, Господи, какъ поправлюсь! нерѣдко думалъ Безпалый. — Вѣдь тутъ... — И его закорузлая, мозолистая рука ощупывала висѣвшій на шеѣ гаманокъ... И что за сны снились ему, порой!.. Ему снилась новенькая изба, вотъ точь въ точь, какъ у его кума Ѳаддея. И въ ней такъ чисто, тепло и свѣтло!.. Онъ даже чувствовалъ этотъ свѣжій, смолистый запахъ (не то, что въ его избѣ: дымомъ, сыростью, плѣсенью пахнетъ). Онъ видѣлъ ребятъ: Агашку, въ новомъ ситцевомъ, бѣломъ

сарафанѣ, съ синими глазками, и въ башмачкахъ; Ванюшку, въ новыхъ сапожкахъ; Прокофьевну... И Безпалый вдругъ просыпался и какъ-то нѣжно, любовно ощупывалъ кошелекъ на шеѣ... На сердцѣ у него было такъ хорошо, такъ отрадно!..

— Вотъ ужо скоро кончимъ работу-то, думалъ онъ.— Денегъ-то еще больше будетъ!.. Пойду я, пойду... — И онъ опять засыпалъ, съ блаженной, счастливой улыбкой, и опять снились ему: чистенькая, новенькая изба, ребятишки, Прокофьевна...

Вотъ и теперь Безпалый вспомнилъ семью... Онъ стоялъ, облокотясь на заступъ. И тамъ и сямъ, возлѣ, вокругъ него, трудились люди: слышался стукъ топоровъ, вырубавшихъ и обтесывавшихъ шпалы; визжали пилы, звенѣли заступы и лопаты, взрывая землю, уже успѣвшую отвердѣть отъ легкаго утренняго мороза... Но Безпалый ничего не видѣлъ, не слышалъ — Богъ вѣсть почему-то, ему припомнилась вдругъ Агашка, его дочурка-любимица... Вотъ, вотъ стоитъ она передъ нимъ, какъ живая... (Безпалый даже глаза закрылъ, и сердце у него забилось) — стоитъ худенькая, блѣдная, въ заплатанной рубашонкѣ, съ полными слезъ глазами... — «Смотри-жъ, гостинчиковъ-то мнѣ принеси! слышится голосокъ. — Опять, вѣдь, поди, обманешь?..» Принесу, голубка моя, принесу. И башмачки новые...

Рѣзкій, пронзительный свистъ прорѣзалъ утренній, холодный воздухъ... Безпалый очнулся и поднялъ голову. Тамъ, за лѣскомъ, виднѣлось облачко дыма и слышался явственно стукъ и грохотъ колесъ... Все ближе и ближе — и вотъ изъ-за лѣса вынырнулъ паровозъ и, пыхтя, пофыркивая, сталъ приближаться къ рабочимъ. Онъ тянулъ пять-шесть платформъ, тяжело нагруженныхъ булыжникомъ и пескомъ... Рабочіе на минуту остановились, подняли головы, но тотчасъ-же опять взялись, и еще съ бо̀льшимъ усердіемъ, за свои заступы и лопаты. Поѣздъ остановился.

Съ подножки локомотива соскочилъ плотный, коренастый господинъ, лѣтъ сорока, въ фуражкѣ, съ зеленымъ околышемъ. Это былъ инженеръ Карлъ Ивановичъ Баумъ. Онъ велъ за собою за руку дѣвочку, лѣтъ 8 — 9, полненькую и румяную, точно яблочко, въ шубкѣ и мѣховой шапочкѣ. Тучный, краснорожій подрядчикъ, Захаръ Моисеичъ, еще издали разглядѣвшій, что инженеръ въ духѣ, подкатился къ нему какъ бочка, одной рукой размахивая фуражкой, а другой — отирая потъ съ лысины...

— Ну, что, какъ дѣла? обратился къ нему Баумъ и протянулъ руку.

Захаръ Моисеичъ схватился за нее обѣими руками.

— Хорошо-съ, хорошо-съ, Карлъ Ивановичъ! Все, что изволили тогда приказать, — исправили-съ... Въ лучшемъ видѣ-съ... Извольте сами взглянуть...

— Да, хорошо, вижу, говорилъ Баумъ, проходя мимо рабочихъ, молча стоявшихъ вокругъ, съ обнаженными головами. — Хорошо!.. Накройся, ребята! скомандовалъ онъ вдругъ по военному. — Холодно... что вы!..

Ребята «накрылись».

Баумъ оглядывалъ работы и одобрительно поматывалъ головой. Рабочіе были довольны, а Захаръ Моисеичъ просто сіялъ. Онъ улыбался во весь свой широкій ротъ и поминутно отиралъ потъ краснымъ фуляромъ. Дѣвочка шла рядомъ съ Баумомъ и съ удивленіемъ оглядывала эти огромныя насыпи и канавы, и этихъ, по бо́льшей части, оборванныхъ, худыхъ людей, грязныхъ, перепачканныхъ глиной, землей и пескомъ, съ закорузлыми, мозолистыми руками...

— Дочка-съ? обратился къ инженеру подрядчикъ.

— Да... Захотѣла вотъ посмотрѣть, какъ мужички работаютъ... Свези да свези, папа! И свезъ...

— И превосходно-съ! Погода прекрасная, сухо... Осторожнѣе, барышня, не оступитесь: канавка-съ...

Безпалый даже работу забылъ и во всѣ глаза разглядывалъ дѣвочку. Онъ никогда еще, нигдѣ не видалъ такой

розовой, подненькой барышни, съ синими глазками, какъ-то удивленно глядѣвшими изъ подъ длинныхъ рѣсницъ. Положимъ, эта барышня столько же походила на его Агашку, какъ его грязныя лапы на ея бѣленькія, пухленькія ручки, — но Безпалый вдругъ опять вспомнилъ Агашку... Онъ, даже — смѣшно сказать — нашелъ, что барышня чѣмъ-то похожа на его замаранную, запачканную дочурку, и, вдругъ, почувствовалъ къ ней какую-то необычайную нѣжность. Признаться, ему не малаго труда стоило удержаться, чтобы не погладить барышню, по головкѣ. Безпалый даже сконфузился... А барышня смотрѣла на него съ удивленіемъ и, вдругъ улыбнулась... Должно быть, ей показалась очень смѣшной эта сухопарая, оборванная фигура, съ всклокоченной головой и жиденькой бороденкой... Наконецъ она засмѣялась и что-то зашептала отцу. Тотъ посмотрѣлъ на нее, потомъ на Безпалаго и укоризненно покачалъ головою...

— Рюмочку-съ, Карлъ Ивановичъ, не угодно ли, съ холодку-то? лебезилъ подрядчикъ. — Закусить, милости просимъ, чѣмъ Богъ послалъ...

— Да, пожалуй, благодарю васъ!.. Идемъ, Клара!.. И они направились всѣ къ бараку, гдѣ жилъ подрядчикъ.

Безпалый поглядѣлъ имъ вслѣдъ и, тряхнувъ головой, опять взялся за заступъ... Долго, прилежно работалъ онъ; потъ въ три ручья лился у него по лицу. Порой, онъ о чемъ-то задумывался и улыбался. Но вотъ онъ отложилъ заступъ, пробрался къ себѣ въ шалашъ и сталъ рыться въ холщевомъ мѣшкѣ. Ему все попадалось не то, что надо. А, вотъ, наконецъ, — нашелъ. Онъ сунулъ что-то въ карманъ, и добрая, ласковая улыбка опять озарила его лицо.

Баумъ возвращался обратно съ подрядчикомъ. Захаръ Моисеичъ что-то съ оживленіемъ говорилъ ему, размахивая руками. Инженеръ улыбался. Дѣвочка чинно шла впередъ, глядя себѣ подъ ноги...

— Барышня! окликнулъ вдругъ ее чей-то робкій и

тихій голосъ. Она подняла головку. Передъ нею стоялъ Безпалый.

— Натка... возьми... покушай... робко бормоталъ онъ.

Барышня, съ гримаской, попятилась. Въ грязной, слегка дрожащей рукѣ Безпалый держалъ сухую, замазанную баранку. Еще съ недѣлю тому назадъ, купилъ онъ связочку у проѣзжавшаго мимо торговца и все думалъ: «ребяткамъ ужо ихъ снесу!»... — Рука его такъ и остановилась, точно застыла въ воздухѣ.

— Что тамъ такое? спросилъ, подходя, Баумъ.

— Да онъ, папа... — И дѣвочка, сказавъ ему что-то по-нѣмецки, звонко расхохоталась. Баумъ сдержалъ улыбку.

— Не надо, голубчикъ, не надо! говорилъ онъ Безпалому. — Она не хочетъ; сыта...

Локомотивъ свистнулъ и пошелъ обратно, таща за собой пустыя платформы и увозя инженера съ дочкой. Захаръ Моисеичъ кланялся, размахивая фуражкой, рабочіе, съ обнаженными головами, провожали глазами поѣздъ... А Безпалый все стоялъ на одномъ мѣстѣ сконфуженный, озадаченный, сжимая въ рукѣ баранку...

— Ишь, вѣдь, тебя! съ насмѣшкой замѣтилъ ему Захаръ. — Такъ вотъ и стала барышня грязныя баранки ѣсть! Не видала нѣшто!..

— А я-то думалъ... забормоталъ, было, Безпалый, но не докончилъ. Полугрустная, полунасмѣшливая улыбка пробѣжала у него по губамъ. Онъ тряхнулъ головою и опять взялся за заступъ...

IX.

Немного въ сторонѣ отъ желѣзно-дорожнаго полотна, по проселку, катилась телѣга, запряженная косматой лошадкой. Лошадка была маленькая, худая, костлявая, но бѣжала она довольно быстро; телѣга покачивалась и

подпрыгивала на комьяхъ, а лежащій на ней мужичокъ съ сѣдоватой бородкой, то и дѣло, покрикивалъ, подергивая возжами. Но вотъ онъ приподнялся и повернулъ лошадей къ самому полотну, гдѣ трудилась толпа рабочихъ.

— Эй, ты, куда лѣзешь? закричалъ на него десятникъ. — Не видишь развѣ?

Мужичокъ попридержалъ лошадь и слѣзъ съ телѣги.

— А что, братцы, заговорилъ онъ, слегка приподнявъ шапку, — кто изъ васъ будетъ Миронъ Ивановъ, изъ Подосиновки?

— А тебѣ зачѣмъ онъ?

— Да письмецо есть къ нему, отъ хозяйки его...

— Аа... Безпалый! подь-ка сюда! Письмо къ тебѣ изъ деревни...

Безпалый, только-что выворотившій желѣзной лопатой огромную глыбу, вздрогнулъ, и сердце у него забилось, какъ птица въ клѣткѣ.

— Господи Боже мой! Гдѣ? гдѣ? Давай его поєкорѣй!..

Мужичокъ торопливо вытащилъ изъ-за пазухи тряпицу какую-то, а изъ нея письмецо и подалъ Безпалому. Тотъ ухватился за него дрожащей рукой.

— Слава тебѣ Господи! забормоталъ онъ. — Какъ звать-то?

— Парфеномъ.

— Спасибо, Парфенушка!.. Ну, что, какъ тамъ? Всѣ ли живы-здоровы?

— Всѣ живы; поклонъ тебѣ посылаютъ. И жонка и ребятишки... Однако прости, — тороплюсь я...

— Постой же, постой! Куда ты?

Но Парфенъ ужъ хлестнулъ лошадку, и телѣга быстро покатилась прочь.

Съ трудомъ дождались подосиновцы конца работъ: всѣмъ страшно хотѣлось знать, что пишутъ изъ ихъ деревни.

что-то блеснуло, — два свѣтлыхъ кружка... Кошка, должно быть... Да... Шорохъ... Онъ чувствуетъ, что ему что-то навалилось на грудь, душитъ и давитъ... Прямо въ глаза блестятъ эти два яркихъ, желтыхъ кружка...

— Домовой!.. въ ужасѣ хочетъ крикнуть Безпалый, но голосъ у него застрялъ въ горлѣ; хочетъ вскочить, — руки и ноги недвижимы.

Безпалый проснулся, весь мокрый отъ холоднаго пота.

— Съ нами крестная сила!.. пробормоталъ онъ, крестясь дрожащей рукой и вдругъ схватился за грудь...

Глухой, надрывающій душу, вопль заглушилъ даже шумъ вѣтра на улицѣ... Дядя Авдѣй проснулся и вскочилъ, какъ ошпаренный. Онъ долго не могъ понять, что случилось... Но вотъ изъ угла, гдѣ лежалъ Безпалый, послышался стонъ. Дядя Авдѣй испугался...

— Ивановичъ!.. Да это ты! Что съ тобой? говорилъ онъ.— Аль занедужилъ?..

Но Безпалый отвѣчалъ только стономъ.

Авдѣй ощупью отыскалъ коробокъ спичекъ. Но онъ долго возился съ ними: спички отсырѣли, гасли, да и руки у него сильно дрожали... Наконецъ, одна загорѣлась, и онъ засвѣтилъ огарокъ...

— Что тамъ такое?.. говорилъ, протирая глаза, Захаръ. Проснулся и дядя Миронъ и Силантій.

Безпалый сидѣлъ, прижавшись въ углу, и глухо стоналъ. Его узкая впалая грудь тяжело вздымалась; глаза дико блуждали...

— Иванъ!.. Да что ты, Христосъ съ тобой!.

— *Украли!*.. все... все украли!.. съ трудомъ, задыхаясь, выговорилъ Безпалый. — Кошелекъ срѣзали... Деньги... шестьдесятъ рублей... Потомъ и кровью... Господи!.. И онъ вдругъ истерически зарыдалъ.

— Какъ деньги?! Когда?..

телю, что сами-то хоть не сгорѣли!.. А прочихъ Господь Богъ помиловалъ, — уцѣлѣли всѣ...»

Вздохъ облегченія вырвался изъ груди подосиновцевъ. Безпалый сидѣлъ блѣдный, какъ полотно. «Избушка наша сгорѣла, сгорѣли и *всѣ* пожитки...» вертѣлось у него въ головѣ. «Въ рубахѣ одной... Агашка позанедужила... Руку больно сожгла...» Господи Боже мой!..

— Ну, ладно, полно, Ивановичъ!.. заговорилъ свободно вздохнувшій дядя Авдѣй. У него точно гора съ плечъ свалилась. — Чего тутъ? Ну, посѣтилъ Господь, — воля Его святая... Чего горевать-то? Сгорѣли, — ну, что подѣлаешь!.. Новую, Богъ дастъ, построишь, деньги-то есть у тебя... Пожитки вотъ... Много пожитковъ-то?

— Не... много... съ трудомъ выговорилъ Безпалый. — Да все-жъ оно... Тулупишко тамъ... сарафанишко... рубахи были... Въ однѣхъ, слышь, рубахахъ выскочили!.. Ребята перепугались... Какъ тамъ теперь... Холодища эти... Голосъ его прервался.

— Ну, ладно, чего тутъ, поправишься!.. Деньги-то есть теперь... Не горюй, полно!.. утѣшалъ его дядя Авдѣй. — Посмотримъ-ка вотъ, что еще она пишетъ... И онъ опять взялъ письмо.

«А поселилась я теперь въ Боркахъ, у отца Симеона», читалъ онъ, «вмѣстѣ съ ребятами. Пріютилъ пока, дай ему Богъ здоровья!.. Да только пока, говоритъ, а то у меня тоже семья большая, самимъ, почитай, ѣсть нечего... Работницы-то у него теперь нѣтъ, такъ я за работницу... Пріѣзжай, Иванычъ! — больно я стосковалась, ребята тоже... А батюшка вонъ...»

— Да завтра же я пойду! Завтра же! закричалъ вдругъ Безпалый. — Возьму разсчетъ, — и пойду...

— Ну, вотъ, еще что затѣялъ! заговорилъ Захаръ. — Чего тебѣ такъ приспичило?.. Пусть поживутъ у попа. Работы-то скоро кончимъ, всѣ вмѣстѣ и пойдемъ компаніей, веселѣй будетъ!..

— Нѣтъ, завтра же, завтра!..

— Ну, вотъ, заладилъ одно!.. Ты выпей-ка лучше... Вишь, какъ тебя лихоманка треплетъ, — зубъ на зубъ не попадетъ!.. Есть у меня маленько... И Захаръ вытащилъ изъ кармана шкаликъ.

Безпалый выпилъ, и ему, точно, полегче стало; ознобъ, дрожь прошли... Выпилъ еще немного...

Была темная осенняя ночь; на дворѣ бушевалъ вѣтеръ... Подосиновцы ужъ давно разбрелись по своимъ шалашамъ и, успокоенные теперь, крѣпко спали... И въ шалашѣ, гдѣ помѣщался Безпалый, тоже во всѣхъ углахъ раздавался храпъ... Только самъ Безпалый еще не спалъ и все ворочался съ боку на бокъ. Но и онъ теперь успокоился.

— Ну, ничего, ладно, никто какъ Богъ!.. думалъ онъ. — Справимся, и еще какъ справимся?.. Пущай пока поживутъ у отца Симеона... Завтра же я разсчетъ, да и— гайда!.. Деньги-то есть, слава Богу!.. И онъ ощупалъ на шеѣ гаманокъ. — Шестьдесятъ рублей... Слава-те Господи, — хватитъ!.. Избу теперь новую... Ну, сгорѣла — и шутъ съ ней: что рѣшето была... Вотъ пожитки-то... Гм... Ну, да ладно, хватитъ, на все, на все хватитъ... Никто какъ Богъ!..

И Безпалый, наконецъ, тоже заснулъ, и заснулъ съ веселой, счастливой улыбкой.

X.

...И приснился ему сонъ, такой хорошій, веселый... Приснилось, что идетъ онъ домой, тѣмъ же самымъ проселкомъ, что шелъ съ подосиновцами на чугунку. Но, что за чудо! Тогда попадались имъ на пути все бѣдныя, грязныя деревушки; дымныя, курныя избы, подпертыя кой-гдѣ кольями; чахлые, жиденькіе лѣсочки, — а теперь... Да та-ли это, не другая-ль дорога? — Нѣтъ та, кажись... Тутъ онъ видитъ

справляться о ворѣ, но всѣ поиски становаго не привели ни къ чему: Сидорка точно сквозь землю вдругъ провалился. Безпалый ни минуту не хотѣлъ оставаться болѣе на желѣзной дорогѣ, и въ одно ненастное осеннее утро собрался въ путь...

— Да полно, куда ты! говорили ему подосиновцы. — Подожди недѣльку-другую,—всѣ вмѣстѣ мы и отправимся...

— Нѣтъ ужъ, чего тутъ... Пойду я...

— Ну, вотъ, заладилъ одно: пойду да пойду!.. Да съ чѣмъ ты пойдешь? Денегъ-то у тебя ни гроша нѣтъ... Подожди, говорю, поработай... Все-жъ хоть что ни на есть домой принесешь ребятамъ...

При словѣ «ребятамъ» Безпалый до крови закусилъ себѣ губы. Страшная мука, страданіе исказили его блѣдное, осунувшееся лицо. Онъ подумалъ немного и вдругъ, безнадежно, съ отчаяніемъ махнулъ рукой.

— Пойду!., глухо повторилъ онъ. — Плохой я работникъ... Точно разбитый весь; грудь болитъ, кости болятъ... Дома тамъ отдохну, Богъ дастъ, поправлюсь... Да и не могу я жить здѣсь больше, братцы!.. Во какъ чугунка-то мнѣ пришлась!.. И онъ провелъ себѣ пальцемъ по горлу.

Подосиновцы повздыхали, поохали. Потомъ полѣзли за пазухи, достали изъ кошелей, кто сколько могъ: кто пятакъ, кто гривну...

— На вотъ тебѣ на дорогу-то, горемыка... Господь съ тобой!..

— Спаси васъ Царица Небесная!.. Безпалый смахнулъ рукавомъ слезы, низко поклонился своимъ землякамъ и отправился.

— Ну, ладно, никто какъ Богъ!.. думалъ онъ, сидя на придорожной кочкѣ и доѣдая краюшку. — Антонъ Семенычъ канавы, можетъ, опять рыть вздумаетъ, али тамъ строить что... Работа, авось, найдется...

— Однако пора, нечего долго сидѣть-то... Вонъ дождь-то какой полилъ... Господи благослови въ добрый путь!..

И Безпалый опять поплелся по грязной, размытой дождями дорогѣ, утопая чуть не по колѣно въ грязи. А вѣтеръ дико вылъ и стоналъ въ оголенномъ лѣсу; дождь лилъ, какъ съ горы; кругомъ разстилался туманъ какой-то... И вотъ Безпалый скрылся въ этомъ туманѣ...

Да, много было радости, слезъ; много было и горя... Плакала и Прокофьевна, плакали ребятишки... Безпалый поправился, отдохнулъ и вновь принялся за работу. Баринъ Антонъ Семеновичъ предпринялъ большія постройки, и Безпалый поселился у него безвыходно. Онъ живъ и здоровъ, до сихъ поръ; работаетъ и ни капли не унываетъ. — «Никто какъ Богъ», говоритъ онъ, ничего, справимся», — и все не теряетъ надежды выстроить новую избу...

Прокофьевна живетъ въ работницахъ у о. Симеона; ребята работаютъ на спичечной фабрикѣ.

ГЛАВЛЕНІЕ.

	стран.
Радужная	3
Ночь	40
На волоскѣ отъ смерти	78
Сутки на китобойномъ суднѣ	84
Михѣичъ	89
Послѣдній двугривенный	121
Норвежскій лоцманъ	127
На мостовой	137
Послѣдній концертъ	169
Егоръ и Антипка	204
Въ пустой усадьбѣ	212
Пѣгашка	220
На мосту	226
Въ лѣсной избушкѣ	233
Подъ дождемъ	247
Миронъ Безпалый	253